

# Берды Кербабаяев "Чудом рождённый" (роман-хроника)

*ПОСВЯЩАЕТСЯ 50-летию ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ*

*Среди членов нового ЦК есть выдающиеся самородки из среды местного населения, так, например... Атабаев, уроженец туркменского аула, чудом при крайне неблагоприятной обстановке выработавший в себе здоровое коммунистическое мировоззрение...»*

**Из докладной записки Турккомиссии ЦК РКП(б)**

## **Помнят ли дети своих отцов**

Прожитое время не положишь на чашу весов, чтобы взвесить достоинства и недостатки. К нему не подступишься с линейкой, чтобы измерить длину...

Но можно взвесить время жизни по чувствам, какие оно рождало, измерить его деяниями тех своих современников и земляков, которые были соразмерны эпохе.

Каким бы молодым я не чувствовал себя, седина волос моих меня упрямо опровергает, а память, сохранившая множество событий, услужливо подсказывает, что я был свидетелем двух эпох. Много дорог пройдено, многое осталось позади, как приметные знаки на караванных тропах. Много пережито и достигнуто, но порой еще кажется, что все впереди, что ты не перевалил через самую главную вершину, еще многое предстоит сделать...

Какими мечтами жил туркмен в начале нашего века? Тогда мне, мальчишке, казалось, что сытная еда и крепкая одежда сделают меня счастливым. Все стремления ограничивались малым мирком семьи. Дехканин жил, как свернувшийся клубком еж, только не было на нем иголок. Жизнь давила его, как давит жука на тропе верблюжья лапа.

Помню, с какой опаской я проходил мимо байской кибитки. Крадучись, шептал: «Пусть ничего не случится и никто меня не тронет...» И была у меня в ту пору отрочества смешная и отважная мечта иметь быstroногого скакуна, чтобы можно было умчаться в немислимо далекий, — за целых сто верст от родного дома, — Мерв.

Оказаться в Мерве... было куда несбыточнее, чем сегодня лететь на Луну или на Венеру! Крылья детского воображения ломались, едва успев расправиться, падать приходилось с небольшой высоты, но боль от падения была жестокой.

Недавно я побывал в Теджене — в местах моего детства, моих первых надежд и первых разочарований. Только выйдешь на северо-запад из городка, и сразу же увидишь, как громоздится груда обломков; эти печальные руины — все, что осталось от гордого сооружения, обнесенного высокой стеной с воротами, как в средневековом замке. Это

Шайтан-Кала — Чертова крепость. Когда-то мальчишкой я проезжал мимо нее на своем сером ослике и мне казалось, что вот-вот из крепостных ворот выйдет шайтан и схватит меня за шиворот и крикнет: «Это мой ишак, а не твой! Слезай, сын праха!» Шайтан не показывался, как я ни напрягал свое зрение, но порой из широких ворот выезжали купцы или русские чиновники, их-то и боялись мои родичи и соседи больше, чем шайтана.

Аул Амаша Гапан, где я родился и рос, отстоял в пятидесяти верстах от Теджена. Самый обычный туркменский аул, убогое человеческое гнездовье. К югу и западу — вспаханные поля. С севера к кибиткам подступали барханы — мрачное, неукротимое воинство Каракумов. На востоке — растрескавшаяся ладонь солончаков.

Наш аул, как говорили старики, забытый богом аул, скопище черных кибиток. В семье одиннадцать душ, и сейчас я не могу представить, как могли они уместиться в этой ничтожной постройке из полусгнивших палок, покрытых еще более ветхими кошмами. Когда-то остов кибитки был белым, но покрылся от очага толстым слоем копоти и сажи. И все кибитки в ауле, кроме байских, были точно такие же.

Главой семьи был дедушка Овезклыч. В ту пору, когда я был мальчишкой, стар был дедушка, ему перевалило за девяносто, но он был еще бодрый и деятельный дехканин. Иногда, провожая взглядом уездного чиновника, властно помахивающего плеткой, или сельского старшину — арчина, для пущей важности нашившего на домашний халат воинственные газыри, дед качал головой.

— Мы родились в хорошее время, — говорил он, — да в плохие дни повзрослели.

Человек неграмотный, слепо веривший в проповеди невежественного муллы, он привык считать кровопролитные набеги чужеземных разбойников делом обычным, а тяжкую дань дехканина — судьбой народа. Свобода — это значит оседлать лошадь и помчаться, куда глаза глядят! А все же в его речах, нет-нет, да проскальзывала горечь.

— В песках я провел детство и юность, пас байских верблюдов. Моя голова не знала шапки, ноги — обуви. А какие твердые были мои подошвы! Я мог сорок верст идти босой по раскаленному песку. Одет я был в дырки от лохмотьев. Пересыхающий арык утолял мою жажду, в голодном желудке постоянно урчало, и я засыпал под эту музыку, сунув кулак под ухо. Чем платил мне бай? «Ах, ты сын осла!» — говорил он и больно бил плетью.

Дед оглядывал нас выцветшими глазами и, помолчав, продолжал свои воспоминания.

— Работа иссушила меня... Я ходил в походы на иранского шаха и против хивинского хана, я ходил аламанить... разбойничать. А чего достиг? Ни счастья, ни достатка, только раны и рубцы. Вот! — дед показывал глубокий шрам на шее. — И вот... — он обнажал сухую шишковатую голень, — это не ослиное клеймо, а следы сражений. Шрам на шее — от сабли кизылбаша. Пуля в ноге — подарок хивинского разбойника. Много пришлось повидать, но из-за бедности так и не довелось посидеть на почетном месте, среди уважаемых людей...

Таков был мой дед.

А мой отец был хорошим земледельцем. Он знал, на каком участке что можно сеять, сколько воды нужно для полива. У него искали совета не только земляки, но и приезжие из России инженеры. И все-таки бедность была вековым уделом семьи, на почетном месте в кибитке незримо восседали многочисленные долги.

Но вот что удивительно, — мы считались зажиточными! Ведь трудно было найти в нашем ауле семью, где ели горячую похлебку хотя бы раз в неделю. А у нас обед варили всё-таки через день, да ещё гостей иногда принимали. Дехканин тянул свою лямку под палящими лучами солнца круглый год, поливая землю потом и слезами. А в дом попадала едва ли десятая часть урожая. Остальное растаскивали жадные руки баев, ханов, ишанов и царских чиновников.

В последний мой приезд в Теджен меня пригласил на большой той председатель колхоза имени Калинина Юсуп Курбанов. Он только что получил тогда звание Героя Социалистического Труда.

Мы сидели в доме председателя. Со двора в окно доносился смех, звон дутара. Тянуло заманчивым запахом плова и чектырме. Мы вели неторопливую, негромкую беседу, как и

полагается уважающим себя людям. Толковали о видах на урожай хлопка, о большом строительстве в Ашхабаде, об американской агрессии во Вьетнаме. Кто-то вспомнил гражданскую войну, и тут только я заметил, что кругом меня люди молодые, только двое среди них — мои сверстники.

— Они хотели нас обездолить, лишить всей этой красоты, — сказал один из стариков, показывая на горы и сад за окном, — но у них ничего не вышло. Прищемили мы хвост интервентам!..

«Мы...» Я посмотрел на молодых людей в пиджаках и галстуках, сидящих за столом. Помнят ли они своих отцов, которые могли бы быть среди нас? Но их нет. Кто-то умер в трудах, кто-то в битве с фашистским драконом, кому-то помогли переселиться в мир иной годы произвола... Помнят ли дети своих отцов?

Надо, чтобы память о тех, кто первыми создавали новую жизнь, никогда не померкла. Тогда-то я и задумал рассказать то, что знаю об одном из первых туркмен-большевиков, может быть об одном из лучших сынов моей Туркмении — о Кайгысызе Атабаеве.

Кайгысыз — веселое имя, оно означает: беспечный, беспечальный. Давайте, если это удастся, восстановим богатую судьбу дорогого человека и как бы сверим ее с этим именем...

## Грустный Кайгысыз

Чабанам мила степь. Жителям предгорий — горы. Копет-Даг с его долинами, ущельями и холмами — как узорчатая кайма вдоль бескрайних ковров моей степной и пустынной родины. И тем, кто родился и вырос в предгорьях Копет-Дага, бесконечно дороги и его склоны, густо заросшие вечнозеленой арчой, и долины с ледяными родниками, с дикими курочками, затаившимися в травах, и холмы, подобно верблюжьим горбам, и даже голые скалы.

В последние годы прошлого века в одной из долин Копет-Дага чернели кибитки большого аула. За глинобитными дувалами по берегам арыков кустились ивы. Горные воды пробили в овраге, разрезавшем аул, широкое русло. В дождливые месяцы узкий ручеек вдруг вздувался могучим потоком. Два берега — два аула. Не всякому смельчаку придет в голову переплыть бурлящую мутную реку. А к концу лета по мелкой гальке, не покрывая валунов, снова текла тоненькая струйка. И только торчащие в сухом русле вздыбленные обломки скал напоминали о буйных днях половодья.

На краю аула виднелась невысокая запруда. Над ней, в тени старой вербы, скучала одинокая мельница.

Может быть, в этой долине когда-то было вдоволь воды? Ведь и сейчас ее полям не видно ни конца ни края. Может, когда-то пролегал тут дальний караванный путь? Следы древних развалин подсказывают, что на месте аула был в старину большой город. Восточнее самых крайних кибиток в конце прошлого века еще возвышался мавзолеей Мене-баба. Многие видели безмолвные стены мавзолея.

Но дети аула Мене никогда не задумывались и ничего не знали о давних временах. И когда солнце переваливало на закат и становилось чуть прохладнее, они сбегались на широкую площадку посреди аула и, как всюду в мире, играли. Так бывало и в дни моего детства, так было и в детстве Кайгысыза Атабаева в тот давний день, который сейчас призрачно встает в моем воображении.

...Мальчишки играли в мяч. Быстрее всех мчался по полю высокий смуглый парнишка. Убегая, он ловко отрывался от догонявшего; преследуя, легко настигал противника. Ему кричали:

— Беги, Кайгысыз!

— Кайгысыз, догоняй!

— Лови, Кайгысыз!

Почему его прозвали Кайгысызом? Беспечальным? Похоже было, что забот и печалей ему хватало. В минуту передышки у него — сумрачное лицо, опущенные веки... Но вот

снова сорвался, побежал за мячом — и будто ничего кроме игры не существует! Все мысли об игре, вся жизнь — в игре. Изю всех мальчишеских сил он боролся за выигрыш, на бегу переворачивался, пригибался к «земле или высоко подпрыгивал, метко кидая мяч.

Так метко и сильно, что вдруг сбил с ног ударом бегущего мальчишку. Тот упал и схватился за бок. Пронзительный визг разнесся по аулу. Может, и в самом деле беда? Крепко смотанный из тряпок, прошитый суровыми нитками мяч бьет очень сильно.

Игра прекратилась. Мальчишки обступили валявшегося на земле толстогубого парня. Он уже не визжал, а только всхлипывал, размазывая по румяным щекам слезы, и нудно ругал Кайгысыза:

— Я знаю, я все понимаю... Ты нарочно так стукнул... Чтобы я упал, стукнул. Подлый, нищий ты... От зависти дерешься, сирота несчастный...

Кайгысыз насутился.

— Очень ты мне нужен.

Он не хотел оправдываться.

Между мальчишками завязался спор.

— Нет, он ударил не нарочно! — с жаром кричал самый маленький.

— Правда! На то игра. Иногда так ударишь!.. А зачем плакать? Говорят, кто плачет во время игры, у того голова облезет...

— Думай, что говоришь! От такого удара может навсегда остаться след.

— Так пусть и он швырнет в Кайгысыза!

— Побойтесь!..

При этих словах толстогубый вдруг вскочил на ноги и изю всей силы ударил кулаком Кайгысыза. Тот не успел ответить: товарищи схватили и оттащили его. Побагровев от обиды, он вырвался из рук и кричал:

— Я расквашу его толстую морду!

Толстогубого уже подхватили под руки и поспешно уводили домой, а Кайгысыз все грозил ему кулаком.

— Все равно не уйдешь от меня. Бесишься с жиру, трус! Я могу лечь и сразу же заснуть с пустым брюхом, но не усну, пока не дам сдачи! Ты еще попадешься..

Кайгысыз вдруг и сам всхлипнул, быстро зашагал к запруде.

Там, где паслись овцы, козы, коровы, он любил отдохнуть на одиноком пне разбитой грозой и спиленной вербы. Он и сейчас нашел этот пень, уперся локтями в колени, запустил пальцы в волосы и устался в землю... Черные, давно нестриженные пряди. Сквозь дыры латаной рубахи просвечивает смуглое тело. Загрубевшие пятки в глубоких трещинах. Когда он поднял голову и поглядел на неподвижное мельничное колесо, глаза его были серьезные, взгляд сумрачный, печальный. Что его мучило? Обида? Голод? Одиночество?

Жизнь десятилетнего паренька была незавидной. Вот уже три года он пас коров. В серый дремотный час еще до зари по всему аулу разносился звонкий голос.

— Хэ-ав!.. Выгоняйте скотину!

Если весна выпадала дождливая, и травы поднимались выше колен, покрывая долину пестрым нарядом, сытые гладкие коровы двигались очень лениво. В такой месяц и жизнь пастуха была полегче. Но когда небо скупилось, затвердевшая земля делалась похожей на сыромятный чарык, и голодные коровы становились такими тощими, что на торчащие кости можно было повесить торбу, и они металась в поисках травинки, — над судьбой пастуха, как говорится, выли собаки. Под вечер собрать коров было почти невозможно, и Кайгысызу часто приходилось выслушивать брань и проклятья, а то и получать оплеухи за то, что какая-нибудь корова сдуру забралась на посев.

И сейчас, сидя на пеньке, мальчишка то представлял себе, что пасет коров, и ругал их привычными словами: «Чтоб отсохли твои рога, чтоб на хвост твой села болячка!», то возвращался мыслями к своему обидчику и злорадно мечтал о мести. Это не позор, если беден и приходится пасти овец и коров. Работа кормит. Но вот унижаться перед мальчишкой? Разве кулак толстогубого тверже моего кулака? Если не отомщу сегодня, завтра он накинёт

на меня верблюжье седло и поедет верхом.

Нет! Пусть убьет меня старший брат, но больше не стану пасти коров со двора толстогубого! А если силком заставит, то отрежу им хвосты. И коровий зад станет похож на рот толстогубого.

Мальчишка и сам не заметил, как рассмеялся, представив себе это зрелище, и тут же обернулся и увидел дряхлого старика. Г оды так сгорбили его, что казалось, будто он нагнулся, чтобы запустить палкой в зайца. Кайгысыз посчитал неприличным убежать от старшего и, когда старик подошел поближе, учтиво поклонился ему.

Резкие, будто вырезанные морщины на маленьком, серо-желтом, как скорлупка грецкого ореха, лице старика стали еще глубже, когда он прищурился, чтобы разглядеть мальчика.

— Кто ты? — спросил он.

— Я — Кайгысыз...

— А... сын Теч-сердара?

Кряхтя и охая, старик сошел с запруды.

— Здоров ли, верблюжонок мой? Все ли благополучно? — он ощупал посохом землю и уселся рядом с мальчишкой. — Почему без стада? Что делаешь?

Кайгысыз хотел было рассказать, что старший его отпустил по делу, да вот случилась ссора с толстогубым... Он прикрыл рот рукой и коротко объяснил:

— Мы играли. Я устал и сел отдохнуть.

— Хорошо, верблюжонок мой, очень хорошо! А сколько тебе лет? Ты, кажется, родился в ту дождливую весну? — старик стал загибать пальцы. — Пять... Девять... Сейчас тебе, хан мой, десять лет.

— Верно! И брат Гельды попрекает меня этим.

— Пропади он пропадом, твой Гельды! Если бы он был твоим настоящим братом, разве ты стал бы таким тощим? Не похож на твоего отца. Да и все остальные твои братья — тоже хороши! Конечно, и от рослого верблюда-инера может родиться ублюдок, но не каждый же раз! А твой самый старший брат Агаджан-сердар — как мог уехать в Мерв и оставить тебя у такого поганца?

Не желая слушать, как поносят его братьев, мальчишка перевел разговор на другое:

— Я и мать свою не знаю, Нобат-ага. И отца еле помню... Как во сне.

Нобат-ага хотел было сказать, что мать Кайгысыза была афганской девушкой, ее прислали Теч-сердару из Герата в подарок, но подумал, что лучше ребенку не знать об этом. И вслух сказал по-другому:

— Твоя мать, хан мой, была статная, красивая женщина. Она умерла, когда тебе не было и года. Отец вскоре скончался. Ты, верно, и не знаешь, что у отца, кроме звания — сердар, было и свое имя?

— Брат Гельды не называет его по имени.

— Провалиться бы этому Гельды! Поговорим о нем после. Твоего отца, хан мой, звали Теч-сердаром. А звания — сердар заслуживает не всякий.

— Это так?

— Конечно.

— Мой отец его купил?

— Честь и достоинство — не кишмиш: на базаре не купишь! Звание сердар, хан мой, зарабатывают мудростью, мужеством и саблей.

— Саблей?

— Это имя нельзя заслужить, не подставляя грудь смерти.

— Значит, папа был храбрый?

Кайгысыз вспомнил о толстогубом: если отец был таким смелым, почему же я должен терпеть обиду? Он даже не слышал, что ему ответил старик, который и не искал особого внимания. Был бы человек рядом. И он с чувством повторил:

— Ты еще многого не знаешь, хан мой.

— А что такое честь и месть? — вдруг спросил мальчишка.  
Старик ответил поговоркой.  
— Пусть пропадет моя вера, но не погибнет честь, — так говорят туркмены.  
— Тогда я... — сказал Кайгысыз и запнулся. Он постеснялся сказать: «Набью морду толстогубому».  
— О чем ты? — спросил старик.  
— Я ничего, Нобат-ага.  
— Тогда послушай меня... — Старик кряхтя уселся поудобнее. — Дни и месяцы мои на этом свете приходят к концу, невеликой осталась моя доля соли. И есть такое, о чем тебе никто не расскажет, кроме меня. Уходя во второй мир, выполню свой долг...  
— А где он, второй мир?  
Старик невесело рассмеялся, ткнул посохом в землю.  
— Вот тут.  
Мальчишке показалось, что старик имеет в виду запруду, и он спросил:  
— Хочешь стать мельником?  
Старик засмеялся повеселее.  
— Тот мир, верблюжонок, — могила. Одной ногой я стою на ее краю.  
— Могила — это на кладбище?  
— Вот, вот...  
— Что-ж там хорошего? Там очень тихо.  
— Никто не уходит туда по своей воле,  
— Кто же тебя туда посылает?  
— Смерть.  
— Смерть?  
— Смерть, верблюжонок. Наш последний попутчик.  
— Если она уводит на кладбище, ни за что не пойду с ней по своей воле, — задумчиво, как взрослый, сказал Кайгысыз.  
— И я по своей воле не пойду.  
— Вот это верно, Нобат-ага! Живи всегда на этом свете!  
— Молодец! Мудро рассудил.  
— Нобат-ага, ты говорил о каком-то долге... что выполнишь его. Что это такое?  
— Я должен рассказать тебе о Теч-сердаре. Твой отец был человек необыкновенный,  
— Какой это — необыкновенный?  
— Когда он стал юношей, наш аул кочевал возле Мерва. Ему показалось скучно там, и он один откочевал в Серахс.  
— Почему?  
— Кто знает... Думаю, что играли в нем какие-то неукротимые душевные силы. В Серахсе собрал он нукеров — воинов. Конь не просит платы за свою прыть... Однажды твой отец проезжал мимо мавзолея Мене-баба. В давние времена все знали, что был здесь город, но в тот год, когда твоему отцу приглянулась наша долина, никто здесь не жил.  
— Как же это случилось?  
— До того, как к нам пришли с севера солдаты русского царя, жизнь в нашем краю была тревожная, опасная. Если ты хотел жить вблизи от Копет-Дага, надо было покориться персидскому шаху. А туркмены готовы скорее сломать себе шеи, чем склонить их перед чужеземцами.  
— Перед курдами в войлочных шапках?  
— Да. И перед персидскими аламанами. Эти разбойники то и дело налетали на наши аулы, уводили в рабство и разоряли туркмен.  
— За что?  
— Ты, хан мой, еще многого не знаешь. Жизнь для сильных все равно, что жареная пшеница — ковурга — для зубастых.  
И снова мальчишка вспомнил про толстогубого и задумался. Потом спросил:

— А сейчас чья ковурга?  
— Того, кто ее жарит.  
— Почему же толстогубый сын мельника ест ее один, да еще нас дразнит?  
«Была бы у твоего отца мельница, ты бы ел халву», — подумал Нобат-ага, но, не желая огорчать сироту, сказал:  
— Жизнь, верблюжонок, — ложка, пущенная по кругу. Сегодня сын мельника ест ковургу с кишмишом, завтра ты будешь есть плов с цыпленком...  
Мальчишка даже проглотил слюну от такого пророчества, а старик продолжал свой рассказ.  
— Теч-сердар, увидев, что в нашей долине земля тучная и вдоволь воды, решил тут остаться. Запомни, мальчик: тот, кто заново заселил нашу долину, был твой отец, А теперь я скажу тебе, как он заслужил звание сердара. Правда, толком я и сам не знаю, с чего заварилась каша. То ли с Ирана пошло дело, то ли с Афганистана... То ли где-то умер отец и поссорились, не поделили власти дза его сына, то ли в Герате началась война...  
— А где он — Герат?  
— В Афганистане.  
— Это дальше аула Чачи?  
— Подальше, мой хан, подальше.  
— Так где же?  
— В верховьях реки Теджен.  
— Никогда о такой речке не слышал!  
Издали раздался детский голос:  
— Кайгысыз!.. Хе-ав!  
Мальчик рванулся было на зов, но задержался и спросил:  
— Нобат-ага, ты посидишь? Не уйдешь?  
— Ступай, верблюжонок, ступай! Я подожду... Кайгысыз исчез за пригорком и минут через пять, запыхавшись, вернулся к старику.

## Старик и верблюжонок

Значит, в Герате началась война? Задремавший старик принял эти слова как свежую новость.  
— Не может быть! — удивился он. — Кто тебе сказал?  
— Ты же сам говорил!  
— Ох, старость, старость, — закричал Нобат-ага. — Конечно, сам и сказал... Гератский хан не мог тогда справиться с врагами и позвал на помощь Теч-сердара. Тот отправился в Герат то ли с сотней, то ли с тысячью нукеров... воинов.  
— С тысячей всадников?  
— Никто не знает, сколько их было. Теч-сердар никогда не называл числа. Говорил: «Сколько надо, столько и было».  
— Значит, отец воевал?  
— Мало сказать — воевал! За три дня он разбил врагов Гератского хана. А потом целую неделю в Герате шло торжество. Только получилось, как сказано у Махтумкули: «Веселившиеся с утра, после полудня не смеялись». У хана разграбили казну. Воры оказались ловкие, никто не мог отыскать концов, и главный советник сказал хану: «Мы бессильны!» Хан рассвирепел. «Что ж, говорит, казну ограбили с помощью аллаха?» «Может тут другое, — говорит главный советник, а сам весь дрожит, — разве кто из верноподданных осмелится протянуть палец к казне вашего величества?» «Что ты хочешь сказать?» «В казну забрались чужие руки», — прошептал главный советник. «Чьи руки?» «Язык не повернется сказать!» «Приказываю!» «Вы, должно быть, знаете, что три дня назад Теч-сердар отправил на родину отряд всадников. Говорят, что несколько коней ушли под вьюками...» «Что же ты молчал?» «Мы не осмелились огорчать ваше величество. Только я готов поклясться, что

насчет казны был приказ Теч-сердара». Хан сгреб красную бороду в кулак и задумался.

— Выходит, что отец мой был вором? — побледнев, спросил Кайгысыз.

— Потерпи, верблюжонок, слушай дальше. «Может, ты ошибаешься?» — сказал хан. «Клянусь кораном, это Теч-сердар! — повторил советник. — Не зря он торопится на родину». Что делать хану? Позвал он к себе Теч-сердара, а прямо его спросить: «Ты, мол, украл?» — тоже не решается.

— Почему? — упрямо добивался правды Кайгысыз.

— Боялся твоего отца. Рассердится Теч-сердар, порубит гератское войско, заберет остаток казны — только его и видели! Поэтому хан начал разговор издали: «Почтеннейший Теч-сердар, — говорит, — для вас, верно, не тайна, что война сильно порастрясла нашу казну?» «А то как же!» — отвечает Теч-сердар. А хан своё: «Ваша, — говорит, — отвага, ваше беспримерное мужество помогли нам разбить врага. Мы вас будем помнить и благодарить всю жизнь. Но, может быть, вам в этой славной битве удалось захватить большие богатства?» «Куда вы гнете?» — спрашивает Теч-сердар. Хан дрожит, а все-таки допытывается: «Может, — говорит, — ваша добыча оказалась больше ваших желаний, и вы пожелаете сделать обратный вклад в нашу казну?» Тут Теч-сердар всё понял. «Вы считаете меня вором?» Хан замахал обеими руками: «Избави аллах!» Но Теч-сердар закричал: «Вот я и понял, наконец, мудрую поговорку: «Стараться для неверного — марать свою саблю!» Возьмите за горло своего казначея, своих чиновников, пусть развяжут языки, и не смейте обвинять в краже человека, пролившего за вас кровь!» Хан кричит: «Я вас и не обвиняю!» Но сердар тут сказал свое последнее слово. «Я могу стереть с лица земли все ваше ханство! Но я не разбойник и не грабитель! Я хотел помочь народу кончить несправедливую войну. А теперь получайте, что заслужили?» Сел на коня, крикнул: «Где ты, моя родина!» И ускакал.

Нобат-ага распалился от собственного рассказа и уже сам не мог бы отличить в нем правды от выдумки.

— Эх, ошибся отец!.. — тихо сказал мальчишка,

— А что бы ты сделал на его месте?

— Забрал всю казну.

— Это бессовестно, хан мой,

— А клеветать совестно?

— Теч-сердар был мудрым вождем, далеко видел. Он знал, что правда выплывет наружу, надо только потерпеть.

— У меня не хватило бы терпения, — сурово сказал мальчишка.

— Это плохо. А вот гератский хан, поняв, что зря оскорбил Теч-сердара, сам взялся за розыск и оказалось, что кражу совершили казначей и главный советник.

— Негодяи!

— Гератский хан повесил обоих.

— Правильно сделал!

— Потом... — сказал Нобат-ага и задумался.

Он смутно вспоминал то, что сам слышал от других, — как хан посадил на верблюдов дочерей главного советника и казначея, отправил их в подарок Теч-сердару и попросил у него прощения. Он смутно вспоминал, как стройная Баныгуль появилась в ауле, как она стала женой Теч-сердара.

Не выдержав долгого молчания, Кайгысыз спросил:

— Так что же было потом?

— Потом гератский хан навьючил на верблюдов дорогие подарки, отправил их твоему отцу. Вместе с подарками послал своего помощника, чтобы тот от ханского имени попросил у сердара прощения,

Кайгысыз вдруг почувствовал, что ему очень хочется есть, и невольно спросил:

— Куда же делись эти подарки?

— Не торопись, верблюжонок, дойдет речь и до них.



— А отец еще раз ездил в Герат?

— Отец, отец... — вздохнул Нобат-ага и погладил мальчика по жестким волосам, — давно он ушел из этого мира...

Кайгысыз опустил голову, поскреб землю обломанным прутиком и прошептал:

— Мне кажется, что я тоже помню, как положили отца на что-то длинное-длинное, как лестница, и унесли. А маму не помню.

— Твоя мама была красавица, отец ее очень любил, — старик заглянул в лицо Кайгысызу.

Глаза у мальчика были карие, такие же, как у матери. Теч-сердар и старшие братья Кайгысыза — все синеглазые. Нобат-ага вздохнул:

— Да, верблюжонок, как бы ни горела душа, мы не и силах ничего изменить. Жизнь — гнилой орех. Грызешь, грызешь, а раскусишь — горечь.

Хотя старик говорил грустные слова, и весь рассказ его был не таким уж веселым, мальчишка чувствовал себя необыкновенно счастливым. Никто с ним так еще не разговаривал. Никто не гладил его по голове. Нобат-ага был ему сейчас ближе, чем все шесть старших братьев. После смерти отца они разбрелись по всему Закаспийскому краю.

Много теперь было путей из аула. Совсем недавно русские солдаты, да персы чернорабочие построили железную дорогу от Красноводска до берегов мутной и бешеной Аму-Дарьи. Поначалу туркмены боялись паровозов и длинных вагонных составов, называли поезд шайтан-арбой — чертовой телегой. Вдоль железной дороги пошли в рост туркменские селения, в городах строились небольшие хлопкоочистительные заводы, маслобойни, кирпичные и кожевенные заводы, можно было пойти и на железную дорогу. Если есть хоть небольшой капитал, — заводи маленькую мастерскую, заставь работать на себя искусных ковровщиц, а то и начинай торговать: покупатели найдутся, прибавилось народу в Закаспии. И распозлились сыновья Теч-сердара из родного Мене. В ауле остался только Гельды, но он был курильщик, терьякеш, и Нобат-ага не прощал ему этого порока.

— Где правда, где справедливость? — сетовал старик. — Разве не Теч-сердар привел наш аул в долину Мене? Разве его семья бедствовала, пока он был жив? Разве не эта запруда избавляла всех его родичей от нужды? Говорю тебе, все в этой жизни кончается ничем. Пустой орех!.. Не прошло и десяти лет после смерти Теч-сердара, как все его добро пустили по ветру. И мельница перешла в чужие руки. Кто скажет, глядя на тебя, на твои лохмотья, что ты сын Теч-сердара!

Расчувствовавшись, старик обнял Кайгысыза и сам всплакнул, утешая мальчишку.

— Не плачь, верблюжонок, не плачь! Сегодня ты заброшенный сирота и никому не нужен, а завтра станешь здоровенным парнем с такими усами, что их топором не перерубишь. Сегодня пророк бьет тебя посохом, а завтра бог погладит по щеке. Ты не из тех, кто зря погибает!

Неожиданная мысль пришла в голову мальчишке под ласковой рукой старика. Говорят, что пророк никогда не является людям в своем настоящем виде. Говорят, что Хидыр принимает человеческий облик, и тот, кто увидит его, становится на всю жизнь счастливым. А что если Нобат-ага — сам пророк, сошедший на землю? Узнать его можно по лишней косточке на большом пальце. Кайгысыз тихонько погладил руку старика. Косточки не нащупал.

Между тем, Нобат-ага продолжал бормотать:

— Будь он проклят, этот подлец Гельды! Он опозорил имя своего отца! Наглотался терьячного дыма и твердит: «Я сын Теч-сердара...» Что тут скажешь! Лучше бы вместо него родился каменный пестик для ступки! Ни чести, ни совести — один терьяк! Был бы я правителем, закопал бы его в землю вниз головой, чтоб другим было неповадно. Он пустил на воздух вместе с дымом не только свою долю наследства, но и твою. Не будь этого, разве ты сидел бы тут, как красномясый, неоперившийся орлёнок?

Кайгысыз не заплакал от этих горьких слов только потому, наверно, что давно свыкся и с голодом и со своими лохмотьями и не мог себе даже представить другой жизни. И не было

у него злобы на брата терьякеша. Если бы попался сейчас под руку толстогубый, — вот ему бы худо пришлось! Сегодня он ударил его кулаком, а недавно, шакал, дразнил при народе: «Что лезешь со мной спорить? Какая разница между тобой — рабом, родившимся от рабыни, и щипаной вороной? Иди, паси своих коров?» Даже самая маленькая ранка в детском сердце долго не заживает. И вот сейчас Кайгысыз сумрачно водил глазами по сторонам, почти уже не слушая старика, а тот в приступе болтливости добрался уже до пятой жены Теч-сердара.

— ...Первую звали Дурды, и была она из племени топазов. От нее — дочь. Вторую звали Хал. Агаджан-сер-дар от нее. Третью звали Джемал, она из племени салык, Ялкаб родился от той жены. Четвертая — Баныгуль, дочь главного гератского советника. От нее — Гельды и ты, Кайгысыз. Пятая — Байнур, дочь гератского казначея. Курбан от нее...

Кайгысыз прервал эту родословную:

— Нобат-ага, через четыре дня я поеду — знаешь куда? В Теджен.

— В какой аул, говоришь?

— Не в аул, а в город. В школу!

— Ышгол? — переврал старик незнакомое русское слово. — Что это такое? Лавка, где продают свеклу?

— Нет, Нобат-ага, школу не едят. Я поеду в мектеб. А по-русски это и называется — школа.

— Русская школа?

— Говорят, что русская.

— Кто тебя туда посылает?

— Сам не знаю. Гельды сказал: «Тебя возьмут в школу».

— Он насильно заставляет тебя учиться в русской школе?

— Раньше я боялся ехать, даже плакал. А сейчас решил...

Старик горестно закачал головой.

— Что делается на свете! Кто такой Теч-сердар? Кто такой Ышгол? И вот любимый ребенок сердара должен становиться русским!

— Нет, не русским! — рассердился Кайгысыз.

— Так кем же?

— Школа как будто и русская и туркменская.

— Все, кто родятся от помеси двух пород, называются метисами. Но эту школу я даже не знаю, как назвать!

— Говорят, что если окончить эту школу, будешь толмачом.

— Толмач? Переводчиком? Не могу сказать, что это мне не нравится. Если приезжаешь в город и не знаешь языка, то мало чем отличаешься от скотины. Нельзя сказать, что это мне не нравится...

Похоже было, что слова Нобат-ага обрадовали мальчика. Он с живостью принялся объяснять:

— Вот видишь, я больше не буду возиться с коровьим навозом. Потом я слышал, что в школе хорошая еда и учеников одевают во всё новое. И учиться там будут только туркменские ребята.

Старик одобрил эти слова.

— Я вижу, верблюжонок, ты все обдумал. И ты прав. Как отец скажу: поезжай! Останешься здесь — буду бояться за тебя. Если примером для ребенка будет урод Гельды, — язык не поворачивается сказать, что это будет! А в школе ты станешь человеком. Неграмотный слеп. Все мы в ауле слепые. Когда мулла куда-нибудь уедет, а нужно прочитать письмо, садимся на коня и скачем в Душак или Теджен.

Старик помолчал, потом взял за руку мальчика и сказал:

— Одного я боюсь...

— Ты думаешь, я еще маленький и меня будут бить?

— Что попадает в соль, становится соленым. Попадешь в эту школу — станешь русским.

— Тогда... значит, не ехать?

— Поезжай! Только помни, что ты туркмен. Люби русских, люби персиян, люби кого хочешь. Всюду есть добрые люди. Но не изменяй своему народу, память о нем береги пуще своего ока.

Кайгысыз растерянно моргал, не понимая, почему разволновался старик и что ему ответить. Они долго так сидели, не глядя друг на друга, пока, наконец, Нобат-ага снова нарушил молчание:

— Смотри, верблюжонок, солнце коснулось земли подбородком. Говорят, сомнение — враг смелости, капкан на дороге идущего. Мне еще много надо сказать тебе, но оставим это до твоего возвращения. А пока — прощай! Будь здоровым и сильным.

И старик обнял мальчишку.

## Элбисинэ. Элбасаны. Элботуры...

В том ауле, где прошло мое детство, тоже не было школы. Не было и грамотных. Но мне повезло. Отец сказал:

— Всех учить не смогу. Но один в семье должен быть грамотным.

Я был худощавый, не очень-то крепкий, поэтому выбор пал на меня.

— Пользы от тебя все равно мало, — сказал отец, — лопату и то поднять не можешь. Пойдешь в школу — хоть какая-нибудь выгода будет.

Он отвез меня в соседний аул, где была школа, поселил у своего знакомого. Учились мы в глинобитной мазанке. Дым из очага почти не вытягивало через отверстие в потолке, и мы всё время жмурились — щипало глаза.

Ни книг, ни карандашей, ни бумаги... Мы сидели на земляном полу и писали буквы деревянной палочкой на вошеной доске. Время от времени мы становились на колени, отбивали поклоны и хором повторяли загадочные слова:

— ...Элбисинэ, Элбасаны, Элботуры, Эиуй!

Учитель-мулла восседал посреди комнаты на толстом матрасе, под рукой у него — ивовые прутья. Со страхом и ненавистью мы косились на них — стоило кому-нибудь вытянуть затекшие ноги, мулла тут же больно стегнет.

— Бездельник, лентяй! — кричал мулла, и на губах у него выступала мутная пена. — Верблюды под себя четыре ноги убирает, а ты две поместить не можешь?

Отдавая сына учиться, родители обычно говорили мулле: «Мясо твое, кости — мои». Следовало понимать так, что бить можно сколько угодно, только не уродовать. И детей били за вину и без вины. Тяжко давалась наука.

Да можно ли назвать наукой то, чему нас учили? Что была за наука в нашем Тедженском уезде в начале века? Когда-то мусульманские школы в Средней Азии возникли, чтобы правоверные знали коран, написанный на чужом арабском языке. Все знание жизни, находившееся за пределами корана, отбрасывалось, как грязная ветошь. Свод религиозных, юридических и нравственных правил, заключенных в коране, — шариат. Только он досконально изучался и толковался образованными людьми. Коран — наука всех наук! Шариат — закон всех законов! Все знание мира давно исчерпано, держаться надо только старого. В мудрости Магомета нельзя сомневаться, никто не смеет ее критиковать.

Так возникали фанатизм и нетерпимость — оковы всякого движения.

В мектебе — начальной школе, куда меня отдали — обучали кое-как чтению и письму на арабском языке, преподавали правила совершения намазов, омовений.

Проучившись в мектебе три — четыре года, мальчик умел читать, но не понимал прочитанного, механически списывал буквы. Приобретенные знания были неприменимы в жизни.

К началу нашего века в Закаспийском крае, — подсчитали статистики, — было семь грамотных на тысячу жителей, но этот сравнительно высокий процент выводился с большими натяжками.

Русско-туркменские школы давали, конечно, больше знаний. Но их было так мало, этих школ, в далекой царской колонии! Думаю, что их было столько, сколько нужно, чтобы подготовить и воспитать кучку безукоснительно преданных колониальному строю чиновников из местного населения.

Теперь уже трудно сказать, когда в те давние годы появилась на окраине Теджена у реки русско-туркменская школа.

Я вспоминаю собственное детство: школьное здание сверкает белизной подобно харману, куда сносят с поля собранный хлопок. Двор — чисто выметен. Площадки для игр огорожены свежескрашенными деревянными столбиками. От ворот к крыльцу — аллея молодых, недавно посаженных деревьев. Они еще не прижились, и черные голые ветви сеткой отпечатались в синеве неба.

В ту осень, когда здесь появился Кайгысыз из аула Мене, наверное, так же заросли туранги тянулись по берегам. И твердые листья туранги, желтея над водой, еще не осыпались и лишь сухо шуршали на ветру.

Если постоять на пустынном дворе, можно издали услышать, как идет урок в классе. Учитель — азербайджанец с толстыми черными усами. Он приехал сюда из-за Каспия, потому что нет грамотных людей в туркменском городке. Он говорит быстро, коверкая туркменские и русские слова, и мальчики испуганно слушают его, мало что понимая.

Вот вижу я за партой у стены Кайгысыза Атабаева — он уже не похож на подпаска: чисто вымыт, одет по форме, как все, и подпоясан черным ремнем, он даже похорошел со страху, сидит прямо и тоже слушает, как все, и ничего не понимает.

Учитель кивнул ему, показал на грифельную доску — она висит между окнами, глядящими во двор.

— Сынок, давай сюда!

Атабаев шарахнулся к двери; он понял только слово «сынок» и решил, что учитель его посылает во двор — но зачем? Он не знает.

И весь класс улыбается, когда учитель пальцем зовет его к себе уже от двери:

— Сынок, сюда иди! Сюда...

Теперь он у доски, в руке — мелок. Но разве он сумеет написать букву «а»? Учитель выхватывает из рук мальчишки мелок, и Кайгысыз, краешком глаза поглядывая на красивую букву, крупно нарисованную учителем, с трудом пытается ее срисовать, повторить.

Учитель громко смеется. За ним смеется весь класс. Теперь смеяться можно, если хохочет, взявшись за бока, сам господин учитель.

— Это не буква, сынок! Это щипцы для очага! Ха-ха-ха!

— Щипцы? — восторженно пищит кто-то в заднем ряду.

— Угли хочет разгрести!

— Эй, повороши огонь в костре!..

А за окнами — солнечный двор, простор. А за воротами плещущая по камешкам река в зарослях туранги. Там поют птицы... Подпасок не понимает веселого азербайджанца — над чем они все смеются? Что он им сделал плохого? Он сумрачно глядит по сторонам, сопит и, не зная куда деть руки, сует их в карманы. Ну, хорошо — смейтесь, смейтесь!..

Учителю становится жаль деревенщину!

— Все, когда маленький, — не умел писать! — коверкает он туркменскую речь. — И я сам, когда маленький — не умел. И ты еще не умел... Ты нарисовал щипцы — это не страшно! Другой нарисовал охотничий лук со стрелой. Ха-ха-ха!.. Не страшно! Рисуй еще раз...

Кайгысыз озирается — где же проклятый мелок? Он ищет его на полу, на гривке доски, на подоконнике, даже на потолке, где прилипли только сонные мухи. Нету мелка. Учитель смешно пожимает плечами:

— Ты его съел?

Мальчишка краснеет до ушей. Ему хочется крикнуть обидчику: «Даже корчась от голода, я пальца не протяну к чужому добру!..» Но он не смеет пререкаться.

Остроглазый парень с хитрым лицом, сидящий в первом ряду, кричит:

— Проверьте его карманы, господин учитель! Проверьте карманы!

Азербайджанец, точно фокусник на базаре, медленно тащит мелок из кармана мальчишки, долго держит его на ладони и вопросительно оглядывает класс. Так он развлекается, так ему не скучно жить в этом забытом аллахом Теджене. И дети, озоруя и визжа от восторга, хохочут.

— У Атабаева голодные карманы!

— Берегите карандаши и бумагу!

— Господин учитель, господин...

Кайгысыз прижимает кулаки к груди и вдруг сломя голову бросается к двери.

— Стой! Стой, сынок!

Но мальчик ничего не слышит. Он во весь дух мчится по школьному двору, и узкой тропой — на берег. И по кустам туранги — дальше, дальше. Только бы уйти подальше, куда глаза глядят... Если бы его кто-нибудь спросил, куда он бежит, он бы ответил: «Домой!»

Задохнувшись, Кайгысыз, наконец, останавливается, смотрит назад. Он убежал так далеко, что с трудом может разглядеть серое железо школьной крыши. Пора подумать, что делать дальше. Если так бежать, не разбирая дороги, можно, наверно, оказаться не в родном ауле, а в Серахсе. А как понять, где дорога домой? Но даже если и напасть на верный путь, в кармане — ни куска хлеба. Когда везли его в Теджен, то на верблюде добирались больше суток. Идти пешком? Тобой поужинают волки. А может волки не так уж страшны?.. Нужно идти домой. Только отдохнуть немного.

Там, где стоит Кайгысыз, спускается тропинка к воде. На песке лежит вверх дном рассохшаяся лодка. Мальчик сбежал к ней и присел на ее днище. После бега в ушах гудит, кругом — ни души. Ветер не шелохнет листьев туранги. Сильно припекает солнце.

Никогда Кайгысызу не было так тяжело. Хотя позади остались нищета и сиротство, но до сих пор еще не приходилось решать самому свою судьбу. Непривычное раздумье кажется мучительным. Все для него непривычно: и городские запахи, и скрип колес арбы на дороге, и чистота и порядок в школе. Аул все время вспоминается, неотступно тянет к себе. И чаще всего возникают в памяти товарищи детских игр. Даже сын мельника, заносчивый, толстогубый, представляется теперь родным и добродушным.

Что же делать? Конечно, правильно говорил Нобат-ага: «Кобель от беготни не станет гончей, — раб от ученья не станет кази». Отец, прозванный сердаром, не умел расписываться и прикладывал к бумаге именную печатку. Были ли в его роду, да и во всем ауле, ученые люди? Да к тому же учившиеся в русско-туркменской школе? Какой толмач получится из парня, рисующего вместо буквы щипцы? Учитель прав: он сердился за дело. Сегодня он только поворчал, но завтра скажет: «Убирайся-ка!.. Не выйдет из тебя толмача!» И как тогда будет дразнить толстогубый! Хотя Нобат-ага говорит: «Заблудиться не страшно, лишь бы отыскать дорогу назад...» Да, самое лучшее искать дорогу назад...

Кайгысыз поднимает голову, смотрит в воду. Прозрачная, почти стоячая, она отражает в себе гладкое, с легким румянцем, смуглое лицо, горячие карие глаза, коротко стриженные черные волосы... Нет, он уже не похож на подпaska, сидевшего на пеньке у запруды! А как мало времени прошло — всего две недели! Что же делать? Если бросить школу, стянут с тебя эту одежку, а на брата, чего доброго, наложат штраф. И снова придется в лохмотьях бегать за коровами, выслушивая хозяйскую брань...

Куда же тебе идти, Кайгысыз Атабаев, земляк мой, на этом первом в твоей жизни распутье?! И сколько впереди таких развилок на твоём пути!

Он хочет подняться, чтобы искать дорогу в аул, ко видит, что его ищут двое: остроглазый первоклассник и коротышка с бритой головой. Как удрать от них? Спрятаться в зарослях? Найдут по следу. Бежать? Увидят. Подумав немного, Кайгысыз приподнимает борт лодки и забирается под нее. Там сыро и прохладно. И тяжело раздуваясь, пучит глаза лягушка.

— Кайгысыз! Кайгысыз, хэ-ав!

Мальчишка не подает голоса.  
— Куда же он мог уйти?  
— Подался на тот берег!..  
— Давай-ка присядем и отдохнем.  
— Но если вернемся без него, что скажет учитель?  
— За что нас ругать? Разве мы виноваты, что он сбежал?  
— Тоска одолела, вот и сбежал...  
— Может это я, а не ты сказал, чтобы проверили его карманы? — ехидно спрашивает парень над головой Кайгысыза, и он догадывается, что это тот, коротенький.  
— Я же не по злобе, — отзывается остроглазый.  
— Раз такой жалостливый, мог бы потихоньку вытащить у него мел из кармана или показать, как пишут букву.  
— Ты считаешь меня его врагом?  
— Может и не врагом, но...  
— Если по правде, то у меня сердце болит за него. Жалко...  
— Сердце болит, а слова дразнят!  
— Хочешь, чтоб я поклялся?  
— На месте Атабаева я бы тоже сбежал, не вынес такого позора!  
Кайгысыз слушает, не шелохнувшись. Минуту назад он не мог бы представить, что ребята так сочувствуют ему. «А они — ничего, вроде наших аульских», — думает он и вдруг громко чихает.  
И вот они идут по городу втроем — ведь Атабаеву не вырваться из их объятий, одному не справиться с двумя, — короткая борьба закончилась долгим миром.

## Мудрость базарного балагура

Город! Город Теджен! Какой ты помнишься мне в те давние годы... Базар...  
Все улочки бегут к базару. Сколько лавок, лавчонок — товары навалены чуть не до крыши, Шелка для халатов — зеленые, малиновые, синие... Легкие, как паутина, ткани для женских уборов в плывущих фиолетовых, розовых, белых кругах... Медные чайники и узкогорлые кувшины отливают на солнце красным золотом... Шелковым блеском посверкивают черные и серые каракулевые шкурки — их растягивают смуглыми руками, гладят ладонью, дуют на них против ворса... Посуда из поливной глины, — она светло-желтая, как ко-ровье масло. Черно-красные бархатистые ковры... Толпа тянется вдоль прилавков, а за прилавками — персы с рыжими крашеными ногтями; сизощекие, синекудрые армяне; хивинцы в темно-коричневых полосатых халатах и огромных шапках из черных бараньих шкур... И скрипят, скрипят арбы, орут ослы, распевно кричат водоносы... Странствующие торговцы сваливают в лавки тюки с козьим пухом, кожаные бурдюки для вина.

Таким сказочно ярким помнится мне Теджен. Таким, наверно, запомнился он и навсегда полюбился Атабаеву.

А было в кипучем Теджене в ту пору каких-нибудь пятьсот-шестьсот жителей. Было, правда, и несколько каменных зданий: земский приёмный покой, одноклассное железнодорожное училище, почтово-телеграфная контора, да несколько домов немцев-колонистов. Заметно выделялась только что построенная русско-туркменская школа имени Куропаткина.

Но, может быть, и в самом деле глаза ребенка лучше видели будущее? Теджен и впрямь становился похож на город.

Ясно вижу, как эти трое идут по базару, заглядывая в каждую лавочку, в каждую арбу, в каждую корзину. Всё заманчиво, все интересно! Но что это? Толпа бежит... Тедженские мальчишки — народ бывалый. За кем же они почтительно следуют по пятам. Кто этот странный человек в красной одежде? Рубаха и штаны на нем сшиты из алых платков, на шее

тоже повязан красный платок с белыми цветами. А борода седая. А сам — быстро и, весело шагает, почти приплясывает, смеется, подмигивает. Нисколько не требует к себе уважения, почтения к возрасту и сединам.

— Карры-ага! Карры-ага! — кричат тедженские мальцы.

Однако даже это имя указывает на преклонный возраст. Карры-ага — значит, старый, дед. Ага, вот он кто: глашатай празднеств, музыкант, играющий в день свадеб на паре дилли-туйдуков. Рассказчик, остролов.

Карры-ага идет неторопливо, заглядывая в дверь каждой лавки, с таким серьезным видом, как будто ему уездный пристав доверил обследовать всю тедженскую торговлю. За ним торжественно ступает серая косматая кобыла и, словно передразнивая хозяина, сует морду в двери лавок и внимательно разглядывает товары,

Вот Карры-ага остановился у ларька, где торгует перс с выкрашенными хной ногтями и бородой, в розово-зеленом халате.

— Вай, как не удивляться на купцов! — Карры-ага хлопает себя по ляжкам. — Мы только прослышали, что строят склады, магазины в Теджене, и задымила из Кра-сноводска шайтан-арба, а сюда уже наехал народ за тридевять земель! И все торгуют! Смотрите, все торгуют! Вот это чутье! Нюх, как у собак! Правоверные едут в Мекку, купцы — в Теджен! Для любителей наживы всегда найдутся вещи поважнее аллаха! Если купцу скажут, что молиться куче навоза или кусту саксаула выгоднее, чем почитать аллаха, — купец до земли поклонится и за грех не сочтет!

Толпа хохочет. И трое будущих толмачей уже забыли про всё на свете, заглядывают из-под рук взрослых. Желая уклониться от насмешек базарного шута и балагура, перс льстиво говорит:

— Дорогой Карры-ага, проходи! Садись за прилавок! Лавка твоя!

— Я может и посидел бы у тебя, хозяин, только кобыла моя не войдет в твою конуру. Ей нужен дворец — лучшее стойло!

Вволю поиздевавшись над купцом, Карры-ага продолжает свой путь в базарной сутолоке. Но вот еще один случай повеселить людей: важно шествует в ковровых, в шелковых рядах кривоногий лезгин, он в черкеске и в пенсне со шнурком, на голове высокая каракулевая папаха. За ним по пятам, точно приклеенные, следуют почтенные бородатые старшины.

Приложив ладонь ко лбу, Карры-ага долго провожает взглядом это торжественное шествие.

— Кто этот кривоногий, которому улица узка?

— Не думал, Карры-ага, что есть в Теджене люди, которых вы не знаете! — с готовностью откликается из-за прилавка перс, — Вы слышали об Искандер-беке?

— Слышал об Искандере Великом — Александре Македонском.

— А этот и того выше! Самый главный из толмачей нашей уездной канцелярии — господин старший писарь Искандер-бек.

Кривоногий бек идет в толпе напролом, высоко задрав голову, выпятив грудь, Его грозный вид даже испугал вчерашнего подпaska — он затаился между скороходом и лошадьёю и с трепетом наблюдает: что будет дальше?

Подойдя вплотную к балагуру, Искандер-бек устремляет на него повелительный взгляд.

— Эй, джигит! Где джигит?

Он оглядывается, но ни конного, ни пешего полицейского в тесном базарном ряду не видно. А толпа окружает, теснит, веселится.

— Зачем тебе джигит, бек-ага? — спрашивает весельчак, поглаживая бороду.

— Чтобы вышвырнуть из города тебя, скотину!

— Что-то невдомек мне, кто из нас скотина, бек-ага?

— Придержи свой язык, Карры-ага, — говорит из-за плеча писаря один из старшин.

— Чудак! Что беспокоишься о моем языке?

Искандер-бек, опомнившись, вне себя от дерзости

базарного бродяги, пронзительно кричит:

— Ты скотина! Ты! Твой отец — скотина, твой дед — скотина! — он тычет пальцем чуть ли не в глаза старика.

— Не надо расстраиваться, бек-ага, побереги здоровье, — смеется Карры-ага. — Мне показалось, что ты лохож на корову перед... случкой. Вот я спросил, кто же скотина...

Писарь яростно глядит на старшин.

— Что говорит паршивый старик? Что это такое... случка? Чего вы молчите?

— Не связывайся с ним, бек-ага, — шепчет на ухо писарю один из сопровождающих. — Всем известно, что он давно свихнулся. Это Карры-ага!

Искандер-бек много слышал о бродячем музыканте. Он помнит, как тот опозорил на весь уезд Аллак-бая, знает, что после его острот на улицу глаза не покажешь. Лучше сделать вид, что принял наглые речи негодяя за простодушные шутки. Толмач широко раскрывает свои объятия, трясет старика изо всех сил.

— Так это Карры-ага? Как я рад! Я столько слышал о тебе, — он поворачивается к своей свите. — Отведите его лошадь в сарай, дайте травы. А почтенному человеку приготовьте комнату.

Но веселый старик тянет повод к себе, не отпускает кобылу.

— Бек-ага, ты ведь знаешь старинную поговорку: «Пастуху нет покоя». Нам с кобылой не положены ни сарай, ни клевер, и даже — комната!..

— Какой же ты пастух, Карры-ага? Ты даже не дехканин. Ты — украшение любого праздника. В твоих руках ключи правды!

— Какие ключи?

— Ключи от людских сердец!

— Ключи, замки — дело лавочников! — Карры-ага уже сердится. — А кстати, бек-ага, как дела у наших старшин?

— Не понимаю.

— Смазывают они твои усы маслом?

— Не понимаю, о чем говоришь!

Кайгысыз, затаив дыхание, слушает смелого шутника и тоже ничего не понимает. Он знает, что маслом смазывают растрескавшиеся пятки, но никогда не слышал про растрескавшиеся усы.

С усмешкой балагур глядит на Искандер-бека.

— Смотрю я на твои усы и вспоминаю старую историю. Однажды к такому же как ты беку пришли двое жалобщиков. Один подарил ему старенький ковер, другой сто рублей. Дело сразу решили в пользу последнего. Но тот, кто принес ковер, стал укорять бека: «Как ты мог забыть про мой подарок?» Бек его успокоил: «Я помню о твоём ковре, но не могу забыть и ста рублей».

— Что же дальше? — беспокойно подкрутив ус, спрашивает тедженский толмач.

— Я бы хотел спросить, как наш бек решает такие споры?

— Споры решает уездный начальник.

— Говорят, ты его правая рука! Даже больше! Говорят, что ты язык начальника!

— Клянусь, никогда не брал взяток!

— А подарки?

— Есть фарсидская поговорка: расчеты веди зерно в зерно, а подарков бери — сколько увезет караван ослов.

Искандер-бек, самодовольно поглядывая на старшин, приглашает их полюбоваться своей находчивостью.

— Молодец, Искандер-бек! — подхватывает глашатай. — Одно только меня тревожит...

— Тревожит?

— Как бы в пути такой караван не сделался добычей волков и коршунов.



Теперь уже сердится писарь.

— Слышите, что говорит Карры-ага?

— Он у нас человек вольный, — ласково успокаивает длиннородый старшина.

Писарю неохота длить опасное словопрение, и он показывает на туйдук, заткнутый за пояс старика.

— Я слышал, ты хороший музыкант?

— Он играет даже на двух туйдуках сразу, — льстиво подсказывает старый арчин.

— Пойдем к нам, повеселишь немного, — говорит писарь.

— Боюсь, бек-ага! Соловей хорошо поёт на ветвях, а не в клетке.

— Разве наш дом для тебя клетка?

— Не в обиду сказать, бек-ага, и ваш дом, и ваша канцелярия для меня не лучше клетки. Счастье еще, что бек-ага считает меня за человека. А то, пожалуй, вон тот джигит возьмет меня сейчас за шиворот, да и даст пинка пониже спины...

И Карры-ага смотрит из-под руки на появившегося в конце фруктового ряда конного полицейского.

— Старшина правильно сказал: ты человек вольный, — важно говорит толмач. — А при мне тебя не только никто не тронет пальцем, но и словом не посмеет обидеть!

— Ай, бек-ага! Зачем беспокоиться о таком бродяге, как я? Избавь лучше дехкан от налогов, от тяжелых поборов, от притеснений старшин и баев!..

— Карры-ага, сам знаешь: справедливость царя...

Но в эту минуту кобыла вдруг поворачивается крупом к писарю и, расставив ноги, роняет под себя два-три жирных кругляка. Кайгысыз тихонько смеется. В толпе веселое движение. Старик сокрушенно смотрит на толмача, потом переводит взгляд на дымящийся помет,

— Прости, бек-ага.

— Ах, ты негодница! — кричит он на кобылу, дергая поводья. — Скотина, она и есть скотина. Разве она знает, где царь, где справедливость? Ей только плетью можно объяснить.

Писарь морщится — не то от запаха испражнений кобылы, не то от дерзких слов балагура. Так бы и хлестнул плеткой!

— Что ж поделаешь — скот...

Но, уже отойдя на приличное расстояние, он со злобой шепчет старшинам:

— Неужели не можете окоротить старую скотину?

— Бек-ага, пока не вырвешь ему язык, он и в тюрьме не замолчит!

— В Сибири не разговорился бы...

— А что мы скажем народу?

— А вы разве обязаны говорить с народом?

Писарь только отводит душу в угрозах. Карры-ага и в самом деле всё дозволено. Его любит народ и расправиться с ним уездному толмачу не так-то просто.

Теперь, когда важные начальники удалились, Карры-ага замечает Кайгысыза, который, разинув рот, смотрит им вслед.

— Сынок, ты, я вижу, учишься в школе?

— Нет, ага, я не хочу учиться.

— Вот как! А почему же?

— Хочу домой.

— Э-э-э!.. Зря, — Карры-ага треплет мальчишку по плечу. — На твоём теле мяса — ворону нечего поклевать. Небось, не сын бая? Наверно, послал тебя сюда вместо своего сына аульный старшина?

— Так говорил и мой брат Гельды.

— Правильно говорил твой брат. Учись, сынок, учись. Если я что-нибудь понимаю в жизни, то скажу: дальше без ученья нам не прожить. Аульные старшины, наши сельские командиры, бегают как кобели за сукой, за этим прыщом с Кавказа. А почему? Они же безграмотные! А этот плешивый грамотей вместе со своими хозяевами поровну делит

народное добро. Нет у нас ни одного толмача, знающего переводчика из туркмен. Учись, говорю тебе, учись! Только, кто знает... Выучишься и станешь таким, как этот бек?

— Нет, дядя, даже если с голоду буду умирать, — чужого не возьму!

— А как тебя звать?

— Кайгысыз Атабаев.

— Выходи в люди, Кайгысыз Атабаев! Обещай, что будешь учиться. Идет?

— Обещаю, — серьезно сказал Кайгысыз.

## Василий Васильевич

Шесть лет прошло с той поры, как голодный подпасок с сумрачным взглядом сидел на пне у запруды в глухом ауле и слушал напутствие добродушного, мудрого, хоть и очень болтливого старика.

Давно умер Нобат-ага — ушел навсегда из родного аула с тем попутчиком, с которым назад не возвращаются. Целый день провел Кайгысыз на берегу реки, в зарослях туранги, когда дошла до него эта печальная весть. Теперь уже никого не осталось из близких людей в родном ауле. Брат Гельды совсем опустился, — говорят, ходит сонный, неопрятный, ему и на людей стыдно смотреть. А кто там еще у него есть?..

Шесть лет учения...

Всего лишь две недели — до выпускных экзаменов. Год тысяча девятьсот третий...

И вот появился еще один наставник на перекрестке жизни Атабаева. Куда он его направит? Какие пути подскажет?

Василий Васильевич стоит в своем директорском кабинете у окна, он волнуется — то собирает в кулак свою седоватую бородку, то, разжав его, глядит на ладонь. И стряхивает пылинку табака с синего мундирного рукава и протирает платком золотые очки. А за окном — мертвый тедженский вечер. Лают псы по дворам. Важно проходит по улице верблюд и останавливается у самого окна, щиплет листву. Высокий юноша Атабаев тоже встревожен — зачем его вызвали? Разве он провинился? Может быть, много керосину сжег, читая ночью русского поэта?

— В школе разные ребята — плохие и хорошие, прилежные и лодыри. В эти дни я не всех приглашаю к себе, — говорит Василий Васильевич, не оборачиваясь, глядя в окно. — Даже с теми, кто мне по душе, я только изредка разговариваю. Так что не думайте, Костя, что я собираюсь испытывать вас, насильно вызываю на откровенность. А всё-таки, не скрою: хочется поговорить по душам. Шесть лет вы у меня на глазах... Помните наш первый разговор...

— Зима. Крестьянин торжествуя..., — тихо произнес за спиной директора в полутьме кабинета туркменский юноша.

Как же не помнить! В русском букваре стихи и рисунок — что-то непонятное мальчику, выросшему между горами и барханной пустыней.

Азербайджанец тихо расхохотался, когда Кайгысыз подошел к нему с букварем. Расхохотался и потрепал по загривку. А строгий по виду, в синем мундире, в очках, директор вечером вот у этого самого окна уселся в кожаном кресле, поставил мальчика между своих колен, положив руку ему на плечо, понятно и просто все рассказал...»

— ...на дровнях обновляет путь.

Видно, тосковал он по этой зиме, по этим дровням, по этому сверкающему снегу, который покрывает пушистой кошмой его любимые русские поля. Он так же, верно, тосковал по своей России, как в первый тедженский год тосковал по родному аулу подпасок. Позже, уже в третьем классе, часто заходя за книгами к Василию Васильевичу на его квартиру, узнал Кайгысыз, что директор школы — там, в России, опальный человек, не может туда вернуться, и не зря возле школьных ворот нет-нет да и пройдет полицейский, не зря завешивает свои окна Василий Васильевич от недреманного ока русской полиции.

— А помните наш первый урок любви к России? — спрашивает Василий Васильевич.

— Помню...

Как это не помнить! Василий Васильевич на грифельной доске раскидистую елку с белыми, как хлопок, комьями снега на ветвях, нарисовал санки с загнутыми полозьями, стал с наслаждением, сняв очки и зажмурясь, читать туркменским ребятам:

«Не ветер бушует над бором,  
Не с гор побежали ручьи.  
Мороз-воевода дозором  
Обходит владенья свои.  
Глядит — хорошо ли метели  
Лесные тропы занесли.  
И нет ли где трещины, щели  
И нет ли где голой земли?»

Пушисты ли сосен вершины,  
Красив ли узор на дубах?  
И крепко ли скованы льдины  
В великих и малых водах?..»

Он тогда не дочитал до конца, махнул рукой и вышел из класса. А вечером Кайгысыз со двора видел, что директор — вот как сейчас, — стоял у этого окна в своем кабинете, прижавшись лбом к стеклу, и так же, как сейчас, смотрел вдаль через голые узловатые ветки карагача на сухую и серую туркменскую землю. «Скучает о снеге», — понял мальчишка.

Еще позже, года через два, Василий Васильевич дал ему книжку стихов Некрасова. И снова многое было непонятно в ночном заповедном чтении: что значит: «только не сжата полоска одна..» или «и на лбу роковые слова: «продается с публичного торга»... Но оттого, как Василий Васильевич погладил книжку, бережно завернутую им в пергаментную бумагу, оттого, как коротко сказал: «Читай. Русский дехканин тоже не любит своих русских ханов и беков...», — юноша, уже задумавшийся в этот год о многих важных вещах, понял в русских стихах самое главное. Он понял, что сказанное поэтом о злой судьбе русского мужика целиком можно отнести к его нищим аульным землякам. Эта мысль ночью потрясла Кайгысыза. Разве не про родного брата Гельды-терьякеша там сказано:

«У каждого крестьянина  
душа, что туча черная  
гневна, грозна — и надо бы  
громам греметь оттудова,  
кровавым лить дождям,  
а все вином кончается...»

Разве не про его соседей из черной кибитки придумано:

«Сладка еда крестьянская,  
весь век пила железная жует,  
а есть не ест!  
Да брюхо-то не зеркало,  
мы на еду не плачемся..»  
Работаешь один,  
а чуть работа кончена,  
гляди — стоят три дольщика:  
бог, царь и господин!»

И разве не об этом по ночам в темных казарменных спальнях между подростками шли жаркие споры о несправедливом устройстве жизни, о том, что те, кто трудятся, остаются голодными, а богатеют обманщики и трутни. Ученики не были единодушны. У одного отец — бай, а у этого ишан или мулла. Сегодняшние ученики завтра станут царскими слугами, а царские слуги набираются из богатых семей. И многие туркменские юноши из класса Кайгысыза — уже искали дружбы с русским приставом и даже, вопреки шариату, тайком пробовали у него на квартире горькую из белоголовой бутылочки с царским гербом.

— Вы все помните, у вас хорошая память, дружок мой, — сказал Василий Васильевич и, круто повернувшись, положил руки на сильные плечи Атабаева. — Прошу у вас доверия и искренности.

— Вы учили нас ничего не скрывать от старших.

— Молодец!

— Если вы чем-нибудь недовольны — спрашивайте. Я буду говорить правду.

— Разговор пойдет, как у отца с сыном, — сказал директор и снял руку с его плеча.

Непонятно было Атабаеву, что он разглядывает на письменном столе. Стол покрыт листом розовой промокательной бумаги, красная ручка, тяжелая стеклянная чернильница.

— Я прошу вас отнестись ко мне с отцовской строгостью, — осторожно сказал Атабаев.

— Строгость тут не при чем... Считанные дни остаются до выпуска. Считаете, что не зря провели тут шесть лет?

Когда бы директор начал сам расхваливать школу, Кайгысыз, пожалуй, не согласился бы с ним. Но его сдержанный, доброжелательный тон не располагал к спорам.

— Если бы я не учился в школе, — ответил Кайгысыз, — был бы сейчас пастухом или бродягой, голодным и нищим, как мой старший брат Гельды. За все, что я узнал здесь и чему научился, я прежде всего благодарен вам.

— Что вы собираетесь делать по окончании школы?

— Еще не задумывался над этим.

— Может быть, хотите стать толмачом или чиновником в нашем уезде? Или поехать в Каахкинское приставство?

Теперь и Атабаеву захотелось испытать Василия Васильевича.

— Куда посоветуете, туда и поеду. Наверно, лучше всего мне следовать вашему совету.

Василий Васильевич тихо вздохнул,

— Вот опять скажу: молодец...

Но Атабаев был еще слишком молод, чтобы выдержать взятую на себя роль.

— Я только боюсь... — сказал он и запнулся.

— Ну, ну, не стесняйтесь, — подбодрил его Василий Васильевич.

— Боюсь, что совсем не хочется мне быть толмачом, а особенно чиновником.

— Почему же?

— Толмач — между начальником и просителем, как челнок, связывающий нитью основу. От него требуется передать не всю правду, а ту, которая нравится начальству.

— Тут вы наверно ошибаетесь. Подумайте, как вас будут уважать старшины и просители. Вы заслужите уважение начальника уезда. Наступит день, когда он наденет вам на плечи белые погоны.

— Не нужно мне такое уважение!

Кайгысыз и не почувствовал бы всей резкости своего ответа, если бы лицо директора не омрачилось.

— А чем вам не нравится чиновничество? — сухо спросил он.

— По-моему, интереснее заниматься своим делом, чем командовать. Кричать на низших, приравниваться к высшим...

— А если вам предложат должность помощника пристава?

Криво улыбаясь, Кайгысыз молчал.

— Что вы на это скажете? — продолжал директор.

— Если собака ест у одних дверей, а лает у других, хозяин бьет ее и гонит со двора.

— Не понял,

— Разве вы не знаете, как относятся приставы к туркменам? А если я не буду прижимать своих, меня просто вытолкают в шею.

Карры-ага, ведущий на поводу свою старую кобылу, старый музыкант, собирающий толпу на базаре, мудрый и хитрый балагур в красных одеждах — вот кто вспомнился ему в эту минуту. Он спорил с надутым и спесивым толмачом и как будто подсказывал сейчас Атабаеву самые верные слова.

Директор засветил лампу на столе, повертел в пальцах красную ручку, попробовал что-то нарисовать на промокашке. Он старался не смотреть в глаза юноше. Так ему легче было вести этот разговор, давно им обдуманый и, тем не менее, очень опасный и скользкий,

— Допустим, не будет никаких приказаний. Вам предложат поручение. Как посмотрит на это ваша совесть?

Знакомые слова, Атабаев вспомнил ночные разговоры в школьной спальне: «Где тут совесть? Где справедливость?» Ему все стало ясно. Конечно, директор ведет этот нудный разговор не из пустой любознательности, Теперь понятно, зачем его сюда пригласили. Надо обдумывать каждое слово.

— Что же им скажет ваша совесть? — повторил Василий Васильевич.

С детства Атабаев не привык врать, хотя и не забыл затрещин, которыми расплачивался за правду. И сейчас он не смог кривить душой, прекрасно сознавая, что следовало бы поступиться искренностью.

— Я не смогу принести пользы, если пойду против совести, — сказал он.

— Вам кажется, что...

— Уездное управление стало местом, где продают и покупают совесть! — выпалил Кайгысыз.

Директор попытался смягчить этот ответ:

— Может, вы по молодости перехватываете? Подумайте лучше!

Но Атабаев оттолкнул протянутую руку.

— Даже если меня повесят, я буду говорить правду, Я же не на улице, не на базаре! Я говорю с вами и, по-моему, вы хотели от меня правды и только правды!

Директор положил на стол перо.

— Спасибо за искренний ответ!

Видно, его захватил юношеский порыв воспитанника, но ненадолго. Он понуро опустил голову и тихо сказал:

— Я не могу утверждать, что на государственной службе нет подлецов, но не все же одинаковы. Нельзя всех ставить на одну доску.

Странно, что он не рассердился, не ударил кулаком по столу. Он, никогда так не делал, но ведь никто и не говорил при нем так, как Атабаев. В голосе — умоляющие нотки. Разве поймешь этих людей? Может хитрит, а может в глубине души согласен с Кайгысызом? Конечно, не все чиновники одинаковы. Поди пойми, бьется ли у этого русского в груди жаркое сердце, есть ли у него настоящая совесть? Как у поэта Некрасова... А всё-таки лучше верить людям.

— Если хотите выслушать, я могу рассказать то, что мучает меня, о чем часто думаю.

— С удовольствием послушаю.

— Раньше туркмены были скотоводами и земледельцами. Жили по-разному. Как говорится: «Кто держит мед, тот и пальцы облизывает». Кочевые племена жили получше. А теперь всем плохо. Как у русских при крепостном праве. Два-три ловкача становятся хозяевами села. Крестьяне — рабы, никто не смеет сказать «кышш!» даже курице мироеда. Звание арчина или старшины уже не выборное, а продажное. Не сердитесь, но ведь все знают, что справедливость запрятана на дно сундука в уездном управлении, а совесть продается с торгов.

Василий Васильевич молча кивал головой, слушая Атабаева, сивая борода совсем

растрепалась в его беспокойных пальцах.

— Что ж, начистоту, так начистоту, — сказал молодому туркмену русский опальный учитель. — Если о ваших мыслях узнает полиция, поверьте, не только вас, но и меня никто не увидит в Теджене. Когда я думаю о крестьянской доле — все едино в моей Тамбовщине или у вас, в долине Мене, — душа болит... Болит, дружок мой!.. Но если бы я стал делиться этой болью с другими, давно бы укатил по этапу в Сибирь! А вы неосторожны! Рассуждаете в спальне по ночам с богатыми — из байских семей, а эхо ваших слов отдается в полиции. Жандармы потребовали! чтоб я прощупал вас. Понятно? Пока мне еще верят. Я сумею вас выручить. Но больше — никаких разговоров! Помните, как сказал поэт: «Ты царь — живи один». Вот так-то...

Василий Васильевич забарабанил подвижными тонкими пальцами по краю стола, отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Кайгысыз подошел к нему.

— Я буду благодарен вам на всю жизнь, — сказал он. — Но что же всё-таки будет со мной после школы?

— А чего бы вы хотели?

— Поступить в учительскую семинарию.

— Правильно решили! С вашими мыслями надо идти в учителя. Воспитаете сотни благородных людей. Может быть сотни героев... Попасть в семинарию трудно, но я помогу вам.

Атабаев готов был обнять этого хмурого старика, но постеснялся, неловко поклонился и пошел к двери.

## Клянусь!

Дни детства тянутся долго, дни молодости мчатся быстро. Друзья молодости — друзья навек.

В Ташкенте Кайгысыз подружился со своим однофамильцем Мухаммедкули Атабаевым. В Туркестанской учительской семинарии их считали братьями, неразлучными, дружными братьями. Только удивлялись, что облик уж очень несхожий. Кайгысыз — высокий, легкий, с задумчивым взглядом глубоко посаженных глаз. Мухаммедкули — небольшого роста, быстроглазый, с черными, толстыми, как пиявки, бровями. Однокашники и преподаватели, принимавшие их за братьев, ошибались лишь в одном: дружба Кайгысыза и Мухаммедкули была прочнее и глубже родственных чувств. Они были единомышленники. С юношеской пылкостью они видели свое будущее в честном служении родному народу. Но сближало их вначале то, что оба были туркмены. В семинарии, где училось всего семьдесят человек, туркмен можно было пересчитать на пальцах одной руки.

В те годы, в начале века, Ташкент был не только резиденцией генерал-губернатора, но и центром русской культуры всего края. Атабаевы приехали сюда из глухой провинции, — Мухаммедкули был родом из Нохура, — и оба с жадностью пользовались всеми благами большого города, какие только были доступны бедным семинаристам.

В публичной библиотеке читали местную газету «Туркестанские ведомости», асхабадское «Закаспийское обозрение».

При библиотеке был небольшой этнографический музей, там в прохладных, невысоких, полутемных комнатах друзья любовались зарисовками древностей Бухары и Самарканда, разглядывали старинные монеты прекрасной нумизматической коллекции, надолго замирали перед стариннейшими фолиантами.

Раза три за все годы учения удалось побывать на галерке в театре на гастролях артистов петербургских и московских театров, а чаще всего друзья просто бродили по улицам, наслаждаясь кипучей, как им казалось, жизнью большого азиатского города. Шутка ли — в Ташкенте в то время было больше двухсот тысяч жителей!

Город, перерезанный глубоким арыком, делился не только на две части, но и два мира — туземный и русский. Русский город, выросший после присоединения к России, — хорошо

распланированный, с широкими улицами, обсаженными карагачом и тополями, с пышными садами и скверами, над которыми возвышались яркие луковки православных церквей, — казался зеленым, нарядным и чистым. Столичная толпа — дамы в шляпах со страусовыми перьями, в прозрачных вуалетках, с огромными меховыми муфтами, такими смешными в ташкентскую теплую зиму... Серебристо-голубое сукно офицерских шинелей, огненно-красное пламя генеральских лампасов. Кормилицы в кокошниках и сарафанах катят коляски, где бездумно покоятся чистенькие младенцы в атласных стеганых одеяльцах... Бегут пароконные фэтоны с фонарями у козел... Слышатся лихие крики водовозов, везущих воду из Головачевских ключей.

Головокружительное великолепие и восхищало и оскорбляло молодых семинаристов. Ведь стоит только перейти по мосту арык — и попадешь в средневековье. Как непохож туземный город на русский! И как печально знакома эта отсталость по родным туркменским захолустьям. Разве здесь разбудили кого-нибудь от векового сна царские чиновники и генералы!

Скопище серо-желтых, одноэтажных глинобитных домов без окон, то слепленных, как соты в ульях, и лишь прочерченных кривыми линиями узких улиц, то разделенных огородами, садами и даже полями. Невысокие минареты мечетей, где аисты привыкли вить гнезда. Ни деревца, ни кустика — всё скрыто за высокими дувалами. И тишина. Не слышно даже крика водовозов: здесь берут воду из арыков или неглубоких колодцев. Шумно только в базарные дни — галдят разносчики, зовут в свой приют \* чайханчики, режут верблюды, голоса дервиши.

Однажды Кайгысыз и Мухаммедкули забрели в старинную медресе, построенную еще в семнадцатом веке. По преданию с высоты свода бросали вниз зашитых в мешок женщин, нарушивших верность своим мужьям. Великолепной лазурью были покрыты своды арок, ведущих в сумрачный, заросший арчой двор.

— Какое прошлое было у этого края? — вздохнул Кайгысыз.

— А будущее? — быстро подхватил Мухаммедкули, — Говорят, что в Кизыл-Арвате забастовка идет уже пятый день.

— Кто сказал?

— Наборщик из типографии Филиппов. Говорят, и в Чарджуе зашевелились.

Мухаммедкули был старше на два года и гораздо общительнее и предприимчивее Кайгысыза. Он легко завязывал знакомство то с типографскими рабочими, то с русскими учителями, посещавшими публичную библиотеку; то ухитрялся получить интересные новости, о которых не пишут в газетах, от какой-нибудь гимназистки с длинной косой, дочери крупного чиновника. Он не чуждался женщин подобно застенчивому Кайгысызу, мог под веселую руку проводить через весь город какую-нибудь бойкую швею или эмансипированную гимназистку, проявлявшую интерес к туземцам. Кайгысыз, его вечный спутник, молча шагал рядом, испытывая зависть и восхищение перед находчивостью друга.

Но уличные приключения мало занимали мысли и время юношей. Другие надежды и мечты волновали их в те годы. Глухо докатывались до Туркестана с севера 46 раскаты революционного грома. Шел девятьсот пятый год. Прошли забастовки у ташкентских железнодорожников, начались волнения в Казанджике. В колониальном крае нужна крепкая административная рука, гласность — враг порядка, и о том, что происходит в аулах и городках родной земли, Атабаевы часто догадывались лишь по тому, что увеличился наряд караула у губернаторского дворца, а ночью слышится цокот копыт по булыжнику мостовой — значит, едет конный полицейский патруль.

Забредя в базарную чайхану, Атабаевы разговорились с купцом из Асхабада и узнали, что в далеком Се-рахском приставстве начались крестьянские волнения, что туркмены вышли из повиновения аульных старшин, самовольно захватывают воду из байских арыков и отказываются платить налоги.

— Значит, это возможно даже у нас... — задумчиво сказал Мухаммедкули, когда они вышли из чайханы.

— А что ж ты думаешь, — ответил Кайгысыз, — узбеки говорят: «Близок путь — пройдешь и остановишься. Путь далек — все идешь и идешь вперед».

— Они и по-другому говорят: «Глиняный кувшин не день ото дня ломается, а сразу разбивается».

— Ты хочешь сказать, что царский престол — из глины?

— Разве в это трудно поверить? — пожал плечами Мухаммедкули. — Не сегодня, так завтра... Давай поклянемся, что где бы мы ни были, вместе или врозь, — будем жить не для себя, а для людей, для народа. Нас так мало среди туркмен... Таких, кто думает, кто может хоть что-то объяснить.

— Клянусь! — торжественно сказал Кайгысыз.

Он вдруг подумал, что клянется не в первый раз. Обещания, данные когда-то Нобат-ага и тедженскому старому балагуру, тоже были клятвами.

Они вошли в Константиновский сквер, присели на скамейку под тополями.

— Мы — как Герцен и Огарев, — вдруг сказал Мухаммедкули.

— Только бы разобраться: кто Герцен, а кто Огарев, — засмеялся Кайгысыз.

— В самом деле — не поймешь.

— Значит, не похожи? — задорно спросил Кайгысыз.

— Э, брат, важно стараться, а там, глядишь, и приблизимся.

Как ни редки, как ни далеки были зарницы грозы, прошумевшей в России, юношеский жар изливался и звал к действиям. И Кайгысыз свободно ораторствовал в стенах семинарии, считая революцию горным потоком, который нельзя остановить, а свержение белого царя — делом решенным. Не ясно было лишь, сколько ему осталось сидеть на троне: дни или недели? Откровенность эта не послужила ему на пользу. Но об этом он узнал позже.

## Звезды над Нохуром

Два лета подряд они уезжали на каникулы в Нохур, откуда был родом Мухаммедкули. Кайгысызу некуда было ехать, друг звал его к своим родным, обещал вместе с гостеприимным кровом подарить ему всю красоту горного края, все прелести Копет-Дага.

И в самом деле, благодатны земли Нохура! Горные ущелья! Громадные чинары, сквозь их густую листву не пробивается солнце. На зеленых лугах все лето, не выгорая, пламенеют маки, пасутся овцы и ягнята... По склонам гор мчатся могучие архары с крутыми в два витка рогами... Хорошо бродить с чабанами по выпасам, хорошо уходить в горы на охоту.

Но как ни влюбляешься в летние дали Копет-Дага, как ни заглядываешься в глаза нохурских красавиц, — а жизнь народа на каждом шагу отрезвляет и заставляет сжимать кулаки: бесправие, произвол, унижение в этом горном краю такие же, как и в долине Мене.

Пока друзья отдыхали в Нохуре, был такой случай: тамошний пристав подговорил молодую красивую женщину написать прошение о разводе. Короткое прошение, ясная причина — «мой муж не мужчина». Этим сейчас же, с ведома пристава, воспользовался сельский арчин: он запер женщину у себя в доме, силой принудил ее к сожительству, сделал ее наложницей, да еще и издевался над ней. А сам, старый козел, нисколько не лучше мужа.

Нохурцы негодовали, собрали сход — все без толку. Тогда студенты Атабаевы послали письменную жалобу от имени народа начальнику Асхабадского уезда. Дело поступило в городской суд. Но арчин и пристав знали, как себя оправдать: проще всего оклеветать жалобщиков. А в Асхабад из Нохура пошел донос на Атабаевых: они смутьяны, поднимают темных людей против законной власти, они и безбожники, глумящиеся над верой, попирающие шарият...

В летний день, в тени столетней чинары, опершись на пестрые подушки, друзья пили чай и обдумывали, как дальше поступить — нельзя же примириться с долей рабов... Обычно под этой чинарой было многолюдно, сюда сходились мужчины потолковать о жизни. Сейчас еще никто не пришел с работы, и приятели могли поговорить по душам.

— Мухаммедкули, ты видел вчера пастуха на горной тропе?



- А чем он примечателен?
- Безоблачная жизнь... Ни горя, ни печали...
- Если пастух сыт и скотина не разбежалась, какое может быть у него горе?
- Почему же я не остался пастухом?

Мухаммедкули не почувствовал иронии друга,

- Странные вопросы задаешь.

— Нет, только подумай! Не знал бы грамоты, не читал газет и книг... Провались пропадом всё зло мира! А мы валяемся на зеленых холмах, играем на туйдуках, поем песни и веселимся!

— А волк утащил ярку, и бай на тебе живого места не оставил, — в тон ему продолжал Мухаммедкули.

— Побой можно перетерпеть и забыть. Легко забыть свою обиду. А если понимаешь, как мучается весь народ, разве забудешь? Помнишь, в древней книге прочитали... Как там в ней сказано: «Умножая знания, умножаешь скорбь...» Неплохо сказано.

— Другими словами — держи народ во мраке невежества, и он будет счастлив? Это нам знакомо. Это и мулла говорит в Нохуре...

— К народной мудрости надо прислушиваться. Говорят: «Не страшно быть трусом, страшно умереть». Как по-твоему?

- По-моему, пристав и арчин тебя крепко припугнули.

— А ты и уши развесил? Неужели не понимаешь, что я остался прежним? Но с кем же и поскулить, как не со старым другом?

- А зачем скулить?

- Э, брат, если земля жесткая, вол винит вола. Так вот и мы с тобой...

Между тем, под широкую тень чинары уже привычно собирались нохурцы. Завязывался пустой разговор. Шутили, смеялись. Рассказывали и печальные новости. Старик в плоском тельпеке, с бородой, деленной на три клочка, сообщил:

— Говорят, в Бахардене парень Муррук-бай тоже уволок дочь у бедняка Тогка из Арчмана. Привез ее в Дурун к арчину и остался там с ней ночевать. Отец с односельчанами кинулся в погоню, дурунский арчин вышел на порог и кричит: «Кому не жалко своей жизни, пусть входит в мою дверь!..» Понимаете, какое дело... Выходит, лежи под сапогом, да еще глаз не открывай!

Таких случаев в тот день наслышались семинаристы немало, разбоя и обид, — как грибов в дождливую весну. Каждый спешил поделиться и своими горестями. Но верно говорит народ: в горах не без волка, в народе не без вора. В тот день в тени нохурской чинары среди дехкан, окруживших городских юношей, затесался краснобородый волк. Когда все смеялись — он опускал глаза. Когда мрачнели — скалил зубы. Он нетерпеливо дергался, ёрзал на месте и, наконец, не выдержал, вмешался в разговор.

— Что переливать из пустого в порожнее? Все мы давно друг друга знаем, все переговорено, пересужено. Давайте-ка лучше послушаем ученых парней.

Все замолчали.

Кайгысыз слышал кое-что о краснобородом. Надо бы с ним поосторожнее, но он любил брать быка за рога и сразу спросил:

- А что бы ты хотел услышать?

Тот замялся, потер глаза, будто пыль в них набилась, и сказал:

- Небось в городе читаете газеты, вся Россия перед вами, как на ладони...

- Какие же новости ты бы хотел узнать? — настойчиво спрашивал Атабаев.

— Разве мало новостей? В газетах пишут, где какие бунты, как простой народ схватывается с богатеями и начальниками. Неужели туркмены не избавятся от гнета белого царя?

Кайгысыз улыбнулся.

— Где бунты, — твои начальники знают лучше, чем мы. А от нас можешь передать им, что ждем не дождемся свержения царя...

Мухаммедкули почувствовал, что его друг лишнее болтает, и незаметно нажал локтем на его колено, но тот закусил удила.

— Скажи тем, кто тебя послал, что я ненавижу предателей, презираю тех, кто прямое делает кривым, из мухи лепит слона! — кричал Кайгысыз. — Передай, да и сам запомни, что любой доносчик получит от меня по шее! Лучше сидеть в коровьем навозе, чем дышать одним воздухом с таким, как ты! Убирайся отсюда!..

Краснобородый воровато оглянулся и, не найдя ни в ком сочувствия, припустился бежать.

Атабаев погрозил ему вслед кулаком.

Воспользовавшись общей растерянностью, Мухаммедкули тихо сказал по-русски:

— Соскучился без жандармов?

— Лучше год быть верблюдом, чем сорок лет верблюдицей!.. До каких же пор стоять на коленях?

— Лучше молча делать дело, чем со связанными руками подставлять грудь под штык.

— Может и так... — задумчиво сказал Кайгысыз.

— Сомневаешься?

— Виноват. Не могу быть таким хладнокровным, как ты.

— Ну, если я хладнокровный...

— Все-таки поспокойнее меня.

— Потому что не лезу на рожон?

— Долго ты будешь пилить меня? — взмолился Кайгысыз.

— Пока не назовешь старшим братом.

— Старший брат! — сказал Кайгысыз и поднял вверх обе руки.

Никто из нохурцев не мог понять этого спора, но каждый догадывался, что речь идет о краснобородом. Люди недовольно ворчали.

— Такого мерзавца — прикончить — и все!

— Кто его убьет — попадет на небо.

— Руки чешутся убрать эту падаль с дороги.

Крепкий парень с усами, закрученными, как рога, вдруг толкнул своего соседа.

— А ну вставай! Согнулся, будто выкапываешь дикий лук. Сейчас же неси дутар! А Клыч принесет гиджак... свою скрипку.

— Молодец! — сказал Кайгысыз, — угадал мои мысли.

— А ты думаешь, среди нохурцев нет зрячих? Я даже умею отгадывать желания.

Все кругом оживились, раздался голоса повеселее и послышался смех. Музыканты и певец вышли на середину круга. Поначалу казалось, что дутар ссорится с писклявым гиджаком, но потом звуки их слились воедино, а седоватый певец-бахши брал все выше и выше...

Народ прибывал и прибывал со всех концов аула, в стороне собрались девушки и поглядывали на поющего из-за своих тяжелых покрытий — кто из-за края пуренджика, кто поверх ящмака, а кто из-под руки. И до чего же были красивы их глаза, блестящие издалика, как звезды.

А бахши пел:

Остановись, путник,  
Марал пришел на водопой...

Песни начались, когда солнце перевалило за полдень, и продолжались под звездным небом до самой полуночи. Никто не ушел из-под старой чинары, никто не переменял своего места, никто не шевельнулся... Кайгысыз смотрел на нохурцев, замороженных музыкой, и думал о волшебстве искусства, которое заставляет забывать горе и нищету, дает людям силы бороться с судьбой.

Наконец, музыка смолкла, народ разошелся по домам, а друзья-семинаристы все еще

лежали под чинарой, молча глядя, как поднимается в бархатном небе созвездие Улькера и тянет за собой Три звезды...

Когда Атабаевы вернулись в Ташкент, они услышали печальную новость: неблагонадежный студент Кайгысыз

Бабаев родом из аула Мене, который начальство не уважает и о царе говорит плохо, подлежит исключению. Нохурские доносы подкрепили решимость учительского совета.

Наступили тревожные дни для Атабаевых. И тут случилось неожиданное: Мухаммедкули думал, что он в одиночку будет бороться за своего друга и вместе с ним покинет в знак протеста семинарию. Но оказалось, что он не один: студенты не дали в обиду Кайгысыза, собрали сходку и написали письмо, что если их туркменского товарища изгонят из семинарии, то вместе с ним уйдут и все выпускники.

Это был первый выпуск Туркестанской учительской семинарии. Пойти на риск политического скандала администрация не решилась, и дело об Атабаеве было прикрыто. Но только не в тайных канцеляриях жандармского отделения: Кайгысыз Атабаев родом из аула Мене уже имел в охранке свою персональную папку.

## Скитания

Можно ли наглядеться на море?

Привыкшему к простору пустыни Кай-гысызу видимое однообразие казалось бесконечно разнообразным, полным неповторимых подробностей. Волна находит на волну, изгибы гребешков, пузырьки пены каждый раз по-новому складываются, и это неуловимое, незаметное беглому взгляду различие создает картину бесконечного движения жизни. Жизнь волн морских — жизнь барханов пустыни... Кайгысыз стоял на вершине горы, позади великолепного, как мавританский замок, вокзала. Там, внизу под ногами Красноводск, грязный, пропахший рыбой город, зажатый между морем и горами. Жалкий вид с горы — россыпь одноэтажных домишек, две пристани — одна из них пароходного общества «Кавказ и Меркурий», другая — «Восточного общества», да чахлый городской сад: похоже, что дети, играя в песочек, натыкали увядшие веточки между овальными и круглыми клумбами. Скучный вид... А если еще вспомнить, что в этот притиснутый к бесконечным водным просторам город пресную воду привозят в цистернах из Баку и вдоль улиц выстраиваются длинные вереницы женщин с ведрами, — совсем невесело делается. А если к тому же подумать о собственной участи...

Не от хорошей жизни занесло Кайгысыза в Красноводск. После окончания Ташкентской учительской семинарии его и Мухаммедкули направили учителями русско-туркменской школы в Мерв.

Молодые учителя, приехавшие из столицы Туркестана, вызвали к себе в маленьком городке большой интерес, что не замедлила отметить полиция. Было состряпано очередное дело, в котором утверждалось, что Кайгысыз и Мухаммедкули собирают в чайной народ и рассказывают непристойные истории о муллах и ишанах, говорят, что те держат народ в темноте. Среди знакомых Атабаевых были и местные богатеи, которые тоже стремились приобщиться к просвещению. Нападки на первых туркменских учителей могли показаться местной знати оскорбительными и полиция не решилась арестовать Атабаевых. Их только перевели из Мерва в Бахарден. Тихий, пустынный Бахарден. И еще четыре года провели неразлучные друзья в этом забытом богом и людьми, глухом городке.

Три года они оба учительствовали в одноклассной Бахарденской школе, а на четвертый Кайгысыз даже был назначен заведующим, но к весне вспомнили, что по приказу Министерства просвещения инородцы не могут стоять во главе школ, и его снова перевели в учителя. Это было оскорбительно. Как можно мириться с этим, не протестовать? Кайгысыз подал в отставку, покинул школу.

Что теперь делать? Возвращаться в Мене, где нищенствовал со своей семьей Гельды-терьякеш? Кайгысыз не смог бы справиться теперь с дехканской работой, да и не

хотел этой беспросветной крестьянской доли.

Началась полоса скитаний. Прежде всего Кайгысыз поехал в Красноводск. Там наверняка не хватает людей. Порт и железнодорожный узел, перевалочный пункт для всех грузов, идущих в Среднюю Азию, край рыбный, нефтяной... Так ему думалось в пыльном мертвом Бахардене, так казалось и Мухаммедкули.

А все получилось иначе, чем думалось. В уездном управлении отказали, даже не дослушав. В управлении же-лезной дороги погнали с порога. Не нашлось дела и в железнодорожных мастерских, не нужны были туркмены и в морском порту. Там полным-полно поденных грузчиков, понаехавших из Баку безработных.

И вот после целого дня унижительных поисков и просьб он забрел на вершину горы, на минуту отвлекся от скучных забот, глядя на синие дали. Там, за бухтой, виднелся островок, острым глазом можно было различить на нем какие-то строения. Аул? Аул посреди моря? Разве бывает такое? Неподалеку от Кайгысыза, опершись на посох, стоял застывший, как изваяние, старик.

— Что там такое? — спросил Кайгысыз, показывая на островок.

— Кизыл-су, — пожал плечами старик, удивляясь, что кому-то неизвестно это такое знаменитое селение. — Поселок рыбаков.

— Понятно, понятно...

— Конечно, понятно, — проворчал старик, — хотел бы я знать, что тут может быть непонятного?

— Как видно и город назвали в честь островка.

— Так оно и было.

Может, поискать счастья в Кизыл-су? В Красноводске найти работу труднее, чем разыскать иголку в сыпучем песке. Завтра же надо поехать в Кизыл-су.

Твердое решение всегда придает бодрости. Кайгысыз поужинал хлебом и чаем в убогой чайхане на окраине города, лег спать.

Трудно уснуть на полу, на грязной кошме. В комнате народу — ногу поставить некуда. Нестерпимая духота, клопы кусаются, как дикие звери. Кайгысызу не спалось. Спасаясь от нудной бессонницы, он прислушался к негромкому разговору соседей по ночлежке,

— Значит, говоришь, не здешний? — слышался густой бас.

— Иомуд я. Мой дом в Гаяли.

— А где же этот Гаялй?

— На востоке. Недалеко отсюда.

— Как можно ночевать в такой дыре, если дом близко?

— Жду утреннего поезда.

— Собрался ехать?

— Только куда ехать-то? Где удастся заработать на хлеб, чтобы дети не голодали, туда и поеду.

Наступило долгое молчание, слышался храп из дальнего угла. Затем басовитый парень, будто обдумав обстоятельно свой вопрос, снова завел разговор:

— Почему же на родине нельзя заработать? Скудные края?

— На родине? На моей родине — воды целое море и океан рыбы. Только закрыто для меня море.

— Не умеешь плавать?

— Хочешь доплыть до Кизыл-су?

— Так в чем же дело?

— Нет у меня ни баркаса, ни снастей. Работал на хозяйском баркасе за половину улова, окрутил шельмец — стал работать за треть, а потом за четверть, а когда я заупряился, и вовсе в шею вытолкал. Дети мои сидят голодные, почтеннейший...

— Так, значит?

— Вот и еду на заработки,

— Заработки, значит?

— А чего тут смешного?

— А разве не смешно? И я про себя тоже самое могу рассказать.

— Это как же?

— А так, что в огромном Чарджуйском уезде не нашлось для меня ни пяди земли, ни глотка воды.

— Подумать только...

— На всем хозяйская печать. Запор даже на полноводной Аму-Дарье.

— Нет, ты скажи мне, как же так получается? Когда мы над своей землей станем хозяевами?

— Когда настанет конец света.

Кайгысыз уже не слышал, о чем толковали дальше коечные соседи. Конец света! По сути он уже настал для них, для этих закаспийских бродяг и для тысяч других, двинувшихся в бесплодные путешествия или приросших к месту и молча умирающих в нищете. Земля, вода, морские богатства — всё захвачено цепкими руками кучки стяжателей. Так и будет, и ничего не спасет неимущего, никакой обетованный край, никакие люди добрые. Так и будет до тех пор, пока труженик не станет первым человеком на земле.

Кайгысыз задремал, и снова сквозь духоту, вонь, плотный, как вата, воздух ночлежки, слышался жалобный, как стон, вопрос: «До каких же пор?..»

Утром, проснувшись, он огляделся вокруг — вчерашних соседей не было. Но разговор остался в памяти и ясно, что решение ехать в Кизыл-су нелепо. Никому он не нужен на рыбных промыслах, как не нужен был бы баям-скотоводам. То, что сумеет неграмотный, темный дехканин, не под силу туркмену-интеллекту, окончившему русско-туземную школу. Его и за харчи нигде держать не станут.

Надо подаваться в Асхабад. В Бахардене он написал маленькую статейку о методах преподавания в туркменской школе. Послал в Асхабад, статью напечатали. Правда, денег не прислали. Но все-таки есть предлог зайти в газету, посоветоваться, зацепиться.

Кайгысыз ехал в бесплацкартном. Билет стоит полцены, вагон набит до отказа. Тут не увидишь чисто выбритых, усатых щеголей. Кругом халаты, заплаты, да порыжевшие, вытертые до кожи тельпеки. Поезд движется медленно, останавливается не только на всех станциях, но и на разъездах, кажется, поднимет путник на насыпи руку — тоже остановится. Тоскливо тащится состав го степи, как гусеница по песку, в вагоне — шутки, смех, но и обстоятельные беседы. Верно говорят старые люди: веселье побеждает грусть, память — скуку.

Старичок с удивленно поднятыми бровями, сморщенным в гармошку лбом вспоминает про выборы аульного старшины:

— Кто не знает, что старшина, который работает на белого царя, сам царь в ауле? Каждый бай хочет иметь такого царя из своего рода, каждый бай дает взятки, чтобы иметь своего царя. Если один бай заваливает уездного начальника коврами, то другой наполняет его карманы деньгами. Если одного поддерживает начальник, то другого — его помощник...

— Верно, верно! — удивился молодой скуластый парнишка, — в нашем ауле всех наших кур Сары-Салпы подарил полковнику. Всех сожрала его толстая жена!

— А у нас три раза выбирали старшину и все голоса поровну! — крикнул кто-то из глубины вагона.

— Подумаешь новость! Начальники и толмачи нарочно так считают, чтобы по три раза получать взятки.

— И вот в четвертый раз вожди родов собрали весь аул, даже жен. Приехал на выборы и сам воинский начальник — полковник. Весь народ согнали на широкую

площадь посреди села, справа — один род, слева — другой. Наших чуть не вдвое больше. Мы и не беспокоимся — наш старшина будет. А полковник, как посмотрел, что народу не поровну, как нахмурился, как рассердился и давай лопотать по-своему. Толмач перевел, что он велит всем выстроиться и пройти перед ним. Наших погнали первыми. Полковник кричит: «Давай, давай!..» Торопит и сам считает двоих за одного. А когда пошел

другой род, он совсем заторопился и посчитал одного за двух. Так и вышло, что тех оказалось на сорок человек больше, и объявили, что старшина выбран из их рода. Мы подняли шум, кричим:

— Неправильно подсчитали.

— Начинай сначала!

— Обман!

— Не позволим!

Полковник и кричит и бормочет — не слушаем! Толмач суетится — не замечаем! Пошли всей толпой на полковника, он пятился, пятился, да и скрылся в доме бывшего старшины. Но на пороге кто-то успел схватить его за пуговицу. И покатила по земле блестящая пуговица, как золотая монета. И вдруг женщина крикнула: «Держите полковника!» Тут-то он и выстрелил из пистолета, Да не один и не два раза... Толмач крикнул: «Бей кровника!» Налетели полицейские джигиты и пошли хлестать нагайками направо и налево... Кончилось тем, что увезли четверых связанных из нашего аула...

Усач с подстриженной, как щетка, бородой сказал:

— Не убивайся, старик. Известно... От сильного пахнет цветами... Всюду одно и то же.

— А где же справедливость?

— В кармане полковника.

Старик с удивленными бровями не сдавался.

— Я слышал, что русские — человечные, добрые. А это... Куда это годится?

Кайгысыз невольно перебил его.

— Правильно слышал, ага.

— Где же тут правда?

— Полковник — не народ.

— Ты хочешь сказать, что он не русский? Так кто же?

— Полковник — цепная собака царя.

— А царь кто?

— Волк. Что же знает волк о цене мула?

— Вот это верно! — старик погладил бороду, ласково посмотрел на Кайгысыза. — Сказал ты верно, только я одного не могу понять...

— Чего же? — спросил Кайгысыз.

— С виду ты похож на узкобрюких, развращенных туркмен-толмачей, а говоришь, как...

— Я не толмач, дорогой ага.

— А кто же?

— Учитель.

— Непонятное слово.

— Учитель... — мулла.

— Русский мулла? Так бы и сказал, что учишь детей грамоте. А где, в каком мектебе?

— Теперь нигде. Выгнали меня с работы.

— Вон оно что... — старик помолчал, потом сказал. — А ты когда-нибудь слышал, что у того, кто говорит правду, нет друга?

— Приходилось, — засмеялся Кайгысыз.

— Чего же распускаешь язык? Если будешь говорить про царя, как сейчас — плохо тебе придется.

Эта мудрость знакома Кайгысызу, и к чему скрывать — справедлива. Но не всякому дано поступать против совести.

Он и так проявил осторожность. Хотел взять на Красноводском вокзале билет до Кизыл-Арвата. В Кизыл-Арвате вагоноремонтный завод, там может самые передовые рабочие во всем Закаспии. Когда в России или в Баку начинаются забастовки, — отдается в Кизыл-Арвате. Только не пришлось взять билет в этот город. Рабочий азербайджанец,

бежавший оттуда, рассказал на вокзале Кайгысызу, что там начались аресты, полиция бесчинствует, и теперь легче верблюду пройти в игольное ушко, чем уволенному с работы туркмену найти работу в Кизыл-Арвате. Вот и не стал Кайгысыз пробивать лбом стену, вот и едет теперь в Асхабад...

На площади перед асхабадским вокзалом выстроились в ряд новенькие фазтоны, сытые лошади били копытами, чутко пошевеливали ушами, будто гордились разноцветными кисточками на лбу, яркими — желтыми, красными, зелеными сетками под глазами. Кайгысыз на мгновение задержался взглядом на экипажах. Почему-то на этот раз он не замечал разноликой, разноплеменной толпы, как бывало в Мерве. Разукрашенные лошади, блеск черного лака экипажей воплощали Для него сейчас жизнь иного мира, с другими радостями и заботами, жизнь легкую и плавную, подобно движению дутых шин по асфальту. Он поправил сверток со своими пожитками и широким, размашистым шагом направился на Ско-беяевскую площадь, где помещалась редакция газеты.

Обращаться в областное управление в поисках работы не было смысла. Еще в Мерве Кайгысыз слышал о старшем писаре губернаторской канцелярии Сулейман-беке. Он имел большое влияние на губернатора, доходы его были баснословны, недавно купил дом в Баку. Естественно, что он очень дорожил своим местом и близко не подпускал к канцелярии интеллигентных туркмен, боясь конкуренции. Изредка он брал в секретари или в толмачи сыновей местных богачей и освобождался от них, как только замечал проблески деловых качеств. Впрочем, даже если бы Кайгысызу представилась возможность устроиться секретарем, он не выдержал бы и двух дней. Кому охота лизать сапоги Сулейман-бека.

Редакция помещалась в низких полутемных комнатах с окнами в сад. Газета издавалась на русском языке, но было и туркменское приложение, и когда Беляев, редактор туркменского отдела, радушно встретил Кайгысыза, у него забрезжила надежда, что вот, наконец, и кончились его скитания.

Сидя в удобном низком кресле, Кайгысыз обстоятельно и ничего не тая рассказал, как его уволили из школы, как он обивал пороги в Красноводске, какие разговоры ведет народ в поезде. Беляев, невзрачный мужчина в яркой тюбетейке, поправляя пенсне на черном шнурочке, согласно кивал головой, как бы подтверждая справедливость впечатлений Кайгысыза.

— А теперь что думаете делать? — спросил он.

Кайгысыз нехотя улыбнулся.

— По-прежнему мерять дороги.

— Что-то не пойму...

— Скитаться в поисках работы.

— Думаю, что не придется, — улыбаясь, сказал Беляев. — Кажется, сам бог привел вас сюда. Нашей газете необходим сотрудник туркмен. Хотите работать вместе со мной? Жалованье небольшое, зато будете получать гонорар...

Кайгысыз ушам своим не верил, неужели возможно такое счастье?

— Ну как, идет? — спросил Беляев.

— Я мог только мечтать, — смущенно пробормотал Кайгысыз,

Беляев позвонил в колокольчик. В комнату заглянул круглолицый паренек, стриженный в скобку.

— Принесите из кассы десять рублей, — приказал он пареньку и, обратясь к Кайгысызу, продолжил, — мы не успели отослать вам деньги за статью. Гонорар, правда, ерундовский, но, как говорят туркмены: «Пока принесут палку, действуй кулаком!» У вас еще все впереди.

И он протянул Атабаеву десятку.

— Спасибо, редактор-эфенди, — смутился Кайгысыз, — у меня еще есть деньги на харчи.

— Знаете, деньги никогда не бывают лишними, — наставительно заметил Беляев, — к тому же вы их заработали. Как же можно отказываться от трудовых рублей?

Эти деньги были нужны Атабаеву, как вода, как воздух. У него оставался один рубль.

Прощаясь, Беляев сказал:

— Сегодня отдохните. Об остальном договоримся завтра.

На этот раз Атабаев не пошел в чайхану, а занял дешевенький номер в гостинице «Лондон». Тут можно было, наконец, искупаться и привести себя в порядок. Вечером он вышел на улицу бодрый, полный надежд и энергии.

Магазины опустили железные шторы на окнах и дверях, но на Атаманской улице было многолюдно. Был час вечернего гуляния, когда густо шла нарядная городская публика: офицеры местного гарнизона, персидские, армянские купчики в лоснящихся котелках, ярких жилетах и галстуках; щебетали барышни с тонкими, перетянутыми корсетами талиями; доносился многоголосый шум из окон чайханы, сладкие звуки оркестров из ресторанов. Кайгысыз почувствовал себя в этой толпе одиноким, чужим, но не побежденным. Всё время вспоминались люди, теснившиеся утром в вагоне, но этот контраст впечатлений не угнетал, а вызывал какой-то необычный прилив сил. В газете можно будет побороться с этой сытой, тупой толпой. Пусть не во весь голос, но ведь есть же спасительная сатира, можно будет писать фельетоны, можно переписываться с Мухаммедкули, привлечь его к совместной работе...

В ту ночь Атабаев спал в чистой постели и видел радужные сны.

Утром, не заходя в чайхану, он отправился в редакцию. Беляев, усталый, смущенный и опечаленный, не пригласил его сесть и сам разговаривал стоя.

— К сожалению, то, о чем мы вчера говорили, — не состоится. Вернее, откладывается по некоторым, не зависящим от меня причинам, — уклончиво объяснил он. — Я виноват, что обнадежил вас. Простите.

Кайгысыз оцепенел.

— Волчий билет из Бахарденской школы? — спросил он после минутного молчания.

Беляев кивнул, опустив глаза.

— Мы будем поддерживать с вами связь, — смущенно сказал он, — при первой же возможности вызовем в Асхабад.

Но Кайгысыз понял, что это — пустой разговор, одна деликатность.

...Итак, все сначала. Куда же направить путь? В кармане еще неразменная десятка — на билет есть, хватит и на чайхану.

Он поехал в родной Теджен. Маленький городишка, но может еще живут там старые друзья, работает Василий Васильевич?

Первый, кого он встретил в Теджене, был Джумакули, товарищ по русско-туркменской школе. На голове — щегольская папаха, тонкий стан стянут кирмыз-доном, на плечах белые погоны. Джумакули работал старшим толмачом в уездном управлении. Не торопясь, они прошли через весь город от станции до дома Джумакули, и Кайгысыз удивился — сколько перемен в маленьком городке! Пробиты новые улицы, поднялись когда-то молодые деревца. И магазинов прибавилось. Тедженский оазис теперь снабжал хлебом Закаспийскую и Самаркандскую области, да и многие районы Бухарского эмирата. В Теджен шли отовсюду караваны верблюдов с колокольцами, зерно засыпалось в бесчисленные торговые дворы и амбары, оттуда — в мешки и — на железную дорогу. Зерно у дехкан покупали за полтинник, продавали за рубль. И что-то не видно было праздной гуляющей толпы.

Может быть, потому что рабочий день, по улицам брели оборванные, озабоченные дехкане.

Дом Джумакули Аннасеидова находился на северной окраине города, посреди двора стояла войлочная кибитка. По-видимому, школьный товарищ был очень обеспеченный человек. Кайгысыз прикинул, что его жалованья не хватило бы и на один день: столько приходилось толмачу принимать и угощать баев и старшин. Четверо слуг расседывали коней во дворе, угощали посетителей чаем и пловом.

Хотя в русско-туркменской школе воспитанников приучали к европейским обычаям, они не привыкли сидеть за столом и на стульях, принимали гостей, возлежа на дорогих коврах, облокотившись на пышные пуховые подушки. Расспрашивать гостя, откуда он



явился и куда держит путь — значит, как бы торопить беседу. Джумакули толковал с Кайгысызом о разных пустяках, давая между слов понять, что именно он, Джумакули — опора власти в Закаспийской области, с детства Джумакули любил прихвастнуть.

Беседа все время прерывалась: новые люди шли со своими делами в дом толмача запросто, как в канцелярию уездного управления, — благо тут поили и кормили. Иные обменивались с хозяином непонятными намеками и загадочными взглядами, другие, отобедав, спрашивали напрямик:

— Ну, как решилось дело?

И каждый раз, сделав многозначительную паузу, Аннасеидов храбро отвечал:

— Будь покоен. Всё в порядке.

Юный сын бая с щегольскими усами поднес Джумакули ковровый хорджун, сказав, что там — гостинцы для детей. Кайгысызу, которому пришлось передать подарок хозяину, показалось, что хорджун слишком тяжел, как видно набит кранами. Персидские краны в Теджене обращались даже чаще, чем царские рубли. Они обладали волшебной способностью поворачивать законы так, как было удобно их владельцам.

Под вечер у хозяина появился неожиданный гость — бедняк в пропыленном халате. Джумакули сделал строгое лицо и спросил:

— С чем пришел?

Бедняжка вздрогнул и, стоя у двери, заговорил дрожащим голосом:

— Я, толмач-ага, темная, бестолковая, степная скотина. В город-то попал впервые. Мне заказали: иди к толмачу Джумакули, он тебе поможет, он справедливый человек. Вот я и пришел.

— Короче! Зачем пришел?

— Три года я работал у Шалар-бая. А он выгнал меня и не заплатил ни копейки.

— Шалар-бай?

— Он, толмач-ага.

— Не может быть. Ты наговариваешь. Шалар-бай не мог поступить так жестоко.

— Все жители аула подтвердят, что так и было.

— Врешь.

— Клянусь, это правда!

— А ты знаешь, что здесь не канцелярия?

— Знаю, толмач-ага.

— Если знаешь, убирайся отсюда,

— Толмач-ага!

— Без разговоров.

До глубины души Атабаев был возмущен этой сценой, но, зная характер Джумакули, не стал заступаться за дехканина, боясь навредить ему еще больше.

Только вечером, когда уже нельзя было ждать гостей, хозяин посчитал приличным спросить и о делах Кайгысыза.

— Ну и как? Растет поколение грамотных туркмен?

— Без моей помощи. Уволили из Бахарденской школы. Иностранец, как они говорят, не имеет права быть заведующим. Даже в одноклассной школе.

— Это не новость. Что теперь думаешь делать?

— А что я умею? Преподавать.

— Грамотный человек может делать всё.

— Так-то оно так...

— Что с тобой, Кайгысыз? Никогда не думал, что ты такой беспомощный.

— Я и сам не думал.

— Нет, так не пойдет. Разве можно в твои годы с такими знаниями отчаиваться? — Джумакули самодовольно подкрутил усы. — Сам не можешь, так я тебя устрою толмачом в Серахское приставство. Есть у меня там знакомства. Хочешь, приведу одного человека? Он тебе обрисует обстановку.

И довольный изысканным оборотом речи, не дожидаясь ответа, Аннасеидов вышел на улицу.

Какой соблазн для безработного, не имеющего пристанища, сделаться толмачом! Любишь деньги — потекут рекой, любишь власть — она у тебя в руках. Но Атабаева испугало его будущее в Серахсе. А появившийся с Анна-сеидовым Бабаджан, один из серахских толмачей, рассеял его сомнения.

Добродушный, но ловкий, не вредный, но и неведающий разницы между добром и злом, молодой толмач взахлеб принялся объяснять, как хорошо обстоят дела в Серахсе.

Кайгысыз узнал, что совсем недалеко от Теджена, всего в ста сорока верстах на юго-восток, на землях племени салыр, туркмены разделились на два рода: Кара-ман и Кичи-ага. Как водится, оба рода жили недружно, и стоял над этими родами русский пристав, все дела он передоверил своему помощнику Менгли-хану. Тот стал всемогущ, как бог: хотел — казнил, хотел — миловал. Все ему сходило с рук. Стонали дехкане под его иглом, со слезами вспоминали начальника Теке-хана, говорили, что вместо сокола прилетел к ним стервятник. Во главе серахских родов стояли два бая: Шалар-бай и Джанек-бай. У каждого — по семи жен, каждый мнил себя опорой вселенной. Им и в голову не приходило, что сами-то они игрушки в руках любого толмача, даже такого мальчишки, как Бабаджан.

— Вызываю Шалар-бая и Джанек-бая в управление, — захлебываясь от смеха, рассказывал Бабаджан, — говорю, что начальник Тедженского уезда полковник Беланович прислал им привет. Как индюки надулись мои бай, от важности головы в сторону не повернут. «И есть, говорю, у полковника к вам просьба. Он выдает замуж дочь. У русских, говорю, все иначе, чем у нас. Мы в придачу к дочери даем верблюдицу с верблюжонком или там полдюжины баранов. А они дарят дорогие вещи: ковры и даже целые поместья. Нет у полковника в наших краях поместья, вот он и просит вас прислать по ковру и по пятьдесят шкурок каракуля. Все это, конечно, не задаром, говорю. Все потом во много раз окупится...» Засуетились мои бай, низко кланяются, говорят, что

считают за честь выполнить такую просьбу. Так вот и вышло, что один ковер и девяносто шкурок украсили мой дом, а другой ковер и десять шкурок, которые я преподнес Белановичу, принесли мне вот что! — и Бабаджан погладил обеими руками свои белые погоны.

Слушая этот рассказ, Джумакули одобрительно кивал головой и, как только Бабаджан кончил, спросил Кайгысыза:

— Понятно тебе? Согласен?

Атабаев, который слушал Бабаджана полулежа, облокотившись на подушки, выпрямился, встал на ноги.

— Быть толмачом, Джумакули, не каждому выпадает счастье. Благодарю за заботу.

— Давай собирайся.

— Только... вся беда, что такая работа не по мне.

Аннасеидов с досадой хлопнул себя по коленям.

— Ну, что с тобой делать! Разве есть для человека преграды, когда в руках власть? Прикажешь бить — бьют, возьмешь в руки песок — превратится в золото!

— А зачем мне столько золота? Я не во дворце родился. А если в мой карман попадут неверные деньги, покажется, что змея заползла.

— Видно, в голове у тебя не все в порядке. Но что же с тобой делать?

— Что хочешь делай, Джумакули, только знай — на темные дела я не согласен...

— Уж не подозреваешь ли ты меня в чем-то?..

— Ты не обижайся, Джумакули, мы с тобой по-разному смотрим на жизнь и у нас разные пути. Мне бы снова стать учителем или, на худой конец, писарем в конторе. С такой работой я бы справился.

— Слышать об этом не хочу! Давай добьюсь, что тебя изберут старшиной в твоём родном ауле?

— Ни за что!

— Тяжелый ты человек. Отдохни, поспи, подумай. Спокойной ночи.

Аннасеидов был тщеславен, вот почему хотел он облагодетельствовать Кайгысыза. В школе Кайгысыз был одним из лучших учеников. Джумакули — первым среди худших. Надо же теперь заставить этого голоштанного парня прочувствовать свое унижение.

Утром Джумакули отправился в один из аулов и пригласил Кайгысыза его сопровождать. Взяв с собой одного джигита, они втроем отправились в путь.

Дорога была тяжелая, — по весне в русло Теджена приходили паводковые воды, в арыках наслаивался ил, а когда его прочищали, по берегам разливалась густая, как сметану, жижа. Подпочвенные воды, поднимаясь на поверхность, тянули за собой соль, и на бесплодной земле росли лишь редкие кусты гребенчука да солянка. Кое-где поля, казалось, были политы кислым молоком.

В верстах десяти от города велись хошарные работы. Дехкане, полуголые, истекающие потом, очищали арыки. Работы велись в два приема: те, кто стоял внизу, тяжелыми лопатами, на которых умещалось по пуду земли, передавал ее товарищам, а уже те, верхние, отбрасывали дальше. «А еще говорят, что ад на том свете, — думалось Атабаеву. — Да можно ли представить более адскую работу?»

Кайгысыз молча поглядел на Аннасеидова, но тот равнодушно взирал своими маленькими, глубоко запавшими глазками на измученных людей, — они, как мураши, копошились в арыках, тянувшихся до горизонта.

В ауле, куда приехали к вечеру, властвовала угнетающая нищета — черные кибитки, утонувшие в пыли, грязные ребятишки у входа, а заглянешь внутрь, там утвари — курица на спине унесет.

Кибитка, в которую пригласили толмача, не походила на другие: там уже ставили котлы на огонь, тащили освежеванного барашка, кипел самовар. Кусок не лез в горло, Кайгысызу казалось, что пища сварена на поте тех людей, что копошились в арыке, вдоль дороги. И разговоры за столом были в тон этому ощущению. Аннасеидов появился в ауле, как посредник русских и армянских купцов, которые заранее, за полцены скупали у дехкан урожай.

Неприязненно смотрел Кайгысыз на то, как двигались скулы Джумакули, как жадно пожирал он плов с курятиной, как снисходительно, будто совершая благодеяние, отсчитывал деньги, — а ведь он грабил людей! Он прилетал в аул, как стервятник на падаль. И в ушах Атабаева звучал то г же жалобный, ночной голос из красноводской чайханы: «До каких же пор?... До каких?..»

## Под стук конторских костяшек

Снова Мерв... Все так же несет медлительные теплые воды Мургаб. По улице стучат колеса фаэтонов. Дуги моста через Мургаб, жалкие лавчонки на левом берегу, разноплеменная толпа базара, пришлый народ — армяне, персы, русские, евреи, грузины, даже немцы-колонисты. А по другую сторону реки — мрачные крепостные постройки, Там русский гарнизон, солдатские казармы, уездное управление. Там и дома местных богачей.

Знакомый город... Здесь когда-то два молодых учителя начинали свою работу в школе. Конечно, Мерв куда оживленнее сонного Бахардена, но после Ташкента жизнь в нем кажется беспросветной. И нет рядом друга, которому доверял... Разлука всегда горька, но никогда еще не чувствовал Кайгысыз так остро свое одиночество — Мухаммедкули учительствует в своем Бахардене, а ты тут шагай-вышагивай в чужой толпе. Изредка встречал Атабаев своих недавних учеников, они подросли, бежали, издали наскоро приветствуя его взмахом руки.

— А не пойти ли тебе конторщиком в банк? — спросил его однажды старший брат Агаджан. У него большие связи с купцами и русскими чиновниками. Он может устроить неудачника — пусть щелкает костяшками счетов, может быть, дурь из головы выбьется.

Утром Кайгысыз сел за конторку в комнате с зарешеченными окнами. Деревянная стойка, за ней посетители, у оконца другой чиновник — Иван Антоныч, русский старичок с

черными сатиновыми нарукавниками. Он старше по чину бывшего учителя. Старик поглядел на туркмена из-под очков, молча кивнул головой и отвернулся.

Вот и началось безотрадное, существование, хуже ничего не придумаешь: бумаги, бумаги, бумаги... стакан чая, бумаги... стакан чая и стук костяшек на счетах...

Кайгысыза угнетали поиски несошедшихся в суточном журнале учета копеек, а счет шел на сотни тысяч. Теперь, когда пустыню пересекла железная дорога, Мерв превращался в торговый — транзитный и перевалочный — центр, второй по назначению после Асхабада. Вчитываясь в финансовые документы, Атабаев зримо ощущал, как идут по караванным тропам Каракумов каракуль, ковры, кошмы и хлопок на товарную станцию Мерва, как путешествует чай из Индии в Хиву, как движется из Хивинского ханства мерлушка, халаты, коровье масло... В сторону красноводского порта для России бегут товарные вагоны — в них шерсть и тот же хлопок. Уже под хлопковые посевы в Мервском уезде занята одна треть удобных земель — а все в руках дехканина кетмень и омач... Уже завели свои банковские счета два хлопкоочистительных завода, — в вечерних прогулках Атабаев добредал до них, они на окраине, а дальше их — темнеющая к ночи степь. Кайгысыз стоял у стены завода и сумрачно глядел вдаль, где за горизонтом — там где-то светится сейчас окошко сельского учителя Мухаммедкули...

А утром снова — конторка, деревянная загородка, стук костяшек...

Медленно, мучительно и уродливо проникал российский торговый капитал в патриархальный край. Как будто после постройки железной дороги чуть ли не втрое увеличилось число хлопкоочистительных заводов, но были они такими же маленькими, кустарными, как и прежде. Осенью, в разгар уборочного сезона, в Асхабаде и Теджене было занято 98 рабочих. И — ни одной хлопчатобумажной фабрики, хотя туркестанский генерал-губернатор толково разъяснял в своих докладных далекому Санкт-Петербургу, что переработка хлопка в текстиль на месте будет бесконечно дешевле: ведь до пяти рублей с каждого пуда обходится доставка хлопка из Туркестана в Москву и столько же доставка каждого пуда мануфактуры из Москвы в Среднюю Азию. А как же тогда быть с железнодорожными барышами? Как быть с бешеными прибылями питерских ростовщиков и иваново-вознесенских мануфактурщиков?.. Царское правительство в интересах русской буржуазии желало сохранить новую колонию в ее первозданном виде, в состоянии дикой отсталости, на положении аграрно-сырьевого придатка России.

Все это видел банковский конторщик под костяшками счетов.

Казалось бы, вторжение капиталов должно было привести край к процветанию, но получилось иначе. Увеличить плантации хлопка можно только за счет пшеницы, — так и поступили. И цены на хлеб выросли в четыре-пять раз. Крестьяне изнывали, а налоги всё росли и росли.

Когда, робко озираясь, в банк заглядывали туркмены из соседних аулов, Иван Антонович, не разгибая спины, показывал в сторону сослуживца, и Кайгысыз терпеливо выслушивал путаные рассказы посетителей, объяснял, что надо писать, в какой адрес и — чаще всего — направлял в общество взаимного кредита. Он понимал, что это пришли кулаки или байские приказчики — он знал, что самые плодородные земли, в результате махинаций и фиктивных сделок, постепенно переходят в эти загребущие руки. У кого вода — у того власть, он знал, что лучшие полноводные каналы скуплены богатеями... Но что он мог сделать, маленький конторщик? Он видел, как год от года, особенно когда началась война с немцами, росли цены на поливные земли, — за десятину платили теперь от тысячи до трех тысяч рублей.

С выражением благодарности на лицах, со слезами восторга, со сложенными у груди ладонями, пятась спиной, уходили эти люди, и Кайгысыз Атабаев, хмурясь, до самой двери прослеживал взглядом их льстивые телодвижения. О, как он их ненавидел, припоминая свой родной нищий аул и толстомясого мальчика — сына мельника! Русский счетовод не прислушивался к разговорам, которые за столом Атабаева велись, в основном, на туркменском языке, он, конечно, ничего не понимал в этих сценах льстивой признательности

просителей и сумрачного, почти жестокого величия его сослуживца.

Так проходил день...

А что же делать вечером? В убогой каморке, снятой у пожилой женщины за дешевую плату, часами просиживал Атабаев у маленького столика, ероша свои густые волосы, вспоминая школу в Бахардене, учебники, тетрадки, милый робкий почерк простодушных ребят... Смешно и грустно вспоминать, как сказал когда-то Василий Васильевич — воспитаете сотни таких же честных юношей, а может быть, и сотни героев... Не пришлось и вряд ли когда-нибудь придется добиться этого,

Вечерами Атабаев по учебнику изучал банковское дело, теорию бухгалтерского учета — старался постичь премудрости финансовой науки. Чего доброго, недовольные хозяева не будут церемониться, прогонят без объяснений.

Но когда становилось невозможно от мрачных мыслей, молодой человек выбегал на улицу. Ночью в Мерве почти не оставалось туркмен — даже базарные лавочники запирали на засов свои лавчонки и возвращались с темнотой в аулы. Можно найти лишь два-три интеллигента, с кем можно поговорить на родном языке. В Мервском реальном училище только четыре юноши туркмена...

Была шумная чайхана, хозяин ее и все слуги — азербайджанцы. В просторном зале, где не было ни столов, ни стульев, а только длинные топчаны, накрытые коврами, днем пили чай или закусывали люди из аулов. Здесь можно было и поспать, потому что дехкане не знали, что есть в городе гостиница. Из большой трубы граммофона непрерывно лились веселые и шумные мелодии, которые вполне соответствовали хорошему настроению хозяина. И так же, под стать настроению хозяина, весело и быстро двигались с подносами слуги. Расчетливо поглядывая на грубые аульские папахи входящих, они, как будто подмигивая кому-то, кричали на кухню, к очагам:

— Эй, готовь брату порцию самого жирного пити!..

Злая насмешка над темными людьми, над своими же соотечественниками: громко брошенные слова на самом деле означали другое: «Все равно: жирные, соленые, жидкие остатки вчерашнего котла — эти деревенские не разберут...»

И все же сюда тянуло по вечерам банковского конторщика — где же еще увидеть человека, поговорить с ним, услышать новости. В дальнем углу просторного зала чайханы был нарисован на холсте огромный лев с оскаленной пастью, и чайхана называлась «Елбарслы» — «Львиная». Атабаев садился под львиной гривастой мордой и устало потирал ладонями хмурое лицо. Вот и еще один день миновал... А как тянуло к людям!

Эй, кто тут — с чистым сердцем, с открытыми и ясными глазами? Подсаживайся. Давай, друг, поговорим... Эй, кто же?..

## **Что можно услышать в чайхане "Ёлбарслы"**

Однажды к Кайгысызу подсел согбенный старик с жилистыми мозолистыми руками.

Годы так же согнули его, как когда-то Нобат-ага, и еще показалось Кайгысызу, будто хочет старик запустить палкой в зайца, как и тот... И он, еще не заговорив, почувствовал к нему уважение. Но старик, моргая редкими ресницами, подозрительно смотрел на молодого туркмена. И по этому взгляду Атабаев догадался, — он, видно, упрекает меня: мол, из-за таких, как я, узкобрючных, скитается он по свету в лохмотьях? Однако ж у старика было другое на уме, недоверчиво глядя, он обратился к горожанину:

— Сынок, по твоему виду ты грамотный. Не напишешь ли мне бумагу?

— Какую? Куда?

— Как мне знать — куда, сынок? Может быть, приставу или еще кому?

— О чем?

— О чем может быть, сынок? Бедность...

— И какой помощи хочешь просить?

— Эх, сынок, никакой помощи мне не нужно! Только никогда, сынок, не было у меня

ни одной коровенки. Днем и ночью работаю, не покладая рук, и не могу накормить свою семью сухим хлебом. А сейчас аульский старшина забрал из моего дома, что могло бы пригодиться, сказал: «Ты не платишь налог». Теперь, сынок, мои дети, точно цыплята, спят на голой земле. Я, сынок, не знаю, о чем просить, к кому и куда обратиться...

Судьба каждого дехканина в чайхане, подавленно сидевшего с пустой пиалой в руках, не отличалась от судьбы этого старика. Атабаев не знал, какую пользу приносили сотни прошений, написанных в чайхане. Если он не писал бумагу под диктовку нищих дехкан, то слушал их. Чайхана гудела человеческими голосами — голосами горя, гнева, надежд... Городские сплетни. Пустые споры. Больше нелепые, но иногда удивительно точные слухи... Однажды студент-армянин, сын мервского купца, рассказал о забастовке на Челекене. С ним спорили — какие могут быть забастовки на этом, богом проклятом острове? Челекенские нефтяники — темные, забытые, невежественные. Скорее забастует свора борзых псов, чем взбунтуются на промыслах.

Однако на следующий день, проверяя в конторе журналы учета поступлений, Атабаев заметил, как качнулись, пошли вниз дивиденды промыслов Гаджинского — одного из владельцев Челекенской нефти. Значит, студент сказал правду? Значит, еще где-то народ шевельнулся, что-то двинулось? Самые темные люди выходят на защиту своих прав?

Страшная, каторжная жизнь была у челекенских нефтяников. Трудно удивить кочевых туркмен тяготами жизни, но и те недолго выдерживают на промыслах Гаджинского и Нобея. Остров — пустынный без единого деревца, без питьевой воды. Летучие пески, поднимаемые ветром, засыпают убогие бараки. В рабочих казармах тесно, в каждой комнате ютятся по три-четыре семьи. Летом нестерпимый зной и негде от него укрыться, зимой — лютый холод, потому что хозяева поскупились завезти из Баку железные печи. В промысловых лавках неслыханная дороговизна — твердой цены на продукты нет. Хозяин волен хоть каждый день назначать новые цены.

То и дело горят промысла. Оборудование — негодное, ветхое. Статьи горного устава, хоть в малой степени охранявшие труд рабочего, на Туркестан не распространялись. Увечье или гибель рабочих — обычное явление. И на весь остров, окруженный пустынным морем, — одна больница на четыре койки.

Кто попадал на Челекен? Персы, туркмены, азербайджанцы, русские — все, кому податься больше некуда. А хозяева довольны — разноязычные, и вера разная, труднее им столкнуться, понять общий интерес, вступить за свои права...

Кайгысыз задумался над бумагами, вспоминая вчерашний рассказ студента. С удивлением покосился на него Иван Антонович. Кайгысыз не заметил его взгляда...

Все-таки как же случилось, что в крошечном аду Челекена появился русский социал-демократ Фиолетов? По слухам удалось узнать, что он вернулся из ссылки, тоже не смог устроиться ни в Баку, ни в Ташкенте. Поступил машинистом на нефтяные промысла «Чаркен».

Каждый день, переходя с буровой на буровую, он рабочим подпольную газету, раздавал прокламации, объяснял темным, задавленным нуждой и гнетом людям, как бороться за свои права.

И однажды на промысле Гаджинского раздался тревожный свисток. Сразу выключили электрический свет, стали глушить котлы. Кто-то крикнул:

— Товарищи, забастовка!

И триста рабочих бросили свои места и собрались а кочегарке. Забастовщиков разогнали только с помощью прибывшей на лодках красноводской полиции. Хозяева пошли на ничтожные уступки. Но через две недели рабочие Челекенского нефтепромышленного общества, ободренные примером товарищей, объявили свою забастовку. А еще через две недели снова бастовал промысел Гаджинского и на этот раз с большим успехом,

Глубоко задумался конторский писарь Атабаев. До чего же силен дух протеста и сопротивления отживающему строю, если революционная волна, хотя и с таким опозданием, докатилась до голого острова на Каспии!.. И снова бодро защелкали костяшки под пальцами

Кайгысыза. Все-таки приятно подсчитывать убытки нефтяных королей.

В тот день после работы он вышел из конторы в бодром настроении. Не к добру была его веселость: какой-то незнакомец в высокой шапке и темном халате, по-видимому, поджидавший его за углом, сунул ему в рукав конверт и, быстро обогнав, скрылся. Ни слова не дал сказать. Это было письмо из Бехардена от Мухаммедкули. Только к чему такая конспирация?

*«Дорогой мой Кайгысыз, — писал друг, — не огорчайся: я еду з ссылкой под конвоем. Чему тут удивляться? Чего еще мы могли ждать? Получил почетный диплом от высоких властей: «Мухаммедкули Атабаева, презревшего хлеб, который он ел, и образование, которое получил, и поднявшего голос против Государя Императора, сослать в отдаленный Мангышлакский уезд Закаспийской области. Содержать там под надзором полиции». Вот так, Кайгысыз. Срок невелик, а в подлинных страданиях во имя народа есть своя радость. Значит, не зря жил, если оказался опасным! Значит, что-то сделал! Вспоминаю, как ты говорил: «Недалек тот день, когда русский народ сбросит позорное иго». Верно, друг! Верно! Толь*

*ко есть у них другая грустная поговорка) «Пока солнце взойдет, роса очи выест». Пока что гибнут лучшие люди... Я не о себе, конечно, говорю. Впрочем, можно ли достигнуть великой цели без жертв? Еще раз повторяю: не огорчайся! И будь осторожен. Успокой охранку, советую ходить в мечеть. Молись — не ленись!.. Я вернусь, и мы будем продолжать борьбу посерьезнее, чем до сих пор. Письма посылай только с надежными людьми. А то пострадаем оба. Не забывай — впереди борьба!*

*Твой Мухаммедкули ».*

Кайгысыз бережно вложил записку в конверт, сунул в карман, побрел домой. Нет, не так-то просто ломать даже прогнивший сарай. И нет ничего страшнее сознания собственного бессилия.

Если бы ехать сейчас с Мухаммедкули в раскаленном арестантском вагоне по бесплодным закаспийским степям! Быть рядом...

Всю ночь в душной своей камерке он писал ответное письмо — горячие слова бодрости и веры в жизнь. А на рассвете перечитал и разорвал в клочки. Ведь умный товарищ предупредил, что нельзя доверяться почте.

Только спустя неделю Кайгысыз отправил другу письмо и деньги: помогли молодые мервские купцы.

...Теперь запасемся терпением. Мы еще молоды. Год, два года? Еще не такой долгий срок. А пока будем готовить себя к какой-то, еще не очень ясной, но священной, — потому что нужны народу, — будущей работе.

По вечерам, перебирая в памяти события своей жизни, Атабаев вспоминал слова древнего Нобат-ага: «Будь туркменом!»

На столе у него появились теперь новые книги: «Среди киргизов и туркмен на Мангышлаке», «Обычное право туркмен», «Статистические очерки среднеазиатской России». Иногда он вслух читал стихи великого Махтумкули или персидских шахиров... Эти книги он доставал у Абдыразака, может быть, самого интересного человека во всем Мерве.

Они познакомились в чайхане «Елбарслы», в одной из закрытых комнат, куда хозяин не впускал простонародье. Отец Абдыразака — известный Ораз-Мухаммед-ахун — был основателем медресе в Конгуре. Даже русские власти с уважением отзывались об этом по-мусульмански образованном, фанатичном и нетерпимом к вопросам веры, богатом старике. А сын его был далек от взглядов отца, он пренебрегал богатством и славой священнослужителя-ахуна, ушел из родного дома, поселился на окраине Мерва. Не то чудак, не то, как сказали бы русские, толстовец, он стал жить трудами рук своих — возделывал сад и ткал ковры.

Наверно, это был первый туркмен, осмелившийся взяться за женский труд. Большой

художник в ковровом ткачестве, он знал тайны этого старинного промысла. К нему на край города охотно шли еще и потому, что все в Мерве знали, какая там замечательная библиотека на турецком, татарском, азербайджанском и русском языках. Он тоже, не хуже отца, считался образованнейшим человеком и все-таки предпочитал зарабатывать свой хлеб, в поте лица обрабатывая землю.

Молодой конторщик не часто бывал у Абдыразака, не хотел ему докучать, ибо тот жил замкнуто. Но почему-то именно Атабаеву он охотно давал книги. Может быть, в том была причина, что чудаковатый отшельник, отдыхая по вечерам, любил поразмыслить над жизнью своего народа? Атабаев умел слушать. Кайгысыза удивляло его философски-спокойное отношение ко всему происходящему. «Все уже бывало, все возвращается на круги своя», — любил повторять Абдыразак. — «Связь времен — вот главное». Казалось, завоевания арабами Мерва в седьмом веке его волновали больше, чем нынешние уродства жестокого колониализма. Он умел волшебным образом преображать дистанцию времени. Слушая его рассказы, Кайгысыз видел древний Мерв, великий Мерв — жемчужину мира. Этот город был и столицей Хорасанской провинции арабского халифата. Завоевали его арабы, насильственно насаждая мусульманство, разоряли буддийские капища, где огромные идолы из чистого золота загадочно и туманно взирали на ворующих глазами из жемчужин величиной с голубиное яйцо. Все вывезли завоеватели, и покрылся блистательный прежде город башнями минаретов, и полтора столетия лет шла здесь кровавая религиозная и политическая борьба, и сменялись династии газневидов, тахиридов, саманидов, и появлялись новые пророки, соперничавшие и с Буддой, и с Магометом...

И ходил по древнему городу уроженец Мерва Хашим, прозванный арабами Моканной, что значило — человек под покрывалом. Был он воплощением божества на земле, обещал своим последователям рай еще при жизни и, щадя их, никогда не поднимал с лица зеленое покрывало, чтобы не ослепить бедных смертных нестерпимым блеском своих глаз...

Впрочем, Абдыразак умел и слушать. Чтобы утвердиться в своей идее кольцеобразного течения жизни, надо было сравнивать прошлое с настоящим, и он расспрашивал банковского конторщика о дележе мургабских вод, распрях племен, дивидендах нефтяных королей. Кайгысыз многое мог рассказать об этом.

Как раз в эти дни, когда на далеких полях Галиции шла война белого царя с немецким кайзером, здесь, на берегах Мургаба, баи втянули в жестокую междоусобную распрю из-за воды два текинских племени: тохтамыш и отамыш. Каждый день из Мерва летели воинственные депеши или униженные прошения и жалобы не только к генерал-губернатору Туркестана в Ташкент, но и в министерства на берега Невы. Как говорится в старинной поговорке: «Чего не заставит съесть голод, чего не придумает сытость».

Баи враждовавших племен подкупали в городе всех грамотных людей. И банковский конторщик Атабаев испытывал на себе давление этих низменных сил. Не раз приходил к нему в контору, подстерегал на улице, подсаживался в чайхане подленький человечек — некий Джеббар-Хораз. Ничем не был он примечателен — ни умом, ни способностями, ни достатком, ни образованием, но именно своей небрезгливой готовностью на любую грязную махинацию он втирался в доверие текинских богачей и даже добивался того, чтобы его побаивались. Как же его не бояться, если желая придать себе вес в глазах деловых людей, он давал понять, что служит агентом охраны. У него были связи и с русскими чиновниками, а иногда он таинственно исчезал из Мерва, и знающие люди намекали, что это неспроста — Джеббар-Хораз должен встретиться в Асхабаде или Ташкенте с кем-то важным, приехавшим из Питера.

Когда этот провокатор понял, что маленького банковского конторщика не купишь, — хоть посулил ему золотые горы и те самые белые погоны пристава, о которых когда-то говорил директор Тедженской школы, — он принес в охранку два-три доноса на Атабаева. А в тех доносах было написано, что «бывший учитель Кайгысыз Атабаев, изгнанный с нивы просвещения, а ныне банковский конторщик, вместе с господами Батмановым, Бер-дыевым и Дервишлером посещают дальнюю комнату чайханы «Ёлбарслы» и ведут разговоры,



попирающие основы самодержавия».

Доносчик считал, видно, что убивает двух зайцев: наказывает Атабаева за строптивость и бросает тень на уважаемых баев из враждебного племени. Однако он просчитался. В охранке знали, что упомянутые уважаемые баи запросто бывали на приемах у генерал-губернатора, и пока что опасно трогать человека, которому они покровительствуют. Доносы легли в «личное дело» Атабаева, его не тронули, но следили теперь и тут, в Мерве, за каждым его шагом, за каждым вздохом.

Однажды в той же чайхане вечером его пригласил в отдельный кабинет редкогобородый дородный и сытый на вид господин, которого в городе, запросто звали Майлиханом,

Этот человек имел в Мерве два-три дома, разъезжал в собственном фаэтоне, запряженном двумя холеными конями, щедро жертвовал в помощь нуждающимся, и люди считали его очень богатым. Но Кайгысыз знал по банковскому личному счету Майлихана, что ему приходится туго: с большим трудом он погашает просроченные векселя, а совсем недавно заложил, покрывая долги, здание чайханы «Елбарслы». Он попросту не мог выдержать конкуренцию с жадными купцами, ведущими торговлю с Бухарой и Ташкентом, — те уже скупили много хороших домов в Мерве, завладели и хлопкоочистительным заводом. К тому же, давили на него и люди оптовой торговли — армяне.

Атабаев знал, что Майлихан не был ростовщиком, сосущим кровь у дехкан, он был не злобным человеком. В тот вечер, обмениваясь приветствиями, осведомляясь взаимно о здоровье, они долго не могли начать дельный разговор. Медленно прихлебывая из пиалы, Майлихан качал головой, будто бы сам с собой разговаривал. Решив не мешать ему думать, Атабаев несколько раз перелил чай из пиалы в чайник и обратно, а затем, как бы желая остудить чай, легонько повертел в руке пиалу.

Наконец, Майлихан заговорил:

— Знаешь, Кайгысыз, мне хочется сказать тебе несколько слов в этом укромном месте.

— Рад буду слушать...

— Мне иногда тебя жалко.

Кайгысыз понял его по-своему и возразил:

— Ведь теперь я вполне обеспечиваю себя.

— Дело не в этом.

— В чем же?

— Тебе не секрет, что в нашем городе есть нехорошие люди.

— Это правильно.

— Если правильно... то будь осторожен.

— Например?

— Тому, что ты много времени проводишь среди дехкан, что пишешь им заявления, хотят придать другую окраску.

— В моем сердце нет злого умысла.

— У тебя нет, зато у других есть. Те люди, которые не смогли использовать тебя, как свое орудие, теперь ищут способы, как бы избавиться от тебя.

— Откровенно говоря, это я сам чувствую.

— Ни для кого не секрет, что наступило очень нехорошее время.

— Понимаю...

— Если это правильно, может быть, до поры до времени тебе нужно будет ввести их в заблуждение. Если я найду денег, может быть, ты под видом купца, пойдешь раза два с караваном в Хиву?

— Но я не умею торговать.

— Не для наживы. Только для того, чтобы замазать им глаза. Не беда, если даже проторгуешься.

— Меня, конечно, не пугает месяц тяжелого пути. Только не мое это дело, Майлихан, заниматься торговлей.

— Еще раз повторяю: дело не в деньгах! Меня беспокоит, что ты можешь разделить судьбу Мамеда-толмача.

Кайгысыз знал, что Мамед-толмач был в тот год арестован и отправлен в ссылку за свои прогрессивные взгляды.

— Может быть и похуже, — усмехнулся Кайгысыз.

— Ну, как?..

— Подождем немного. Если положение станет еще хуже...

— Да есть же такая пословица: «Подбрось яблоко — кто знает, что может произойти, пока оно упадет на землю!..»

В эту минуту дверь распахнулась и в комнату стремглав влетел Джембар-Хораз. Выкатив свои налитые кровью глаза, он крикнул:

— Ах, это вы? Я ошибся! Здравствуйте! — и, протянув обо руки, наскоро поздоровался с обоими. Потом буркнул «Простите», и тут же вышел.

Показав взглядом на дверь, Майлихан сказал:

— Видел?

— Видел.

— Если видел, то понял, что Джембар пришел сюда не просто поздороваться с нами.

— Знаю.

— А если знаешь, подумай хорошенько, — сказал Майлихан.

## **Сели криво— поговорили прямо**

В конторе шла самая горячая работа, когда пришло письмо с известием, что Мухаммедкули вернулся в Нохур и ждет Кайгысыза к себе. Но куда там! Кайгысыза не отпустили бы даже на один час, не только что на несколько дней. Встречу надо было отложить до лета. Переписка тоже была под надзором полиции, он это знал и ответил другу туманным письмом, — в духе персидских газэлл или рубайи Амара Хайяма:

«Мой друг! Нет ничего печальнее осыпавшейся розы, потерявшей лепестки, ошетилившейся шипами. И нет ничего прекраснее улыбки молодой женщины, освободившей из-под яшмака губы, подобные бутону. Мне приходится отложить волнующую встречу до лета. Отдыхай. Я жив-здоров. Постарайся не кидать камней в осиное гнездо. Научись резать глотку врагам ватой.

Привет друзьям и близким. Обнимаю. Кайгысыз». Легко составить такое послание, когда начитался благозвучных стихов из библиотеки мервского отшельника, но трудно, очень трудно после этого усидеть дома, — не с кем словом перемолвиться за долгий вечер. И Атабаев пошел привычной дорогой в чайхану «Елбарслы». Он устал от вынужденного бездействия, от одиночества, от постоянной слежки и не хотел больше скрывать своих мыслей.

В тот вечер он говорил незнакомым людям:

— Вся Россия сейчас, как молоко в узком чайнике. Не потушишь огонь — побежит через край! А правительство неспособно потушить огонь, и, кажется, мы скоро станем участниками больших дел...

На следующий день, как хочешь понимай, вечером в гости к Атабаеву пришел Джембар-Хораз.

— Голова идет кругом, — жаловался он. — Всё вокруг валится, летит в пух и в прах. И война, и голодуха, и на базаре ни к чему не подступишь. А племена ведут бесконечную тяжбу, и нет ей конца, и нет в ней смысла, как будто и те и другие — не одного, текинского, корня! Что ты скажешь об этом, Кайгысыз? Ты, мудрейший и образованнейший из всех молодых, кого я знаю в Мерве.

Кайгысыз с интересом поглядел на него. Жидкая бороденка, где русский волос смешался с сединой, хитрые желтые огоньки вспыхивают в глазах и трусливо гаснут, суетливые руки ни минуты не остаются в покое, Гиена, настоящая гиена, трусливая и злобная. До каких же

пор гнуть шею, таиться, притворяться?

— Ну, что ж, Джембар-ага, сели криво — поговорим прямо, — сказал он, невесело улыбаясь!

— Только этого и хочу!

— Тем лучше. Так что же тебе от меня нужно?

— Мудрость твоя нужна! Никакой корысти! Не веришь? — он снял с пояса нож дамасской стали, вынул из кожаных ножен и положил между собой и Кайгысызом. — Не бей словом, воткни нож в бок, не охну, не вздохну...

Кайгысыз перестал улыбаться.

— А ты знаешь, с кем говоришь?

— Мудрейшим из мудрых, смелейшим из смелых... — не то издевался, не то льстил Джембар.

Вести такую игру Джембар был не в силах и перешел к откровенным угрозам.

— До нынешнего дня я считал тебя младшим братом.

Теперь ты мой первый враг. Будь осторожен, не жалуйся потом, что не предупредил!

Кайгысыз снова улыбнулся.

— Ты не только мой враг: ты враг всего народа!

— Замолчи!

— Не командуй! Предатель! Удивляюсь, что не привел с собой полицейских!

— Ты ответишь за эти слова!

Джембар выскочил из-за стола, рванулся к двери.

— Стой! — крикнул Кайгысыз.

— Если сможешь дотянуться, тяни на себя небо, — на ходу пробормотал Джембар.

Кайгысыз поймал его за полу халата и, как грязную тряпку, выбросил Джембара за дверь.

## Костя влюбился

Была серьезная причина, почему Кайгысыз Атабаев не двинулся с караваном через пески Каракумов в Хиву. Случилось так, что из Оренбурга приехал племянник Атабаева — Силаб, сын Агаджана. Он только что окончил кадетский корпус, и по случаю его приезда отец устроил большой той. Веселились гости от души. Много было игр и шуток в саду у Агаджана. Кого-то заставляли петь, кого-то танцевать с завязанными глазами, кому-то накрывали голову скатертью, чтобы он предсказывал судьбу всем желающим. Одной девушке вышло — поцеловать того, кто больше всех нравится. Она выбрала банковского чиновника по имени Кайгысыз, которого посчитала лучшим... И так велика была его наивность, а может быть и жажда любви, что он поверил ей. А поверив, забыл обо всем на свете. Светловолосая, очень стройная, Лариса с первой встречи покорила Кайгысыза смелостью и своеволием.

Он давно знал, что никогда не женится так, как собирался жениться друг Мухаммедкули, на девушке, выбранной родителями, неграмотной, робкой, запуганной, покорной. Он не одобрял подобного выбора, — что общего будет между ними: ночами просиживающим над книжками, болеющим за всё зло мира, и такой дрожащей овцой? Но городские девушки, хоть и нравились ему издали, а как только завязывался разговор, получалось, что Кайгысыз и поддержать его не умеет, и под руку девушку не догадается взять, и шагает не в ногу... Не везло ему с русскими девицами в Мерве. Они считали свою наигранную робость добродетелью, а он и в самом деле был робок. Это не украшает мужчину.

Лариса окончила гимназию в Ташкенте и уже четыре года изнывала от скуки в Мерве. Был у нее рискованный роман с немолодым петербургским офицером, который неожиданно уехал, даже не попрощавшись с ее родителями. Репутация была испорчена, другим девушкам запрещали с ней дружить.

Парням она нравилась, за ней ухаживали, но жениться на ней никто не решался. При этом она была единственной дочерью начальника, жандармского офицера, дочерью пожилых родителей, избаловавших ее своей любовью. Всего этого толком не знал, да и не хотел знать Кайгысыз. Он чувствовал себя, как лошадь, которую взял за уздечку хозяин, и во всем подчинялся Ларисе.

Когда, на второй день знакомства, она позвала его к себе, он испугался. Войти в дом, где все незнакомые, очень неудобно, появиться в доме жандарма известному в городе вольнодумцу.

— Это невозможно, — сказал он Ларисе.

— Почему?

— А если другие увидят сельского парня с дочерью?..

Лариса прикрыла его рот рукой. Нежной белой рукой, пахнувшей, как казалось Кайгысызу, какими-то необыкновенными цветами.

— Не говорите глупостей! Это не ваш пыльный аул, а я не туземка с яшмаком. Кого хочу, того и приглашаю.

— Вы говорили обо мне своим родителям?

— Нет! — отрезала Лариса.

— Что скажет ваша мать?

— «Добро пожаловать!» Обязательно улыбнется.

— А отец?

— Хозяйка дома — женщина.

Кайгысыз даже вздрогнул от удивления. Ему не раз приходилось читать в книгах о женском равноправии, но видеть женщину, так вольно распоряжающуюся собой и своим образом жизни, еще не случалось. И он продолжал испытывать Ларису.

— И никого не смутит, что я туркмен?

— Какое дело до-национальности!

— Так считают ваши родители?

— Мои родители будут считать так, как посчитаю я.

— Кто знает...

— Я знаю!

Ее самоуверенность покоряла Кайгысыза. Они повернули на Кавказскую улицу, остановились у калитки деревянного дома, окруженного садом.

Спустились ранние осенние сумерки, на улице было пустынно, только изредка слышался цокот копыт. Тускло светили фонари, в зеленоватом небе загорелись первые звезды, подул свежий ветер. Кайгысызу очень не хотелось идти в дом, так бы и стоять с Ларисой у калитки, смотреть, как ветер шевелит на ее щеке волнистую светлую прядь, без конца смотреть в пытливые насмешливые голубые глаза. Но Лариса не чувствовала поэтичности этой природы.

— Трусите? — резко спросила она.

Кайгысыз молча открыл калитку.

И всё произошло, как предсказывала Лариса. Их приветливо встретила высокая пышногрудая женщина, закованная в шуршащее шелковое платье. Седящие волосы волнами спускались ей на уши, голубые глаза, огромные, как у дочери, глядели весело, с такой искренней симпатией, что Кайгысыз должен был напомнить себе, что это жена жандармского офицера. Но предосторожность ничуть не помогла. Он пребывал в том состоянии душевного благорастворения, когда весь мир кажется открытым и доброжелательным. В гостиной, заставленной синими плюшевыми креслицами и диванчиками, фарфоровыми керосиновыми лампами с шарообразными стеклянными абажурами, почему-то пахло топленным молоком и нафталином. И даже эти прозаические запахи казались Кайгысызу волнующими и необыкновенными.

А Ларисе давным-давно надоел этот домашний уют, она не знала, чем занять себя, развлечься и надеялась в этот вечер позабавиться смущением и застенчивостью молодого

туркмена, попавшего в непривычную обстановку.

— Мама, ты знаешь, Костя — хозяин денег, — сказала она, когда Кайгысыза усадили пить чай.

— Чьих денег? — спокойно спросила Марья Мироновна.

— Он служит в банке.

— По-моему, служащие банка хозяева счетных костяшек. Не больше, — улыбнулась Марья Мироновна.

— Вот это вы верно сказали, — обрадовался Кайгысыз. — Не больше! Я беден, как полевая мышь.

— Похвальная откровенность, — сквозь зубы заметила Лариса.

Ее обидело, что влюбленный юноша нисколько не стремится показаться в лучшем свете перед матерью.

В коридоре раздались по-военному четкие шаги, и в столовой появился отец Ларисы — рыжебородый жандармский офицер с длинными китайскими висячими усами.

— Это Костя Атабаев, — небрежно представила Лариса, — он служит в банке и беден, как полевая мышь.

— Не место красит человека, а человек — место, — тактично заметил хозяин и переглянулся с женой.

Супруги понимали друг друга без слов, и взгляд этот означал, что дочь привела нового поклонника и, значит, следует с ним быть полюбезнее. Много узелков завязывала Лариса, да ни один не затягивался. Банковский конторщик туркмен, да еще вольнодумец, судя по доносам Джембары, — конечно, не радость, но и из двух зол надо выбирать меньшее. Сколько их здесь, на окраине России, вековых из чиновничьих семейств, старых дев, так и не нашедших себе пары. А юноша с годами обтешется, одумается, укатают сивку крутые горы...

Предаваясь этим мыслям, полковник неторопливо рассказывал Кайгысызу о том, что в Туркестане он лишен своего любимого развлечения — рыбной ловли, рассказывал о волжских стерлядях и сибирских хариусах, о преимуществах ловли на блесну перед ловлей на мотыля. Лариса скучала, Кайгысыз чувствовал себя, как кролик перед удавом, и внезапно вспомнился ему другой русский человек — тот, кто познакомил его со стихами Некрасова, кто давал тайком читать Чернышевского, Писарева и Добролюбова...

Что тут сказать — идиллический вечер провел Атабаев в доме жандарма! Под самый конец вдруг появился Джембар-Хораз. Лицо тайного агента не отличалось особенной выразительностью. Но в эту минуту удивление, негодование и, наконец, испуг, так отчетливо исказили его черты, что Марья Мироновна участливо спросила:

— Вы здоровы?

Жандарм сердито взглянул из-под нависших рыжих бровей на незваного гостя. Джембар овладел собой и с отчаянной развязностью врезался в разговор.

— Я в первый раз вижу господина Атабаева — младшего в вашем доме, но знаю его давно, — сказал он, устремив ласковый взгляд на полковника. — Кайгысыз Сердар-оглы — не последний человек в нашем народе. Его отец Теч-сердар был святым человеком, и слава его до сих пор не меркнет в Закаспии. Счастлив видеть его сына в этом достойном доме.

Жандарм одобрительно кивнул головой. Если Кайгысыз хорошего рода, — тем лучше. Теперь, кажется, и в России начинают понимать мудрую туркменскую поговорку, что в каждой стране надо травить лису ее же гончими. Образованный туземец может легче сделать нынче карьеру, чем невежественный русский. В доме жандарма было принято называть местных жителей не инородцами, а туземцами. Это звучало по-английски.

Кайгысыз наблюдал эту сцену с бесстрастным лицом. Кто бы мог подумать, что Джембар будет заискивать перед ним? Когда с чаепитием было покончено, жандарма вызвали в кабинет — вестовой принес на подпись срочную бумагу. К Ларисе пришла портниха, и мать и дочь по-провинциальному церемонно покинули гостей, чтобы поглядеть на новое платье. Джембар и Кайгысыз остались наедине.

— Ненавижу хвалить в глаза, — сказал Джеббар, — но должен сказать, что Ларисе не найти лучшего мужа, чем ты! Молодой, красивый, знатный... Ну, а деньги! Что ж, я первый внесу три-пять сотен на твою свадьбу. Ведь это же дело и моих рук! Ты и не подозреваешь, как много я рассказывал о тебе жандарму.

— Вот это верно! — расхохотался Кайгысыз. — Я думаю, не только рассказывал, но даже и писал? А теперь сократись, пожалуйста. Я хочу, чтобы жандарм сам оценил меня. Без посторонней помощи. И потом ты же хорошо знаешь, что начальники — народ капризный,

Если ты, как сегодня, будешь рассказывать ему то, что он хочет услышать, получится, что вчера, ты врал. Нехорошо полупится! Работник, дающий противоречивые сведения, бестолков. Так считает начальство.

— Вечные подозрения! — возмутился Джеббар. — Человек один раз погорячился, сказал лишнее, так надо его всю жизнь попрекать.

— Красиво? — еще из коридора раздался голос Ларисы.

Она вбежала в столовую, держа кончиками пальцев подол широкой кружевной юбки, и остановилась перед Кайгысызом.

— Красиво, — сдержанно сказал он.

Все было не то и не так. В эту минуту Кайгысыз отчетливо понимал, что не надо было переступить порог этого дома, что тут — трясина, что не так уж хороша и девица.

## Тяжелая ветвь чинары

Медленно, точно арба, волочится время будней, но дурная весть приходит с быстротой молнии.

Когда Атабаев узнал о новом аресте друга, обычная выдержка изменила ему. Склонившись над журналом учета, он не видел цифр, четко выведенных лиловыми чернилами, не слышал разговоров в комнате и лишь отрывисто бормотал:

— За ветку величиной с топориче! Предатели!.. Дело-то не в ветке, дело в школе...

Иван Антонович и до сих пор не понимал по-туркменски, это ему было не нужно, не полагалось по должности, но он чувствовал, что товарищ в отчаянном состоянии.

— Что случилось, Константин Сергеевич? — спросил он.

Кайгысыз очнулся, махнул рукой.

— Ничего.

— Может, голова болит? Есть порошок. Помогает.

— Спасибо. Не надо.

— Может был неприятный разговор с управляющим?

— Я его не видел.

— Зато я вижу, что вы не в себе. Не стесняйтесь, рассказывайте, вдруг чем-нибудь смогу быть полезным?

Атабаев вздохнул:

— С моим другом случилась большая беда.

Иван Антонович поглядел на него поверх очков. Это был невзрачный, скучный на вид человек, весь век проработавший в банке. Старенькие железные очки прикрывали глубоко запавшие глаза, в серых волосах лоснилась смуглая лысина, лоснились и поблескивали дешевые сатиновые нарукавники, сохраняя для вечной службы черный люстриновый пиджак. Таких людей обычно не замечают, зато сами они очень наблюдательны.

Ивану Антоновичу давно нравился его сослуживец. Нравилась его сдержанность, простота, равнодушие к отличиям и наградам. Нравилось и то уважение, которым он, не глядя на молодость лет, пользовался у своих сородичей. И когда в тот день он увидел, что уравновешенный Кайгысыз не владеет собой, решил, что в жизни молодого туркмена произошло страшное событие, он в первый раз отошел от своей конторки, положил руку на плечо Атабаева.

— Вы должно быть не знаете, Константин Сергеевич, что я сорок лет служу в банке. И

семья у меня небольшая — жена, дочь, да сам третий. Лишнего себе не позволяем, а сбережения есть. Поднакопились. Так что если ваш друг нуждается в деньгах, — могу помочь.

Кайгысыза растрогало внимание счетовода. Как трудно разбираться в людях! Три года сидел рядом с ним молчаливый, равнодушный человек, из тех, кого называют сухарями, да к тому же еще русский. И вот пришла трудная минута, без слов все понял и предложил помощь. Тихий человек, бессловесный, а копни его жизнь, так наверняка окажется, что брат или племянник гниет где-нибудь в тюрьме за народ, за правду.

— С деньгами я обойдусь, — помолчав, сказал Кайгысыз, — но мне нужен отпуск. Боюсь, не даст управляющий.

— А мы попробуем. Я попрошу за вас. Возьму на себя часть вашей работы.

Он вышел из комнаты и вскоре вернулся, сияя лучиками морщинок у глаз.

— Разрешил! — провозгласил он и уселся на место.

Изнывая от жары в душном вагоне третьего класса, Кайгысыз старался гнать от себя мысли о печальной участи друга. Он знал, что в красноватых зыбучих песках Сарыкамыш, где никогда не стихают упрямые ветры, забивающие глаза, нос и горло сухой и горячей пылью, здоровье друга, и без того слабое, пошатнулось, он стал кашлять, похудел, лишился аппетита. Одни лекари говорили — язва желудка, другие — чахотка. Но он не знал, что болезнь зашла далеко, и в поезде думал только об аресте, о несправедливости новых гонений. Но, может быть, все пустое. Может быть, даже царскому суду покажется смехотворным сажать человека в тюрьму за обломанную ветку чинары. Лучше думать о бахарденских друзьях. Не так давно он провел целых четыре года в этом тихом городе, многих ребят научил уму-разуму, со многими делил хлеб-соль. На станции встретят знакомые, начнут таскать из дома в дом, а там, глядишь, и проводят в Нохур, куда может уже давно отпустили с миром Мухаммедкули.

Утешая себя этими размышлениями, Кайгысыз и не подозревал, как он близок к истине. Действительно, ему пришлось отправиться в Нохур, не задерживаясь в Бахардене. Удар жандармского приклада оказался почти смертельным. Не было смысла держать умирающего Мухаммедкули в тюремной больнице и его отвезли к родным в Нохур.

С двумя товарищами мчался Кайгысыз в Нохур. На взмыленных лошадях ворвались они в селение. Тихо было в Нохуре. Похоронная тишина... Мухаммедкули лежал на табыте.

Кайгысыз преклонил колени около тела друга, приложился щекой к его холодной щеке, подставил плечо под палку носилок...

Теперь, когда всё кончилось, и остается предать земле тело друга юности, Кайгысыз знал уже все, друзья Мухаммедкули два вечера подряд рассказывали ему в подробностях печальную историю последних дней замечательного человека...

В Нохуре готовился большой той. Вернувшись из Мангышлакского плена, Мухаммедкули собирался жениться на самой красивой девушке родного аула.

Годы ссылки не подорвали душевные силы Мухаммедкули, только бы одолеть болезнь. Бездеятельность мучила его. Но что можно сделать в туркменском ауле, где полиция следит за каждым твоим шагом? Большого дела не поднимаешь. И Мухаммедкули задумал построить школу.

Вблизи той самой вековой чинары, в тени которой обычно отдыхали сельчане, начали стройку. Работа шла споро, стены быстро росли, а когда надо было ставить крышу, строителям помешала чинара. Небольшой боковой отросток. Видно, мастер ошибся в плане, когда закладывал здание. Нохурская чинара считалась священным деревом. И прежде, чем отпилить ветку, Мухаммедкули собрал на совет всех аульских старшин. Старики согласились, что если ветка мешает благому делу, надо ее удалить.

День открытия школы превратился в народный праздник. Бурлило в казанах, длинными рядами стояли чайники с зеленым чаем. На площадке перед школой шли игры, борьба-гореш. Девушки и молодые женщины качались на качелях. Мухаммедкули смотрел на это празднество и улыбался. Родной аул точно весеннее поле, усеянное цветущими маками. Вот

и для него начинается новая жизнь! Можно не бояться придирок уездного инспектора. Школа построена на средства народа, и не нужно учителю платы за его работу. А через несколько лет в Нохуре появятся грамотные, думающие парни... Эта мысль волновала Мухаммедкули. Он подошел и сказал любимой девушке: «Я сегодня лечу выше вершин Копет-Дага!» И хотя не раз жизнь рушила самые светлые его надежды, сейчас и в голову ему не пришло, что беда между глазом и бровью сидит. Вот она! Рядышком.

Когда ставят новую кибитку, по обычаю на ее тюйнок цепляют платок, и парни соревнуются в прыжках: кто первый сорвет платок, тот и победитель. Повесили платок и на крыше школы. Подростки прыгали кругом, тщетно пытаясь сорвать этот флаг.

Но в разгаре веселья до чуткого слуха нохурских горцев донесся дальний топот копыт. Он донесся из каменистого ущелья, а через несколько минут на дороге показались четыре всадника. Это были городские полицейские.

Веселый шум умолк. Над праздничной толпой воцарилось безмолвие. Только стучали по каменистой дороге подковы резвых коней. Незваные гости, подскакав, окружили Мухаммедкули Атабаева.

Учитель догадывался о причине их появления, но не показывал вида, бровь его не дрогнула, когда он приветливо сказал по-русски:

— Добро пожаловать на праздничный той, господа! Сейчас расседлаем коней, будете дорогими гостями.

Полицейские не шевельнулись. И кони стояли, как вкопанные. В гробовом молчании пристав вынул из полевой сумки предписание и начал читать.

— Проявив милосердие, по воле государя императора суд легко наказал Мухаммедкули Атабаева. Царская милость не послужила к его исправлению, и он снова продолжает свою вредную и опасную для государственного строя деятельность, идет против мусульманской веры, оскорбляет чувства священнослужителей осквернением священной чинары. По жалобе нохурского муллы и священнослужителей всей Закаспийской области дело об осквернении священной чинары передано в суд. А Мухаммедкули Атабаева надлежит взять под арест.

Мухаммедкули не стал по-туркменски переводить текст прокурорского ордера на арест, да это было бы и невозможно. Чтобы успокоить зашумевший народ, он мягко сказал:

— Потихе люди... Кто-то написал жалобу, что мы с вами срезали ветку чинары. Хотят разобраться в этом деле и меня вызывают в Бахарден...

В толпе раздались негодующие голоса:

— Мы сами срезали ветку!

— Жалобу написал предатель...

— Чинара наша — и школа наша!

— Не отдадим Атабаева!..

Не обращая внимания на крики, пристав скомандовал:

— Садись на коня!

— Я не преступник, нельзя ли повежливее... — возразил Мухаммедкули.

— Молчать!

— Не подчиняюсь вашим предписаниям, — тихо сказал он и мучительно закашлялся. — Пусть меня судят здесь... на глазах у народа...

— Ты еще смеешь ставить условия правосудию!.. — Пристав приподнялся на стременах и кивнул жандарму:

— А ну!

Нагайка просвистела в воздухе и обожгла плечо учителя. Он не двинулся с места, не изменился в лице.

Народ грозно придвинулся к полицейским. Пристав выстрелил в воздух, и эхо отозвалось в горах, но толпа не дрогнула.

— Бей его! — крикнул один из жандармов и сам же ударил Атабаева ружейным прикладом по затылку.

Атабаев медленно повалился — сперва он опустил на колени, потом головой ткнулся



в землю. Текла кровь. Грозная тишина повисла над аулом. Седая женщина припала к неподвижному телу.

— Сынок!

Жандармы вырвали Атабаева из ее объятий, торопливо взвалили на коня и увезли.

...Кайгысыз молча выслушал этот рассказ. Ему хотелось побыть одному. Светила луна. Он ушел под чинару — и тень от нее напоминала ему счастливое время, когда они были тут вместе... Где же пролилась кровь? Кайгысыз долго ходил возле школы, искал в тени старой чинары темное пятно — святое место, теперь навсегда оно останется в его памяти...

## Не грози рыбе морем

— Говорят, Джеббар поклялся сгноить тебя в тюрьме.

— Не грози рыбе морем, бедняку го-рем, — сдержанно ответил Кайгысыз.

Старший брат пригласил его в свой дом не ради шуток, но Кайгысыз не хотел показать ему свою тревогу и озабоченность — пусть не думает, что и дальше сможет распоряжаться его судьбой, как глава семьи.

— Я знаю, что ты не простак, — продолжал Агаджан, — но как ни хитра лиса, а не уйдет от капкана, — степенно оглаживал он свою пышную рыжую бороду. — Может, лучше тебе бежать из Мерва? Старые люди говорят; «Кто боится, должен торопиться»,

— Куда бежать? — деловито спросил Кайгысыз.

— Не решаюсь советовать.

— Разве бегством избежишь от беды?

— Подбрось яблоко в небо, и пока оно упадет, моли судьбу о спасении.

— Пока власть у царя — судьба моя в его руках.

Жизнь Агаджана сложилась и в царской колонии весьма благополучно, ирония младшего брата показалась ему кошунственной.

— Разве не царь сделал нас людьми, дал тебе знания?

— А для чего, по-твоему, это было сделано?

— Чтобы ты был человеком.

— Чтобы я был цепным псом.

— Батрака, который не оправдывает харчей, в доме не держат. Обижаться не на что.

— А я не собака и не батрак! У меня есть свои цели, свои мысли,

Агаджан покачал головой.

— Мне трудно переспорить тебя и согласиться я не могу. А встречаться с тобой должен. Иначе душа не позволяет.

— Благодарю. Но я не могу отказаться от своих взглядов.

— Погубят тебя твои взгляды.

— Страх приводит к плохому...

Агаджан невольно улыбнулся. Все, что говорил брат, казалось ему чуждым и нелепым, но он всё-таки любил его и не мог не любоваться его отвагой и твердостью.

— А ты знаешь, мои друзья-банкиры считают, что ты помешался?

— С чего бы это?

— Неужели ты думаешь, что все твои словечки «социализм», «капитализм» — райское пение для ушей банковских чиновников?

— Люди разные. Некоторых мутит и от молока. А я думаю, что социализм и есть земной рай для людей.

— Ты ловишь миражи! И правы те, кто называет тебя сумасшедшим. Не жалеешь себя! Не думаешь, что говоришь, кому говоришь... Заставляешь болеть мое сердце. Уезжай из Мерва. Больше ничего не могу посоветовать.

Братья простились — теперь уж навсегда.

## Сон в руку

Прозрение, подобно свету молний; осеняет влюбленных на секунду, а ослепление длится годами.

Всю зиму Атабаев встречался с Ларисой, всю зиму она мучила его своими капризами, переменчивостью — то равнодушием, то нежностью, то насмешками. И не было будущего у этой любви, а настоящее казалось до тоски безрадостным. Кайгысыз понимал, что ему нельзя жениться на Ларисе, даже если ее родители отнесутся благосклонно к этому браку. Что делать простодушному туркмену с этой хитрой, увертливой, как змея, барышней? Она заставит его ревновать, а, может, и воровать, убивать? Как это она пела под гитару: «Задушу я, любя, и с тобою умру...» Она нестеснительно заходила в контору банка, когда вздумается, приказывала Кайгысызу проводить ее до дому, а если он не мог уйти с работы, обижалась и исчезала на неделю.

В последний раз они встретились на улице. Был ясный февральский вечер, зеленоватое небо просвечивало сквозь черную сетку голых ветвей, круторогий месяц повис над плоскими крышами. Лариса шла молча, ее лицо, окаймленное синим ореолом широкой шляпы, казалось задумчивым и печальным. Больше всего Кайгысыз любил такие минуты молчания. Она здесь, рядом, она не с другим — можно думать про нее всё, что угодно. Что она послушная, что она больше не будет смеяться, называть его туземцем. Как ни странно, Кайгысыз, полюбивший ее за смелость и своевольство, хотел теперь, чтобы она стала другой.

\*

Лариса не умела долго молчать

— Когда мы венчаемся? — резко спросила она.

Меньше Есего Атабаев ожидал этого вопроса.

— Вы... этого хотите? — запинаясь, спросил он.

— Хочу — не хочу... Разве дело в этом? Мне надоело. Мне нужно.

Мне надоело!.. Мне нужно!.. Какой оскорбительный эгоизм! Она считает его старым ковром: захочу — на пол постелю, захочу — выброшу за порог.

— Вы все обдумали? — спросил он.

— Конечно. Сегодня двадцать шестое февраля, ровно через месяц двадцать шестого марта мы венчаемся. Вам придется перейти в православную веру. Об этом поговорите с моим отцом. Так будет лучше и для вашей карьеры.

— Вы все обдумали, — повторил Кайгысыз, — а теперь буду думать я.

Он круто повернулся и пошел домой.

В одиночестве он провел мучительный вечер. То упрекал себя за душевную слабость, за то, что позволил сумасбродной девчонке водить себя на поводу, то ужасался, что навсегда теперь потерял ее, то с горькой иронией представлял себя зятем жандармского офицера.

Думал он напряженно, как никогда серьезно. Пора определяться, нельзя оставаться в стороне от народной борьбы. Войне конца не будет. Не будет конца поборам и взяткам чиновников-туркмен, в аулах голодают, бегут в города, но деньги потеряли цену и в городах, рабочим не хватает заработка даже на хлеб, на пиалу зеленого чая... Все ропщут, уже засучили рукава для драки с полицией иомуды вдоль всей железной дороги, уже бунтовали два дня в Теджене, а карательные отряды свирепствуют по всему Закаспию.

Пора говорить открытым голосом... Но где же те люди, к которым надо идти за руководством, за оружием? Говорят, есть в России такая партия — большевики... Как же выйти к ним навстречу — в крестьянской, мусульманской, задавленной двойным гнетом, безграмотной стране... Туркмения, родина моя, — научи, как быть твоим достойным сыном...

Не раздеваясь, он свалился на кровать и уснул, будто придавленный тяжелой плитой.

...Ему приснился странный сон. Далеко-далеко от Мерва, в дремучих северных лесах, какие он видел только на картинках, вместе с Мухаммедкули он пилит высокую сосну. Пилу заело, но они не могут этого понять и ссорятся:

— Отпусти пилу!

— Я давно ее бросил!. Это ты не даешь мне работать!

— Брось пилу!..

Каждый тянет пилу в свою сторону, а она будто выросла в дерево.

— Никто из вас не виноват, ребята! — раздался глухой голос над головой Кайгысыза,

Он поднял глаза, рядом с ним стоял Нобат-ага.

— Так что же случилось? — спросил Кайгысыз.

— Не знаете своего дела. Дела не знаете, — ворчливо приговаривал Нобат-ага.

Он, кряхтя, снял с плеча топор, затесал клинышек и вбил его в трещину распила, где заело. Пила освободилась, быстро заходила взад-вперед, и громадное дерево с треском повалилось.

И в ту же секунду Кайгысыз проснулся от стука в дверь.

— Открывай скорей!

Кайгысыз вскочил и, прикрывшись одеялом, отворил дверь, а потом снова нырнул в кровать. В комнату ввалился Джембар-Хораз.

— Поздравляю! Белый царь свергнут! — прокричал он. — Свет глазам твоим!

— Ай, спасибо! — вырвалось у Кайгысыза.

Но он тут же пожалел о своих словах. Кто знает, может это провокация? С чего бы Джембару радоваться свержению царя?

А Джембар, будто угадав его мысли, приговаривал:

— Да очнись ты! Пойми — весь Мерв на улице. Слышишь голоса?

За окном действительно пели «Варшавянку».

Атабаев принялся одеваться, с интересом поглядывая на Джембара. Какая предусмотрительность! Инстинкт, как у насекомого. Агент охраны прибежал поздравлять со свержением самодержавия! Крыса бежит с тонущего корабля.

Джембар махнул рукой и вышел из комнаты. Видно, заторопился в другой дом — заметать следы. Следом за ним выбежал Атабаев.

## На мостовую!

Был ясный февральский день. Переулок, где жил Кайгысыз, показался странно пустынным. Только вылетел из подворотни, — молоденький русский солдат с большим красным бантом, приколотым к груди. Он перебежал дорогу и скрылся за калиткой. Когда Кайгысыз вышел на главную улицу, его поразили толпы людей, идущие прямо по мостовой. Пели «Марсельезу» и солдатские песни. Солдаты и дехкане в потрепанных халатах шли нестройными рядами, на древках знамен рядом с солдатскими фуражками — туркменские папахи... А вот железнодорожный батальон — фуражки с зеленым бархатным околышем и малиновыми кантами... Сверкая на солнце медными литаврами и трубами, шагает отряд латышей. А это что за чудо?.. Двое известных в городе армянских купцов в бобровых шапках несут плакат. Откуда они взялись? На плакате «Да здравствует свободная Россия!». И, видно, очень взволнованы, почти бегут, распахнули шубы на кенгуровом меху. Среди манифестантов — скромные курсистки в каракулевых шапочках. И еще какие-то поющие женщина: может быть, учительницы и гувернантки из купеческих и чиновничьих семейств... И еще женщины в платочках и потрепанных старомодных плюшевых саках — жены рабочих, белошвейки, санитарки из госпиталя и дамы в шляпках, похожих на кучерские котелки, в модных шнурованных высоких ботинках, с красными бантами на груди, на воротниках, даже на муфтах... За разношерстной русской толпой шли туркмены в выцветших ватных халатах, порыжевших тельпеках... Никогда Атабаев не видел своих соотечественников, марширующих в военном строю. «Да это же вернувшиеся из России с тыловых работ!.. — догадался он. — Там они кое-что повидали, подучились у русских рабочих. Теперь-то они будут первые против баев...» А сзади уже напирала колонна из железнодорожного депо, форменные шинели мешались с грязными робами чернорабочих. Атабаева поразили слова, выведенные на одном из красных стягов: «Хлеба и мира!» Можно ли сказать короче! Можно

ли сказать народу больше!

За его спиной раздался голос:

— Революция пришла по телеграфу!

Он обернулся: это Абдыразак его нагнал. Огромный, как медведь, с разбойничьим свирепым лицом, отшельник-философ почему-то почти бежал, без шапки, и внимательно вглядывался в толпу.

— Бескровная. Вот что дорого! — сказал он.

— А кто вздумает сопротивляться? — пожал плечами Кайгысыз. — Те, кому было хорошо... их осталась жалкая кучка...

Его последние слова заглушил оркестр, а за ним в рядах грянули:

Отречемся от старого мира,  
Отряхнем его прах с наших ног...

И невольно Атабаев и Абдыразак зашагали в такт «Марсельезы».

— Ты прав, — сказал Абдыразак. — Сейчас из русской церкви выбежала старушка, платок сбился набок, седые Болосы — дыбом, перекрестилась, поглядела на меня в суматохе и говорит: «Ныне отпускаеши...» Никому не нужен царь!

— А ведь все-таки дожили!..

— А ты знаешь, где бы я хотел сейчас быть? — вдруг спросил Абдыразак.

— В Петрограде?

— Гораздо ближе. У мавзолея Солтан-Санджара, Я часто езжу туда к руинам. Прекрасный собеседник мавзолей — молчаливый, мудрый, многоопытный... Смотришь и думаешь — чего только не видели эти стены?

С удивлением смотрел Кайгысыз на этого богатыря. Громадный, руки — медвежьи лапы, свирепое лицо, усы — топором не перерубишь, ему бы сейчас громить уездное управление, грабить интендантские склады! А он и не чувствует своей силы. Течет ленивая, плавная речь, и путается в веках и войнах настойчивая, заблудившаяся мысль. Атабаев ударил его по плечу.

— Очнись! Забудь про мавзолей, вокруг себя посмотри!

— погоди, погоди... Это же все связано. Жизнь-то идет! Что он еще увидит, мавзолей Солтан-Санджара? Бескровная... Это я сказал бескровная революция? Нет, так не бывает.

Только сейчас, почти не слушая Абдыразака, под звуки музыки, Атабаев понял — не головой, а всем существом, — что произошло. И грудь распрямилась, и захотелось бежать, петь...

— А ты заметил, что наши шли под руку с русскими солдатами? — допытывался Абдыразак. — Видел на знамени: «Свобода, равенство и братство»? Лозунг Французской революции.

Атабаев понимал, что Абдыразак тоже радуется происходящему, но по-другому, чем он, — философски сопоставляя, сравнивая этот день с другими днями в истории человечества.

— Братство... — продолжал рассуждать Абдыразак. — Все люди — братья и в толпе идут вперемежку...

— На каторге тоже все были вперемежку, — возразил Кайгысыз. — На каторге — в этой единственной школе революционного воспитания.

В колоннах запели «Варшавянку», и он почувствовал, как что-то сжало горло, и вспомнился дорогой друг и строчки из его письма: «Пока солнце взойдет, роса очи выест...» Какие-то горькие обиды стискивали горло, а ведь радоваться надо! Он передернул плечами, будто отбрасывая прошлое, сказал Абдыразаку:

— Да что же мы тут плетемся! Пошли на мостовую! Разве мы не народ?

Они вмешались в серошинельную колонну и, негромко подтягивая незнакомые слова русской солдатской песни, зашагали вперед.

Только к вечеру Кайгысыз попал на Кавказскую улицу к Ларисе. Дверь открыла кухарка. В прихожей валялись старые изломанные корзины, обрывки бумаг и тряпок. Она обвела рукой комнату, как бы приглашая Кайгысыза оценить весь этот беспорядок, и сказала:

— Уехали. Испужались! — и, нагнувшись к его уху, прошептала. — Нынче, говорят, всю полицию — в тюрьму!

Кайгысыз молча, так и не переступив порога, вышел на улицу. Он испытывал странное чувство облегчения и пустоты. Вот и ушло, кончилось всё, чем он жил в эту зиму. Узел не распутали — разрубили. Конечно, к лучшему, но пусто, пусто...

## Митинг в офицерском клубе

В семнадцатом году ни одной капли не упало с неба на землю Закаспия. Пересохшие реки только дразнили жажду земли, не утоляя ее. Семена, брошенные в поле, не дали ростков. Голод вступил, как хозяин, в каждый дом, в каждую кибитку. Деньги стоили не дороже соломы.

Февральскую революцию народ встретил с полным доверием — рухнул колониальный режим, начинается новая жизнь. Надежды сменялись разочарованиями и снова возникали надежды. Их подогривала видимость свободы.

В городе чуть ли не каждый день шли собрания и митинги. Ораторствовали в офицерском клубе, спорили в клубе железнодорожников, надсаживали горло на площадях и рынках. Для слов была полная свобода, на деле все оставалось по-старому. Ни хлеба, ни равноправия народов. Временное правительство разрешило свободу собраний, но сохранило в Закаспии прежний военно-колониальный режим, и все чиновники во главе с генерал-губернатором остались на своих местах. Они использовали влияние местных «туркменских комитетов», чтобы ограничить авторитет возникавших повсюду Советов. Слово — свобода — не сходило с языка местных деятелей и администраторов, а народу жилось все хуже и хуже. Не сразу это стало заметно людям, привыкшим скрывать каждую вольную мысль. Однако трудно было не заметить в конце концов голодных крестьян, толпами идущих в город.

Повсюду — на вокзалах, в чайханах, в базарных рядах, на лестницах у входа в казенные учреждения — можно было теперь встретить рабочих туркмен, возвращающихся из России. Их мобилизовали на тыловые работы. Там было занято в 1916 году больше двухсот тысяч несчастных скитальцев из Средней Азии. Их угнали в далекие русские губернии — в земляных бараках или теплушках они задыхались от тесноты, от нестерпимой вони, идущей от сохнувшей обуви и одежды. Зимой многие мерзли — не привыкли к русским морозам. Больные валялись рядом со здоровыми, а по утрам унтер-офицеры выгоняли всех на работу нагайками.

Зайдя в типографию, Атабаев услышал однажды от русских наборщиков, что некий подпоручик Матвеев, обследовавший положение тыловых рабочих, писал в своем рапорте начальству, что состояние мобилизованных туземцев «прямо ужасное: кажется, будто они привезены в Россию не для работ, а для воспитания в них ненависти к русскому государству».

Вернувшись на родину, эти, хлебнувшие горя, люди создавали революционные организации среди мусульман — в противовес националистическим и контрреволюционным обществам местной буржуазии и духовенства. В офицерском клубе Атабаеву рассказали, что Закаспийский областной комиссар Дорер попросил правительство оставить войска в Закаспии для борьбы с демобилизованными, так как они насмотрелись на мятежные эксцессы в России и становятся в аулах крайне беспокойным элементом.

Отчаянное положение народа, полное равнодушие к этому правительства, пустая говорильня общественности, — всё это поднимало бурю негодования в душе Кайгысыза. Значит, ничего не изменилось? Рухнул оплот самодержавия, а на плечах народа по-прежнему

все тяготы жизни? Нет, надо действовать!

Летом он выступил на собрании, посвященном сбору средств для армии. Еще недавно в офицерский клуб банковского конторщика из опальных учителей, тем более — туркмена, не пустили бы и на порог этого привилегированного центра общественной жизни города. Теперь — здесь солдатские шинели, кителя железнодорожников, линялые халаты дехкан смешались с офицерскими френчами, черными визитками, атласным блеском байских одеяний.

Атабаев еще никогда не разговаривал с большой аудиторией. Он немного боялся за себя: как знать, красноречив ли ты, захотят ли тебя слушать? Но нужно было высказаться, нельзя молчать, и он заставил себя превозмочь смущение.

— Люди! — сказал он. — Четвертый год мы кричим о войне, о помощи фронту. Ради нее отнимаем последнее у крестьян. Из-за войны рабочие мечтают только о черном хлебе. Мы радовались свержению царя, верили в свободу, а к чему пришли? Тот же грабеж, то же вымогательство. Не видно разницы между царским правительством и правительством Керенского!

В зале поднялся шум.

— Клевета на правительство!

— Долой с трибуны!

— Демагог!

Но тут же Атабаев услышал из толпы и голоса поддержки.

— Кому не жаль своей жизни — пусть тронет его пальцем! — кричал молодой дехканин.

— Говори, Атабаев, жми! — поддержали солдаты.

Стуча кулаком по столу, председатель с трудом успокоил народ.

Атабаев продолжал:

— Скот в аулах гибнет от бескормицы. Мрут люди. Рядом с сегодняшней могилой на завтра вырастет десяток новых. Все стремятся в город. Выйдите на базар и вы увидите, что крестьянин уже не брезгует ни ишачьим, ни собачьим мясом. И мы еще смеем чего-то требовать от крестьян.

— Правильно!

— Мои мысли говоришь!

— Страна голодает, — говорил Кайгысыз. — Если не кормить корову, она не даст молока. Почему же вы хотите доить голодного крестьянина? Надо прежде накормить его и дать семена. Я хочу воспользоваться этим собранием, чтобы поставить новый вопрос...

— Не имеете права нарушать повестку дня! — крикнули из зала.

— Какая повестка у голодного брюха? — медленно послышалось в ответ.

На трибуну выскочил юркий офицер в модном защитном френче «под Керенского». Это был представитель из Ташкента, один из организаторов собрания. Он даже попытался оттолкнуть туркмена и занять его место. Атабаев легко стряхнул его руку со своего плеча. Пришлось офицеру ораторствовать, примостившись сбоку, вытягивая длинную шею из-за руки Атабаева. Впрочем, и ораторствовать не дали! Он только успел прокричать:

— Я не позволю срывать вопрос государственного значения! Не позволю мельчить, раздроблять...

— А ты кто такой?

— Давай, Атабаев! Кто не хочет слушать, может уходить!

Покуда шумел народ, Атабаев, уже оправившись от волнения, оглядывал зал. Он заметил, что толстые люди в новых халатах негодуют, ему показалось, что в дальних рядах сидит и Джеббар-Хораз и, кажется, подбивает выступить своего соседа. Солдатские шинели настроены явно в пользу Кайгысыза. Это подбодрило. Он потянулся, развел руки в стороны, и юркий офицер легко скатился с трибуны. Снова поднялся шум.

— Хулиганство!

— Плевков в лицо власти!

— Не знаем мы твоей власти!..

— Познакомишься в участке!

— Руки коротки!..

Люди вскочили с мест. Спорили, жестикулировали, казалось, дело вот-вот дойдет до потасовки. С помощью Кайгысыза председательствующий с трудом установил тишину.

— Ничтожное количество продуктов, которое мы получаем, — твёрдо продолжал Атабаев, — попадает в руки спекулянтов. А ведь если бы их справедливо распределяли, было бы народу куда легче. Мое предложение — создать продовольственный комитет! Пусть он ведает распределением.

— Вот молодец! — крикнул кто-то в зале.

— Чепуха!

— Народ за Атабаева!

— Это ложь!

Перекрикивая шум, Атабаев сказал:

— Предлагаю поставить на голосование мое предложение!

Председатель беспомощно оглянулся и, не найдя поддержки у растерявшихся единомышленников, провозгласил:

— Кто за предложение — поднимите руки!

Точно густая поросль камыша поднялась в зале.

— Опустите. Кто против?

Поднявшихся рук было немного. Не больше, чем зубов во рту старика.

— А теперь надо выбрать членов продовольственного комитета и председателя, — сказал Атабаев и покинул трибуну.

Его место тотчас же занял Джембар-Хораз.

— Люди! — прокричал он, размахивая руками. — В нашем уезде только один человек достоин быть председателем комитета. Честный и справедливый Кайгысыз Атабаез!

Гром аплодисментов заглушил его слова.

Уходя с собрания, тедженский дехканин сказал марыйскому:

— Все как будто хорошо, но я не знаю, кто такой Кайгысыз Атабаев.

— Служит маленьким чиновником в банке. Баев не любит. Помогает получать ссуды нашему брату — бедняку.

— Зачем же он понадобился Джембар-Хоразу? У Джембара дурная слава.

— Зачем нужна ширма тому, кто гол?

— Говорят, что Атабаев никому не позволит съесть «чужую долю».

— Он сам не возьмет крупинку чужой соли.

— А ты почему знаешь?

— Когда я получил в банке ссуду, сунул Атабаеву рупию. Купи, мол, себе халвы. Он с кулаками на меня полез. Я, говорит, не нищий и не взяточник. Вы, говорит, сами учите чиновников брать взятки.

— Может, ты мало дал?

— Говорят, Джембар-Хораз предлагал пять тысяч рупий.

— Неужели не взял?

— Чуть не задушил и выгнал из дома.

Тедженец удовлетворенно улыбнулся и надвинул тель-пек на лоб.

— Тогда хорошо!

## События одного дня

К осени продовольственные управы создали ужасающую неразбериху, и Кайгысыз Атабаев, осунувшись от бессонного кружения по аулам, от бесконечных митингов и заседаний, мрачнел еще больше от того, что с каждым днем убеждался: чиновники неспроста запутали дело с выдачей продовольственных карточек. Они добиваются озлобления людей

против Советов. Жулики и саботажники в фуражках с царскими кокардами мутят народ.

Политика! Всюду подлая вражеская политика, и даже там, когда речь идет об открытии детского приюта на окраине Мерва.

Какая тяжелая ноша — кормить уезд и город! Уже с прошлого года военная разруха подорвала все связи Туркестана с Россией. Кончился подвоз хлеба из русских губерний. Средняя Азия должна была существовать на подножном корму. Вот когда сказались последствия колониальной политики прошлых лет; в погоне за бешеными прибылями российский капитал почти все пшеничные поля от Ташкента до Асхабада занял под посевы хлопка. А кому теперь нужен хлопок? От бескормицы а кочевых аулах гибнут стада верблюдов и овец... и кто накормит дехканина? В городе можно установить паек, хотя бы четвертушку — четверть фунта хлеба на человека. А вот как прокормить аулы?

Председатель продовольственного комитета метался по городу. Ночью на телефонной станции дожидался вызова из Ташкента, чтобы требовать подачу вагонов с хлебом. Утром шел с рабочими и солдатами производить массовые обыски в магазинах, на складах, на квартирах своих вчерашних знакомых купцов — из тех, с кем прежде встречался в чайхане «Елбарслы».

Нет больше чайханы «Елбарслы». Атабаев открыл в ней столовую с бесплатными обедами для голодающих.

Где-то, говорят, откопали рис в яме на байском дворе — надо спешить туда! На кожевенном заводе русский управляющий — старая контра — уволил сразу пятерых туркмен, лишил их продкарточек; а там в двух семьях дети умирают от сыпняка. И Атабаев спешил на завод с представителями Совета. С винтовками не расстанутся, потому что прямо из рабочего барака хотят отправиться в аул реквизировать хлеб у крупного мервского мукомола. Он спрятал хлеб в ауле, а сам ходит по городу и торгует ворованными карточками.

На станции, говорят, самосудом убили спекулянта, который приехал из Дербента и привез масло по диким ценам. Торгаш совсем потерял голову: требовал золота, драгоценности у голодных аульных женщин...

Кайгысыз Атабаев качался от голода и усталости. Пожилой русский солдат, точно отец ребенка, поддерживал его, когда он обходил три вагона с хлебом, пришедшие впервые за два месяца.

Хорошо. На два дня Мерв обеспечен хлебом... А чай? А соль? А махорка? А мыло?..

В ту зиму он жил у русской женщины Даши. Атабаев нужен был десяткам тысяч людей — всему уезду. Он кипел, действовал. Но когда вваливался в теплую комнатку с низким потолком, Даша снимала с него сапоги, потому что у него не было сил, чтобы разуться. И он засыпал в одну минуту. Она подкладывала ему под голову подушку и проводила мягкой, доброй своей ладонью по его черному от усталости и пыли лицу.

Он был нужен десяткам тысяч голодных людей. Нужен был и Даше...

Только кормил он ее плохо. Не было толку от этого крупного начальника. А еще говорят туркмены: «Кто держит мед, у того и пальцы сладкие». Он приносил Даше свою зарплату, но что можно было купить на нее? Кочан капусты? Даша стирала и гладила его рубашки, знала им счет: две сатиновые и еще какая-то местная, не разбери-поймешь. А костюм? Он до того обтрепался, что русская соседка, моргая хитрыми глазами, не раз говорила Даше:

— Ну и прижимист твой Костя! Копите? Через его руки столько добра идет — дворец тебе мог бы построить, А ходит, как оборванец...

Это было в феврале, в понедельник, и этот день запомнился Атабаеву. Он собрался идти на работу, Даша поставила перед ним пиалу бледного чая, положила ломоть серого хлеба. Она сидела напротив него, смотрела, как он пьет чай маленькими глотками, вздыхала, а потом не выдержала, сказала:

— Что ты за человек, Костя...

Атабаев улыбнулся, понимая, что к чему сказано.



- В точности такой, каким ты меня видишь.
- Ты там, в городе, вспоминаешь, что у тебя есть дом?
- Даже в аулах, на дорогах, все время стоишь у меня перед глазами.
- Почему же не видишь, что у меня на столе?
- Ничего тут нет такого, чего можно было бы не заметить.
- Вот об этом и говорю.

Атабаев нахмурился.

- Может думаешь, что уношу свой паек в другой дом?
- Ох, голова... Разве я об этом?
- О чем же?
- Что ты не должен уходить на работу голодными, когда через твои руки продукт на весь уезд идет.

— Ты хочешь сказать — воруй?

— Какое же воровство: взять за деньги два-три фунта сахара?

— Разве эти два-три фунта нужны только нам?

— Мне дела нет до других! — отрубил Даша.

— То-есть, как?..

— Пять пальцев на руке, и все бог создал разными. По делам и почет. Я-то, черт с ним, как-нибудь не сдохну... А тебя шатает на ходу... Проглотил ломтик хлеба и до обеда в рот крошки не возьмешь... А обед?

Кайгысыз ласково поглядел на Дашу — видно, наболело у нее, надо с ней по-хорошему, можно ли обижать измученного человека.

— Пойми, Дашенька, сейчас голод уводит на кладбище больше людей, чем когда-то уводила чума. Ты выросла в Мерве, ты же знаешь. Разве видела столько попрошаек, нищих с сумой?

— Значит, и нам голодать, если другие голодные?

— Слышала поговорку: «Люди плачут — плачь, люди смеются — смейся!»

— Нет мне дела до людей.

— Глупости говоришь! — вспыхнул наконец Атабаев.

— Ах, вот как! Ну, знай: или голод уйдет из этого дома или сам уходи!

— Еще глупее... Не думал я...

Даша, закрыв лицо руками, выбежала из комнаты, Атабаев постоял молча у двери, натянул на голову измятую фуражку, сунул под мышку портфель и отправился на работу

Еще на лестнице в продкоме его обступила толпа дехкан и рабочих. Они пришли с женами и детьми. Он едва пробился в свой кабинет. Но и тут было полно просителей. «Надо будет как-нибудь привести сюда Дашу», — подумал он и бросил фуражку на стол.

Не все приходили с просьбами или жалобами. Многие — с угрозами. Если люди едят траву, а власти не могут выдать хотя бы пузырек постного масла, чтобы смазать сковородку, баям и муллам не трудно сеять смуту и озлобление. И Кайгысыз часто слышал безумные речи за полуоткрытой дверью. Горько было сознавать, что под дудку бая поют бедняки.

— Босоногие захватили власть, — кричал босоногий, — а что мы получили — одну беду? На словах этот Кайгысыз сдобривает лапшу маслом, а на деле — оскверняет веру отцов...

— Семена безверья взойдут раньше, чем ячмень заколосится, — со злобой подхватывал другой голос.

— Хотят уравнивать бедняка с баем! Тьфу!.. Только бая сделали бедняком.

— Они и наши семьи скоро смешают, как кишмиш с кунжутом.

Русские чиновники, оставшиеся на своих местах от старого режима, готовили деловые бумаги для городского Совета и продкома, русские рабочие и солдаты помогали Атабаеву поддерживать хоть какой-нибудь порядок в распределении продуктов, а неграмотные дехкане из аулов просиживали целый день на лестнице, безучастные к козой власти, голодные, изверившиеся — и творили исправно намаз в положенные часы.

В Совете шла бесконечная говорильня. Там засели меньшевики и левые эсеры, туркмены были представлены сомнительными личностями, вроде провокатора Джеббара. И трудно было вытеснить, прогнать их, потому что других людей не было. Атабаев и сам числился в левых эсерах, хотя бы для того, чтобы получать какую-нибудь информацию, знать, что происходит в стране.

Сгушались тучи над Средней Азией. Здесь, в Мерве, пока еще спокойно. А в Асхабаде контрреволюция уже создает свои боевые союзы. В Теджене Эзиз-хан собрал нукеров, в Ташаузе царит старый хивинский волк — Джунаид-хан. А на персидской границе, по ту сторону Копет-Дага уже слышны английские полковые оркестры — там неприкрыто готовятся к сражению «инглизы».

Опасно было выезжать за городскую околицу — в любую минуту мог подстеречь предательский выстрел. Но не было дела выше и важнее, чем объяснять народу задачи революции, завоевывать доверие труженников, уводить их от векового влияния духовенства и богачей, разбивать союз «лошади и всадника»... И Атабаев снова ехал в уезд — из аула в аул. Кобура не застегнута, курок на взводе. Хорошо, если два-три городских рабочих с тобой — не так опасно и скучно скакать мимо арычных кустов за аулом.

### **Трава из земли вышла**

Несколько раз Атабаев встречался в аулах с Джеббаром-Хоразом. Тот по поручению Продкомитета производил заготовку скота, при этом очень энергично. Кайгысыз не доверял ему, но до поры до времени ничего плохого о нем не слышал. И вот однажды, просматривая папку, Набитую бумагами, он наткнулся на письмо из аула. Дважды прочитал.

«Товарищ Атабаев, ваше мужество и самоотверженные дела много людей спасли от голодной смерти. Многие в аулах вам благодарны. Своей неустанной работой вы приблизили народ к Советской власти, а Советы — к народу. Сегодня слышно повсюду: «Да здравствует Советская власть!» Но я одному удивляюсь: почему вы, зная, кто такой Джеббар, допускаете его к заготовкам? Может, снимаете шапку перед его преданностью? Если так, то вы заблуждаетесь! Слушайте. Люди, не знающие вас, говорят: «Ай, они, наверно, пополам делят доходы. Иначе разве можно было что-нибудь доверить Хоразу?» Находясь в сговоре с приемщиком скота, он за последнюю неделю вместо двадцати коров и тридцати верблюдов передал городу... одни цифры. Обойдя все аульские дворы, он положил в карман прибыль от пятидесяти голов скота. Знайте же, что это только за одну неделю. Таким, как Джеббар-Хораз, не только в советских организациях — вообще под нашим небом не должно быть места!»

Смутное лицо Атабаева потемнело от прихлынувшей крови. Какой негодяй! Он тут же написал записку в милицию. Потом подумал и спрятал ее в ящик стола. Где же люди? Кто заменит заготовителя, если его посадить за решетку? Нет ни одного грамотного туркмена, готового взяться за работу. Грамотны лишь муллы, дети ишанов, байские выкормыши. Чем они лучше Джеббара?.. И потом нужно проверить письмо. А еще — припугнуть подлеца. Ведь он трус, сразу станет шелковым, если дать ему по-настоящему почувствовать вкус и запах закона.

Атабаев вызвал к себе Джеббара-Хораз. В ожидании, разбирая папку с бумагами, никак не мог сосредоточиться на делах. Впервые задумался он о будущих кадрах государственного аппарата. Если в России трудно найти рабочих и крестьян, способных править государством, за какими же горными перевалами то время, когда у нас, у туркмен, появятся в нужном числе не то что образованные, а хотя бы грамотные люди!.. А пока... Пока приходится марать свои руки, здороваясь с такими вот Джеббарами, пользоваться их услугами,

Размышляя таким образом, он несколько овладел собой и, когда появился Джеббар-Хораз, смог разговаривать с ним спокойно. Впрочем, раньше чем Атабаев успел раскрыть рот, изворотливый человек оглушил его потоком льстивых слов.

— Не хотелось бы говорить тебе в глаза, но народ считает, что Советская власть у нас не в Совете, а в продовольственном комитете.

— Погоди, погоди...

— Если прикажешь людям сдвинуть гору, то пойдут и сдвинут!

— Дай слово сказать...

— И старики, до которых еще не добрались когти Эзраила, и молодые благодарны только тебе!

— К чему же эта лесть, Джеббар? Кому это нужно?

— Я же сказал: жалею, что приходится говорить в глаза!

— Лучше скажи, как в аулах обстоит дело с обменом мануфактуры на хлеб? А главное — сколько ты пригнал за неделю скота в город.

— По совести скажу: еще никто и пальца не протянул к продуктам! Придерживаемся порядка, какой ты установил.

Атабаев вынул из палки бумагу и показал Джеббару.

— По сведениям, поступившим ко мне со складов и из столовых, вес мяса за последнюю неделю снизился.

— Не может быть!

— Посмотри цифры.

Джеббар вытащил из узорчатого футляра очки с золотыми дужками, напялил на нос, заглянул в сводку, но тут же бросил ее на стол и вздохнул:

— Разве не знаешь, что на бумаге я не отличаю черного от белого?

«Как же ты писал доносы?» — подумал Кайгысыз, но вслух сказал:

— Как же ты запоминаешь, сколько сдал скота и какого веса?

— Я прежде всего верю людям. И потом...

— И потом?

— Есть у меня старые дедовские привычки. Как говорится: "Верь аллаху, но ишака привязывай покрепче».

— Говори яснее.

— Ай, что может быть яснее: на палке толщиной с палец делаю зарубки. Конечно, для верблюдов и коров палки разные.

— Сколько же ты сделал зарубок за последнюю неделю?

Джеббар ударил себя по коленям, сокрушенно покачал головой.

— Что ты скажешь! Палки-то дома остались.

— Но хотя бы примерно скажи, на сколько больше голов за эту неделю?

— Думаю, голов на пятьдесят.

— Так почему же по весу так мало?

— Да разве ж это скот? Одни скелеты...

— Это почему же? Ведь весна во дворе... Трава из земли вышла...

Джеббар решил, что пора уйти в сторону. Есть ведь и другие вопросы — поважнее.

— Я должен поставить тебя в известность об одном серьезном деле.

— Что еще скажешь?

— Именно трава из земли вышла! Баи теперь не хотят продавать скот. Верблюжонка, который вот-вот умрет, они сравнивают в цене с собственной жизнью.

В хитрой болтовне Джеббара трудно было что-нибудь понять, но то, как он хватался за разные доводы, подтверждало суть давешнего письма. Можно было не сомневаться, что обвинить его ни в чем не удастся, если только не схватить его за горло, как в недавней схватке.

К вечеру Атабаев поехал в недалекое село и снова... снова объяснял, терпеливо разъяснял, что советская власть стремится облегчить участь труженика, но что все права покамест не у тех, кто поливает своим потом землю, а у богачей, что пора научиться уважать своего брата бедняка, что прутья можно сломать по одиночке, а веник и силач не сломит... После беседы его отвел в сторонку знакомый немолодой дехканин.

— Я постеснялся расспрашивать тебя при народе, — сказал он, — надо поговорить с глазу на глаз.

— Давай, давай...

— Что Советская власть народная, это видит и сам народ. Можно уверенно сказать, что народ гордится ею. Но поговаривают, что все получается по пословице: «Только ртом дотянешься, а уж и нос забит».

— Кто это ведет такие разговоры?

Дехканин смущенно отвернулся.

— Язык не поворачивается рассказывать,

— Не стесняйся!

— Может все это враки?

— Расскажи — тогда разберемся: где ложь, где правда.

— Поговаривают, что не сегодня-завтра придут английские войска. Своими ушами не слышал, но есть такой разговор.

— Откуда слухи?

— Будто бы Джембар-Хораз сказал...

— Вот подлец!

— Поговаривают, что он сказал: вот-вот в край ворвутся войска «инглизов», тогда, мол, послушаем, какую песню запоют босоногие, вроде Атабая, возомнившие себя начальниками.

Атабаев знал, что английские войска в полной боевой готовности стоят на персидской границе и что коварный Тиг Джонс развил бурную деятельность в Закаспии. Члены партии большевиков и левые эсеры были осведомлены об этом. Но откуда получал сведения Джембар? Видно, агент охраны превратился в агента Антанты? Ничего удивительного. Может, и в Мерве сидят люди Тига Джонса... Может, и Джембар-Хораз побывал в Асхабаде. Верно говорят: «Вода находит низину, подлец — подлеца».

Вернувшись в Мерв на другой день, Кайгысыз немедленно собрал ответственных работников и потребовал ареста Джембара за распространение контрреволюционных слухов.

Один из членов Совета, бывший чиновник, решительно высказался против. Другой — бывший волостной, в свое время рекомендовавший Джембара на работу, и вовсе возмутился.

— Говорят: один грех мужчине не в счет, — негодовал он. — До каких пор мы будем топтать ногами Джембара-ага только потому, что кто-то когда-то назвал его агентом охраны? Я полагаю, что на всей Закаспийской земле вряд ли сыщешь такого же честного, преданного Советской власти человека!

— Не знаю, кого же тогда можно назвать подлецом? — крикнул Атабаев.

— В тебе говорит личная неприязнь! — зычно перекрыл его волостной.

— Ложь!

Волостной вскочил с места.

— Ты не кричи! Тебе тут не пекарня — учить тестомесов уму-разуму!

— А ты знаешь, кто за последнюю неделю прикарманил двадцать коров и тридцать верблюдов!

— Может сработал по твоему заданию?

— Как ты смеешь!.. — Кайгысыз не смог договорить от негодования.

Они полезли друг на друга с кулаками. Их растащили в стороны, Кайгысыз утирал платком мокрый лоб.

В конце концов при голосовании большинством в один голос было принято предложение Атабаева об аресте Джембара. Это члены Совета — железнодорожники поддержали Кайгысыза.

Домой он вернулся очень усталым, угрюмым. Бросил в угол портфель, посмотрел и не поверил своим глазам.

На блюде дымилась баранья нога, от большого казана исходил давно забытый запах чектырме. Кайгысыз опьянел от этого аромата, почувствовал слабость в ногах.

Даша бегала из комнаты в комнату в праздничном платье, от нее даже пахло духами.

Она поставила на стол заветную бутылку вина, сохранившуюся с незапамятных времен.

— Что тут происходит? — спросил Кайгысыз.

— А помните, когда вы пришли ко мне комнату снимать? — мечтательно сказала она. — Помните, у меня тогда еще гости были? Я посмотрела на вас — такой высокий, симпатичный... Помните, как тогда было? Вот пусть и сегодня так будет.

— Так ведь тогда еще можно было достать на базаре барашка... — наивно объяснил Кайгысыз,

Даша горько улыбнулась.

— Вот и выпьем за барашка!

Она разлила вино по стаканам, поднесла Кайгысызу.

— Выпьем, Костя!

Кайгысыз сидел неподвижно, брови его сдвинулись. Откуда взялось изобилие? Какая еще змея затаилась в казане с чектырме? День был такой тяжелый, а тут еще дома надо решать подозрительные загадки...

— Откуда это все взялось, Даша? — сделав над собой усилие, мягко спросил он.

— Обязательно надо добираться до сути?

— Я не могу у себя в доме есть чужое.

— Тоже мне, нашелся святой на мою голову, не может протянуть руки к барашку! Стоит на столе — ешь! Не хочешь — пеняй на себя!

— Я хочу знать — откуда появилась эта еда.

— Это никого не касается. Я не воровала.

— Значит, аллах послал с неба?

— Может, и не с неба свалилось, может, и человек подарил...

— Какой человек?

— Не скажу.

— Тогда я не буду есть.

— Ну, хорошо. Джембар-ага принес...

— Джембар?..

Кайгысыз вскочил из-за стола, рванул скатерть, посуда полетела на пол. Белые черепки плавали в жирном красно-коричневом соусе, как в луже крови.

## Идущий в ад ищет попутчика

Одиннадцатого июля 1918 года в Асхабаде вспыхнул мятеж. Эсеры и меньшевики выкинули лживый лозунг: «За Советскую власть — против негодных комиссаров!» — и расстреляли многих большевиков из Закаспийского ревкома. Прозвучал новый клич:

— На Ташкент!

Белогвардейские эшелоны пополнились гимназистами и юнкерами. Еще до начала мятежа туркестанский Совнарком направил в Асхабад чрезвычайного областного комиссара Фролова. Вести мирные переговоры было уже поздно. Небольшой отряд Фролова и группа рабочих-большевиков двинулись дальше и были уничтожены в Кизыл-Арвате. Вскоре первоначальный лозунг мятежников стал звучать более откровенно: «За Советскую власть — против большевиков».

...Кайгысыз Атабаев видел второй сон, когда Даша выбежала на стук во двор. Минуту спустя она, растрепанная, полуодетая, уже будила Кайгысыза.

— Брат стучится в калитку! Агаджан пришел... Отворить?

В свете зажженной плошки дородная фигура Агаджана, когда он грузно опустился на стул, отбросила на стену горбатую тень. В густой бороде как будто горели искорки. Тяжелый кулак опустился на стол и так и не разжимался почти до конца разговора.

— Что ты думаешь обо всей этой заварухе, брат? Ты человек ученый... — не поздоровавшись, заговорил Агаджан.

— Что случилось? — спросил Кайгысыз. — Откуда ты?

До него доходили слухи, что брат связался с аульными баями, снюхался с Эзиз-ханом, что сын его Силаб, вчерашний кадет, дослужился у белых до чина поручика. Кайгысыз не встречался с родней много месяцев. Чем же объяснить это странное посещение на рассвете? Кайгысыз еще ничего не мог понять спросонья, протирал глаза кулаками, и вдруг мелькнула мысль: когда-то точно так же пришел прощупывать его Джеббар. Родственные связи давно оборвались, и все-таки это сравнение стеснило сердце.

— Что, ты не знаешь? В городе белые, — сказал Агаджан. — Теперь начнутся аресты. Будут сажать не только большевиков... Если ты хочешь...

— Сам пришел или прислали? — грубо перебил его Кайгысыз.

Агаджан покраснел, глаза налились кровью.

— За кого ты меня принимаешь?

— За недалекого арчина, который не видит дальше своего носа.

Агаджан обеими руками тяжело навалился на стоп.

— Думаешь, пришел к тебе набираться ума?

— Напротив, уверен, что собираешься наставлять меня на путь истинный. Готов отвечать на вопросы.

Агаджан оглянулся на окно, прислушался. На улице было тихо.

— Все равно, — сказал он, отвечая своим мыслям. — Времени у нас мало. Подумай как следует и скажи: с кем ты?

— Непонятно.

— Со своим старшим братом или с большевиками?

— Разве у меня найдется кто-нибудь, кроме большевиков, если я расстанусь с тобой?

— Не прикидывайся глупцом, отвечай!

— Хочешь послушать глупца? Конечно, я не с белыми.

Пальцы Агаджана дрожали, комкая край скатерти.

— Значит, мы чужие? — тихо спросил он.

— Понимай как хочешь.

Агаджан опустил голову, помолчал и вдруг неожиданно тонким голосом запел песню, какую часто пели в ауле бахши. Это пение в глухой час ночи звучало дико и нелепо, как в дурном сне, и Даша заглянула в дверь. Брат Кости пел:

Лучше единомышленник чужак,  
Чем несогласный брат или дядя.  
Лучше пресный, простой чурек,  
Чем сладкая отравка...

Видно, желчь подступала ему к горлу. Он сплюнул, вытер рот рукавом. Кайгысыз спокойно заметил:

— Можешь бесноваться сколько угодно, только на скатерть не плюй.

Агаджан вскочил с места, уставился свирепым взглядом.

— Жаль, что не плюнул тебе в лицо!

Встал во весь рост и Кайгысыз.

— Плюнешь в небо — плевков возвратится.

Оба брата были высоки и плечисты. Только Агаджан — брюхастый, Кайгысыз — худой, поджарый. Они готовы были броситься друг на друга, но еще сдерживались. Каждый думал о своем. Агаджан вспомнил поговорку: «У брата от мачехи и вера другая». Кайгысыз припомнил вдруг нищее детство. Не было тогда дела Агаджану до аульного подпaska. Люди позже говорили, будто он жаловался, что пастух, рожденный рабыней, позорит сердарский род.

Где-то близко рассыпалась пулеметная очередь.

Лицо Агаджана дрогнуло, он рванулся было к двери и вдруг обмяк, невесело улыбнулся, подошел к Кайгысызу, усадил его за стол. Сел рядом.

— Эх, братишка, — ласково сказал он, — каким бы подлецом ни оказался Джеббар, зачем было его сажать в тюрьму? Теперь будет враг пострашнее, чем при царе.

— Это верно.

— Если идешь к большевикам из страха перед Джеббаром — остановись! Я буду не я, если не сниму голову с его плеч. Пусть попробует замахнуться на тебя! Агаджан-сердар перед Джеббаром — инер перед мухой!

Неужели надеется переманить в свой лагерь? Кайгысыз ходил по комнате, загребая волосы пятерней. Надо бы добежать до комитета, унести из сейфа продкарточки, спрятать на чердаке. Растащут казаки, начнут торговать на базаре...

С улицы донесся конский топот. Кайгысыз выглянул из-за занавески — вооруженный отряд. Пожалуй, выходить опасно. Он посмотрел на брата. Агаджан улыбался. Видно, думает, что убедил, что в душе Кайгысыза идет борьба.

— Дело не в том, что я могу пострадать... — начал Кайгысыз.

— А в чем же? — удивился Агаджан.

— Во взглядах... Зачем живем? Для чего живем?

Агаджан задумался, потом очень мягко спросил:

— Ты... в самом деле большевик?

— Пока еще не вступил в партию, но дело не в этом.

— И тебе не жаль ислама? Религии наших предков?

— По совести — ни тебе, ни мне нет дела до мусульманства.

— А не преувеличиваешь?

— Едва ли. И потом я читал Коран в подлиннике и в переводе и не помню, чтобы там было сказано: обманывай и наживайся, бей и грабь, принуждай и получай выгоду.

— Кого я обманул?

— Разве свой хлеб добываешь своими руками?

— Бог дает.

— Почему же не дает он твоим батракам?

— Видно, не хочет.

— Где же справедливость? Одного делать хозяином, другого рабом...

В дверь снова заглянула Даша.

— Константин Сергеевич! Сейчас у калитки задержала этого... бывшего волостного... Из Совета. Можете ругать меня — я сказала, что вы в дальний аул уехали.

— А он?

— Чертыхнулся. Его, говорит, счастье. У этих товарищей, говорит, чутье, как у борзых...

— Молодец, Даша-джан! — сказал Кайгысыз.

Даша улыбнулась и скрылась за дверью.

— Не знаю, придется ли нам когда-нибудь еще беседовать, — сказал Агаджан, — но, как старший, не могу молчать: ты тут, в Мерве, в своем Продкоме дров наломал в пять раз больше, чем большевики! Разве этого ждал от тебя Теч-сердар? Пусть сам бог хранит нас от предателей своего народа!

— Я не предавал своего народа.

— Ты и брата своего не жалеешь.

— Я всегда тебе говорил, что не пощажу того, кто сидит на шее у туркмена. Пусть это будет старший мой брат, пусть младший...

— Выходит, что я...

— Если бы ты не был моим старшим братом, я бы сказал...

— Не бойся, говори!

— Я бы назвал тебя врагом своего народа!

Упершись обеими руками в стол, Агаджан нагнулся к брату.

— Так?..

Но Кайгысыз, не слушая его, вскочил на ноги и кричал:

— Я не тот беззащитный Кайгысыз, какого ты лупил когда-то! Не забывай! Мне не страшно теперь говорить тебе всю правду. Как назвать человека, который продает свою родину англичанам? Если он не враг своего народа, то кто же? Отвечай!

Голос Агаджана прозвучал глухо.

— Я не торгую своей страной.

— Какая разница? Сам не продаешь, так в сговоре с теми, кто продает. Разве вы не хотите запрячь туркмен в английскую арбу? Разве для такого предательства Теч-сердар произвел тебя на свет?

Тщетно Агаджан пытался прервать его гневную речь. Кайгысыз кричал всё громче.

— Вы предатели! На лице вашем клеймо! Будущие поколения заклеят ваши имена позором!..

— Заткнись! — прохрипел сквозь зубы Агаджан.

— Ты не можешь заставить меня замолчать!

— Не смей больше называть меня братом! Мы теперь кровные враги. Если бы не считал тебя ничтожеством, я в землю вбил бы по самую глотку.

— Не думай, что я не могу взять тебя за горло, как Джеббар-Хораз.

Агаджану показалось, что каждый глаз Кайгысыза стал величиной с деревянную плоску, и не было в них пощады. Ему стало страшно.

Увидев, что брат поник, Кайгысыз тихо сказал:

— Идущий в ад ищет попутчика. Всего страшнее, что ты загубил своего сына. Загубил невинного, добродушного Силаба!

— Что я сделал любимому сыну?

— Узнаешь, когда его горячая кровь зальет песок, когда придется читать по нем джиназу... отходную! Только и жалко одного Силаба.

— Где твоя совесть? — у брата вдруг хлынули слезы и он закрыл лицо руками.

— А твоя судьба может оказаться пострашнее... — продолжал Кайгысыз.

Вошла Даша с чайником.

— Завтрак готов.

Агаджан оттолкнул женщину и выбежал из комнаты.

## Ночной разговор

Опоздал. Опоздал... Надо было предвидеть события. Ведь фронта нет, и даже сотня нукеров на лихих конях смогла захватить город. Все эти дни он должен был бы искать явок на случай внезапного ухода в подполье, он должен был уничтожить, или, по крайней мере, эвакуировать архивы Комитета. А он мотался по аулам, пренебрегая слухами... Ведь говорили же ему, что советские отряды отступают.

Даша стояла в двери. И было жаль покидать ее в этот ночной час... Вообще жаль: оставишь ее и, может быть, все хорошее, пришедшее с нею в эту тяжелую зиму, разлетится подобно расчесанной шерсти, попавшей в смерч. Но Атабаев понимал, что она никуда с ним не уйдет, а ему нельзя оставаться дома.

Наверно, есть уже в штабе белые списки, пойдут по квартирам, его приметы всем известны... Может быть, найти коня и ускакать в Мене?.. Но разве можно надеяться на Гельды? А младший брат Ялкат? Он его любит, но кто поручится, что и он по примеру Агаджана не ушел а нукеры к Эзиз-хану?.. А если он и дома, — как долго смогут они защищаться у порога кибитки? Может, двинуть коня напрямик сквозь пустыню в Чарджоу? Но где найти надежного спутника, проводника, знающего дорогу? Ждать до завтра? Тогда как бы не сесть ему за решетку вместе с Джеббаром-Хоразом...

Уничтожая разные бумаги, Атабаев наткнулся на книжку из библиотеки Абдыразака и вспомнил тихий дом на окраине города... Абдыразак — вот к кому надо идти! «Что я — ишак со спутанными ногами? — подумал он и даже повеселел, потому что в минуту опасности всегда одобрял свой собственный юмор и считал это чертой мужества. — Сейчас



же уйду к отшельнику...»

После того весеннего мартовского дня, когда он целый день бродил с праздничной толпой по улицам и пел солдатские песни, Кайгысыз не раз встречал этого чудака и даже пытался привлечь его к работе Продовольственного комитета. Абдыразак уклонился.

— Дай бог прокормить свою семью, — бормотал он.

Атабаев догадывался, что честный Абдыразак бежит от соблазнов, не хочет кормиться за счет неблагоприятных проделок. Наверное, думал: лучше чинить дырявые ковры так, чтоб даже внимательный глаз обманулся; лучше, нагрузив верблюдов, сырые яйца везти караваном из Ташауза, чем ввязываться в дела властей и думать, что управляешь судьбой мира.

Но Абдыразак никогда не предаст. Только бы пройти к нему окольными переулками...

Уходя из дома, Кайгысыз сказал Даше:

— Кто бы обо мне ни спрашивал, говори, что давно уехал в Ташкент.

— И Джеббару-ага?

— И даже Тиг Джонсу!

Глубокой ночью он постучался в дверь Абдыразака. Хозяин не удивился, только спросил на пороге:

— С добром?

— Чего бы мне искать среди ночи в твоём доме, если бы всё было хорошо?

— Хочу понять, не следят ли за тобой.

— Пока незаметно.

— Тогда считай, что спасся.

— Что-то ты слишком самоуверен.

— Отвечаю за свои слова.

— Так ли?

— Именно так. Во-первых, не догадаются, а во-вторых, никто не переступит порога, прежде чем не уложу на месте четверых-пятерых!

Атабаев взглянул на хозяина: совершенно невозмутимый человек! Хоть ростом он чуть короче Кайгысыза, но плечи — косая сажень; можно на каждом плече двух человек посадить. Смуглое, горбоносое лицо кажется свирепым. Опясать его пулеметной лентой, повесить на плечо пятазарядку — неустрашимый воин. И характер его все знают. Если стал — топором не срубишь.

Абдыразак ввел Атабаева в комнату. Тускло мерцал прикрученный фитилек керосиновой лампы, едва освещая красно-черный ковер на полу, оставляя углы в глубокой тени. Свирепые глаза хозяина сверкали устрашающе в полумраке гостиной, но Атабаев знал, что за этой грозной манерой глядеть на гостей, скрывается добродушный и приветливый домосед-философ.

— Мудро рассуждая, это даже хорошо, что ты должен скрываться, — сказал Абдыразак.

— Это почему же? — удивился Атабаев.

— Нет худа без добра, поучу тебя немного грамоте, Кайгысыз улыбнулся.

— На языке фарси? Я никогда не сумею читать по-персидски.

— Я знаю, что ты учитель русского языка, — продолжал Абдыразак, — но придется поучить тебя туркменскому.

— Еще смешнее...

— Я думал, ты толковый, а вижу, совсем тупой, — подтрунивал Абдыразак. — О чем я говорю? Года полтора тебе некогда было почесать затылок, так по крайней мере сейчас прочитаешь несколько книг.

— Сначала нужно подумать, как избавиться от опасности.

— Я же сказал, что можешь не беспокоиться. За три-пять дней никто не узнает. А за это время может мать умереть и дом повалиться. Мало ли что может случиться. Возможно и

хорошее!

— Вот это верно! — раздался густой незнакомый голос.

Кайгысыз обернулся. На кровати за его спиной, оказывается, кто-то лежал. Сейчас он приподнялся на локте и почтительно поздоровался.

— Кто это? — тихо спросил Атабаев.

— А это один тедженский бродяга.

— А все-таки?

— Мурад Агалиев. Разве никогда не встречались? Он теперь тоже беглый, вроде тебя. Эзиз-хан решил согнать в свои войска всех образованных людей. А Мурад, на его беду, очень грамотный! Очень!..

Повеселев от этих слов, незнакомец вскочил на ноги, крепко пожал руку вошедшему.

— Здравствуйте, товарищ Атабаев! Если быть точным, надо сказать, что это уже не гостевая комната Абдыразака, а убежище беглых. Пословица есть: «Гость жалеет гостя, а хозяин — обоих». Слава аллаху, что я здесь не один. А то Абдыразак замучает своим состраданием...

На вокзале отрывисто прогудел паровоз. Кайгысыз прислушался. Ночные поезда давно не приходили в Мерв, значит, подходят белые. Кто знает, может, уже на станционный перрон посыпались из теплушек и платформ непрошенные гости.

— Мы даже не вдвоем, — сказал он Мураду. — Нас гораздо больше.

— В Чарджоу? — улыбнулся Абдыразак.

— Сегодня в Чарджоу, завтра снова здесь. Когда-то я чувствовал себя одиноким в школе. И старый человек, русский учитель, шепотом говорил мне о любви к своему народу, о страданиях народа. Потом в семинарии у меня появился друг и брат. Он погиб от рук жандармов. И снова мне казалось, что я в пустыне.

— Вот-вот, — кивнул Абдыразак, — так оно всегда и получается. Ты слышишь? За окном сейчас тишина. Полчаса назад шла перестрелка. Приятно хоть на минуту ощутить спокойное дыхание истории. Она почти всегда рассказывает о кровавых событиях. Сколько крови пролили деды и прадеды за свою родину! Какие тяготы вынесли на своих плечах, как украшали свою землю, какие жертвы приносили ради нее... Историки спорят о том, сколько душ загубил Тулы-хан, когда разгромил Мерв. Одни говорят — семь тысяч человек пали от его воинов, другие — миллион триста. На земле нашей восемь веков назад не нашлось бы места не политого кровью. Не будет она просыхать и теперь...

— Ты скептик или прикидываешься таким, Абдыразак? Забыл гот день, когда мы шли по городу и рядом — рус-

ские, латыши, туркмены. И трубы блестели на солнце. И ты сказал: все люди — братья!

— Я не против русских, — возразил Абдыразак. — Ты-то не читал, а я знаю, что Энгельс писал о цивилизаторской роли России для Черного и Каспийского морей, для Средней Азии...

За окном послышался беглый топот сапог, раздался одинокий выстрел.

— Белогвардейцы, — сказал Агалиев. — Цивилизаторы!

— Не надо путать разные понятия. — Атабаев нетерпеливо прошелся по комнате. — Нация и класс не одно и то же. Вы же бежали от Эзиз-хана. Эзиз — цивилизатор?

— Не будем спорить, — сказал Абдыразак, — всякое насилие отвратительно, кто бы его не осуществлял: колонизаторы или баи... Или коммунисты.

— Попробуй, добейся счастья для своего народа, не сопротивляясь злу? Попробуй, а я погляжу!

— Может, ты успокоишься? — лениво спросил Абдыразак. — Может, посидишь? Чаю выпьешь? Я сейчас принесу. А что касается счастья, то оно, как известно, внутри нас. Не пожелай другому, чего не желаешь себе, и..

Крики и шум за окном заглушили его слова.

— Сама жизнь спорит с тобой, — помолчав, сказал Атабаев. — Слышишь? Пока будешь заниматься самосовершенствованием, какой-нибудь Джунаид-хан или Эзиз

превратит тебя во вьючного осла. Впрочем, ты-то как-нибудь выкрутишься, но народ...

— Слушай, а ты не Моканна? Не древний ли наш пророк с нестерпимым блеском очей предстал перед нами? — спросил Абдыразак. — Лень с места вставать, а то бы принес зеленое покрывало. Впрочем, хватит шутить. Ты уже большевик?

— Ты знаешь, что не большевик. Впрочем, за последний день меня второй раз спрашивают об этом.

— Все, что ты говоришь, для меня не новость. Всё это я читал в толстых книжках. Там длиннее, но не более убедительно. Все от головы, а не от сердца. Класс... Быдло... А где же нравственное начало?

Молодой Агалиев слушал этот спор, подавшись вперед, напряженный, как взведенный курок. Когда Абдыразак задал последний вопрос, он как будто с мольбой посмотрел на Атабаева.

— Мне стыдно, — сказал Кайгысыз, — что за последний год я не читал толстых книжек. Но я был полезен людям, и они были полезны мне. Я учился у народа. И потом... Память тоже учит. Я был босоногим мальчишкой, когда старик, сгорбленный, как рыболовный крючок, всю жизнь трудившийся на нашей скудной земле, сказал мне: «Жизнь — пустой орех». За что же он был обойден счастьем? Я тогда не понял, а запомнил на всю жизнь. Где тут нравственное начало?

В комнату вошла высокая девушка в розовом халате, беззвучно поставила на стол чайники и посуду.

И снова завыл паровозный гудок, ему ответил другой. Тревожная переключка продолжалась несколько минут. Друзья неподвижно слушали это безнадежное пение.

Когда гудки стихли, Абдыразак спросил Агалиева:

— Ну, а ты что думаешь обо всем этом?

Мурад вскочил на ноги и по-военному отчеканил:

— Думаю, как Атабаев! Нужно идти к красным и воевать!..

## В солдатской теплушке

"Не грусти... Твоя победа... Не грусти... Твоя победа..."

Стучали, стучали колеса на стыках рельс. Пыльные теплушки, крашенные коричнево-красным баканом, катились на запад. В открытых дверях одной из теплушек, опираясь на перекладину, стоял среди новобранцев Кайгысыз Атабаев в латаной и вылинялой гимнастерке, в солдатских штанах — пузырях на коленях, в грубых сапогах с просторными голенищами. Хорошо, когда обдувает лицо апрельский ветерок, хорошо, когда бескрайняя степь чуть подернулась нежно-зеленым цветом. Хорошо, когда солдатские эшелоны движутся на запад — не на восток.

Атабаев щурился от солнца, лениво жевал сухой хлеб, запивал мутной теплой водой из солдатского котелка.

«Не грусти... Не грусти... Твоя... Твоя победа...»

Все эти дни, когда медленно двигались на запад, к фронту воинские эшелоны с молодым пополнением, не было времени не то, чтобы грустить, но даже и поспать. Политработа в войсках — дело круглосуточное, и Атабаев все время был среди красноармейцев. Тут были старые унтер-офицеры, провоевавшие уже много лет: от галицийских полей в дни Брусиловского прорыва до этих солончаковых степей, где вдаль, на горизонте, покажутся вдруг два десятка всадников, отстреляются бесприцельно по катящимся теплушкам и сгинут за барханами... Тут были и молодые ребята — туркмены из ближайших аулов. Они сами приходили и просили их взять, и Атабаев уже в пути разбирался, — зачем они пришли воевать: то ли от ненависти к баям и байскому бесправию, то ли с голодухи, чтобы подкормиться.

Все входило в обязанности политработника — и прокормить голодных людей, и свести в баньку на какой-нибудь станции, где эшелон замер ночью на запасных путях, и рассказать

под стук колес, — зачем воюем, против кого идем, что будем делать, когда победим.

«Кто не трудится — тот не ест», — вот и вся коммунистическая программа, понятная и близкая каждому, кто всю жизнь не знал светлой доли. И бедняки понимали Атабаева, просили — «учи стрелять...» А он и сам хорошо не умел. Какой он солдат... Он только и годится в войсках, чтобы прояснять голову туркмена-красноармейца. Когда-то Нобат-ага завещал ему: «Где бы ты ни был, помни, что ты туркмен. Не изменяй своему народу...». И вот оказалось, чтобы оставаться туркменом, надо стать большевиком.

На закате проезжали бесконечно огромный аму-дарьинский мост. Атабаев, глядя в серебристую даль великой реки, рассказывал своим бойцам, как в прошлом году отстояли этот мост. Здесь наступали белые. Эшелоны шли на восток... Это плохо, когда на восток. И было так много поездов, что останавливались где попало: конница и пехота разгружались на ночлег в зыбучих песках — пустыня пестрела до самого горизонта. Вдали шла артиллерийская дуэль бронепоездов... Чарджоуские коммунисты заняли позиции перед мостом и вели неравный бой. И были уже такие среди них, кто предлагал уйти и взорвать мост. Но отважные люди, — а они пришли сюда не только из Чарджуя, но и из Мерва и Теджена — не трусили. Дальнобойная артиллерия белых посылала снаряд за снарядом, разрывы вздымали воды Аму-Дарьи. А уйти нельзя, потому что этот огромный мост — не веревка, которую можно сегодня порвать, а завтра связать. Видите, как долго поезд идет над рекой!.. Самый большой мост во всей Советской стране.

Атабаев понимал, что гигантские фермы моста над величавыми водами Аму-Дарьи ему сейчас помогают. Молодые бойцы слушают его, забыв даже про голод. И он рассказывал, как пришли к концу дня на выручку новые красноармейские отряды и как покатались белые вдоль железной дороги, — как говорится у туркмен: «Я так бегу, что куда там — меня догоняющим!..»

— Хорошо рассказал. Воевать поскорее бы! — сказал молодой туркмен, когда поезд уже побежал по степи навстречу западной мгле.

— А ты давно коммунист? — спросил Атабаева другой.

— Давно и недавно. Я записался в партию в январе, в дни Осиповского мятежа в Ташкенте. Все стало понятно, я нашел партийную дружину и записался...

Из скромности, что ли, Атабаев умолчал о том, что его приняли со стажем с 1918 года. Ведь он был, по существу, коммунистом еще в Мерве, когда ходил с солдатами и рабочими по дворам купцов, выкапывая хлеб и рис, раздавая голодным людям, уже валившимся с ног на улицах...

\* \* \*

...В дни Осиповского мятежа в Ташкенте стояли сильные морозы, улицы и дворы — в снегах, не таявших и в солнечный полдень. Было тревожно. В воздухе чувствовалось что-то недоброе. С каждым днем Кайгысыз Атабаев все яснее видел, что он не в ту партию попал: левые эсеры митинговали против посылки рабочих отрядов на фронт. В железнодорожных мастерских, — в «Рабочей крепости», — он сам схлестнулся с Толпытиным, когда тот, разорвав на себе косоворотку, кричал истошно: «Куда вы идете! Большевики губят Россию!» Тогда, после этой схватки на глазах у рабочих, многие записались добровольцами в армию, и сейчас, в воинском эшелоне, Атабаев повстречал кое-кого из них.

Хуже, чем было летом в Мерве, стало с продовольствием. Город огромный, отряд конной милиции — всего 126 сто всадников — был уже бессилен против разбоя. Ночью жизнь замирала, и только длинные очереди женщин выстраивались у дверей булочных. Не всем доставалась и «восьмушка». Между тем в продовольственной директории угнездились бывшие торгаши. От мелких сошек в аппарате, казалось бы, ничего не зависит. Но подобно Джеббару-Хоразу они ухитрились растаскивать скудные запасы муки и мяса. Цены на черном рынке росли, и уже ничего не стоили не только русские «керенки», но и бухарские теньги, персидские краны, афганские рупии.

Когда Атабаева назначили в комиссию для обследования городских складов, он обошел с товарищами весь город, и оказалось, что в голодающем Ташкенте еще есть и продовольствие, и ткани, и бумага, и кожа. Люди издроглись в холодных домах, а вот он саксаул. И не найдешь владельца, кто его тут припрятал.

Утром, покидая свою бесприютную комнату, Атабаев пил воду, чтобы не так чувствовать голодную изжогу. И старушка, провожавшая его на крыльцо, тайком от него совала ему в карман ломтик хлеба, шептала ласково:

— Будь осторожен, как слезинка на веке...

Атабаев Шел по каменной арке старого моста, мимо развалин караван-сарая, мимо холодных запертых бань. Самый воздух города, казалось, был полон тревоги, и в эти морозные дни революционный Ташкент напоминал ему о древних временах кровавых религиозных смут, когда народ впервые обращался в ислам. «Мы победили!» — убеждал себя Атабаев, идя по улицам Ташкента и вспоминая погибшего друга, с которым когда-то в беспечные дни юности ходили, мечтали здесь, а однажды поклялись в верности народу, — как Герцен и Огарев: «Встанут другие, они тысячекратно умножат ряды народной революции. Их будет столько, сколько капель в весеннем дожде...»

В декабре 1918 года Туркестанский ЦИК, преодолев бешеное сопротивление левых эсеров, объявил Ташкент военным лагерем. Уже известна была контрреволюционная офицерская группировка. Английские консулы и атташе устанавливали связи с националистами из партии духовенства и баев «Улемы». Черная смута, почти на глазах у народа плела свою сеть... Следы вели на квартиру адъютанта военного комиссара Осипова. Но еще нельзя было поверить в возможность измены...

В ночь на 19 января Осипов пригласил на совещание в штаб 2-го полка всех коммунистов — членов правительства Туркестанской республики и расстрелял их на месте. Этим вероломством ознаменовалось начало восстания.

А утром большевистская партийная дружина уже вела бой с белогвардейскими мятежниками у Дома Советов. Никто хорошо не знал, что происходит в городе. И трудно было даже понять, по какой улице можно пройти. Но Кайгысыз Атабаев именно в эти грозные дни Ташкентского мятежа понял, по какой улице надо идти, чтобы попасть в партийную дружину.

В эти дни он стал коммунистом.

— «Не грусти... Твоя победа... Не грусти... Твоя победа...» — стучали колеса теплушки.

А вот уже и Мерв! Сколько воспоминаний связано с прошлым годом! Вон вдали виднеются, — видите, товарищи? — низкие крыши кирпичного завода. И там пролилась святая кровь лучших солдат революции. Обнажите головы, друзья, перед памятью Павла Герасимовича Полторацкого.

По этой самой дороге год назад — от станции к станции, останавливаясь в городах, выступая на митингах, выясняя настроение рабочих, пополняясь избранниками местных Советов, — ехала в Асхабад для мирных переговоров с мятежниками Чрезвычайная делегация Туркестанского ЦИКа. И возглавлял ее комиссар труда Туркестанской республики, а прежде типографский наборщик, Полторацкий. В Мерве они задержались на неделю. Был слух, что из Асхабада двинулись белогвардейские отряды. Полторацкий связался по прямому проводу с Ташкентом и, успокоенный сообщением о высланной вооруженной подмоге, лег спать там же, на почте. Это была его последняя ночь.

Кайгысыз Атабаев хорошо помнил эту ночь внезапного нападения на спящий город. После зловещего посещения старшего брата Агаджана он ушел к Абдыразаку и спасся, а Полторацкого захватили на почте, избили, бросили в тюрьму. Зная, что часы его сочтены, стойкий большевик на клочке бумаги написал свое завещание рабочим. Оно широко распространилось после его казни по всему Закаспию. И сейчас, когда из теплушки уже виднелся Мерв, Атабаев извлек это письмо Полторацкого из кармана гимнастерки и прочитал молодым бойцам, переводя его с русского на туркменский:

«Товарищи рабочие! Я приговорен военным штабом к расстрелу. Через несколько часов меня не станет. Имея несколько часов в своем распоряжении, я хочу использовать это короткое драгоценное время для того, чтобы сказать Вам, дорогие товарищи, несколько предсмертных слов.

Товарищи рабочие! Погибая от руки белой банды, я верю, что на смену мне придут новые товарищи, более сильные, более крепкие духом, которые станут и будут вести начатое дело борьбы за полное раскрепощение рабочего люда от ига капитала...»

Голос Атабаева, пока он читал завещание коммуниста, относилось ветром, но Кайгысыз набирал воздух в грудь, и слова Полторацкого звучали громко и внятно. А мимо бойцов бежали стены кирпичного завода... Вот здесь... Вот здесь это свершилось.

И кто-то из молодых вскинул винтовку и выстрелил в воздух.

«Не грусти... Твоя победа... Не грусти... Твоя победа...»

## Встреча в бою

Бой начался на рассвете.

Глядя в полевой бинокль из наспех отрытого окопчика, мирный туркменский учитель в первый раз увидел поле сражения. Навсегда остались в его памяти разящие подробности этой минуты. По горизонту вдали бежали в клубках разрывов серые башни бронепоезда; кони без всадников скакали, вставали на дыбы и падали в кустах; над желтыми песками, в порослях чалы-четена и борджака рывкали, подняв стволы, дальнобойные орудия; а там, где высился холмик голый, как бритая голова, Кайгысыз увидел вдруг зайца и лису...

Да, заяц и лиса, присев в ужасе друг перед другом, — вдруг побежали рядом, как брат и сестра... Они искали нору, чтобы спастись...

Пыль взметалась над окопами бойцов той роты, где ночевал перед боем Атабаев. Начальник политотдела разрешил ему, как инструктору мусульманского бюро, в бою находиться с молодым аульным пополнением.

Потом солнце поднялось над полем боя... Атабаев бежал в цепи и видел, точно в тумане, одни засолонившиеся от пота спины гимнастеров бегущих рядом с ним и впереди него красноармейцев. Это была минута захлебнувшейся атаки, когда Атабаев шел с винтовкой в руке и что-то кричал по-туркменски, почти что пел боевые кличи. Он видел, что некоторые уже отползают назад, а другие падают, роняя из рук винтовки.

Из-за холма слышались визгливые голоса:

— Руки вверх, большевики!

— Из тысячи твоих жизней — одной не оставлю! Сдавайся!

— Кому дорога жизнь — руки вверх!

— Бросайте оружие!

Сейчас Атабаев лежал, зарыв локти в песок, и посылал пулю за пулей, щелкал затвором, спускал курок, каждый раз, не думая, повторял: «Вот тебе вверх... Вот тебе — ружья!..»

Рядом с ним застонал боец. Его рука, измазанная кровью и песком, скоблила землю. Атабаев знал его — это узбек Каландар из Ташкента.

— Эх, жалко... — кусал губы, плакал узбек.

Атабаев потащил его в лощинку, там к ним подбежали, согнувшись, два санитары. Они перевязывали раненную в плече руку бойца, а Кайгысыз гладил его черное от пыли лицо и возбужденно повторял:

— Жаль... Конечно, жаль, друг Каландар. Но ты живей — радуйся. Был бы жив, а руку поправят...

— Знаю, товарищ Атабаев, — сквозь зубы произнес узбек. — Ведь не на праздник шли с винтовками, правда? Ведь я добровольно, правда? Ради нашей победы не только двенадцать своих частей не пожалею — жизнь отдам, правда?..

Черное его лицо от боли посерело, побледнело.

— Обещаю, как коммунист, — за тебя отомщу!.. Ты мой брат дорогой, — прошептал

Кайгысыз. — Будет мир, будем вместе! Наше будущее!..

И, не досказав, он побежал догонять свою роту...

И был еще трудный час боя под вечер. Огонь белых прижал бойцов к земле. И не хватало патронов. И Атабаев просил бойцов — экономить, расходовать только если уверен, что пуля не уйдет даром.

«Да можно ли нас победить!» — впервые самому себе крикнул в этот час Кайгысыз, и сам потом не мог себе ответить — крикнул ли он вслух или мысль кричала в нем...

И был арналёт, когда песчаные смерчи встали вокруг Атабаева. И была еще одна минута, когда в пыли нельзя было понять, кто на кого наступает. Кто бежал, кто падал, кто стонал, — и только винтовки беспрестанно стреляли, стреляли... Атабаев, забыв о чем просил бойцов, сам на ходу выпустил пять пуль — это за Каландара! И если ему не показалось, то кто-то впереди, в цепи врага, падал от его пуль.

Только сумерки, сгустившись над песками, погасили бой. Всё реже звучали выстрелы. Атабаев шел, обходя мертвые тела. Шел — что-то говорил санитарам, уносившим раненых на носилках. А что говорил, — и сам через минуту не мог бы вспомнить.

И вдруг, подняв голову и отирая пот со лба, усидел он четкий силуэт мавзолея Солтана Санджара. Сейчас, — после кровавого дня атак и рукопашных схваток, — крепость Говор-кала казалась высоким островом среди моря, а древний памятник — воплощением спокойствия. Он источал покой — этот след семизековой истории. Невольно вспомнился Абдыразак. Вспомнилось, как он в ту ночь в своем домике на окраине Мерва, когда на станции разгружались под переключку паровозов белые отряды, витийствовал о древних смутах Среднеазиатского мира... Нет, не верит Кайгысыз равнодушному философу, будто все неизменно, все повторяется под луной! Нет, скоро придет предел зверствам... И эта пустыня превратится в цветущий сад... Так будет.

Атабаев широко шагал по песку, вспоминая о прошлом, мечтая о будущем, и вдруг вздрогнул, остановился. Перед ним лежал труп меднобородого солдата. Руки раскинуты, голова опущена на грудь, брови грозно сдвинуты — сейчас встанет и, набычившись, пойдет на врага. Кровь обагрила его китель, и песок рядом с грузным телом почернел от крови.

Кайгысыз не помнил, сколько он простоял над убитым, опершись на винтовку. Потом присел на корточки, прошептал:

— Брат... Агаджан. Неужели ты умер от моей пули?.. А не все ли равно? Так и должно было случиться. Неизбежный конец. И тяжко... И если бы я знал, что ты тут, я все равно стрелял бы... Стрелял бы...

Это был разговор с самим собой и от него не становилось легче. Глупое сердце сжимается от утраты, гордый разум не склоняется перед лицом смерти... И сейчас Кайгысыз вспоминал, как Агаджан-сердар незаметно совал ему в карман деньги, когда пришлось стать безработным, нашел ему работу в банковской конторе; как беспокоился, узнав о ссоре с Джеббаром... Низко склонившись над телом брата, Кайгысыз прошептал:

— Прощай... прости.

Потом он встал, окликнул проходящего мимо бойца, попросил помочь вырыть могилу.

Солдат удивленно посмотрел на Атабаева.

— Что жалко стало врага? — спросил он.

— Нет.

— Зачем же хоронить?

— Человечность должна быть...

Солдат потрогал пальцем свой лоб.

— Ты в своем уме? Человечность! А ну, давай собери целую роту, устроим тут белогвардейское кладбище!..

Атабаев смутился.

— Это... мой брат, — сказал он.

— Брат? Странно.

— На свете много странного, товарищ.

— Нет, тут надо разобраться. Вы, что же, братья или враги?

— И братья и враги.

Солдат покачал головой, недоверчиво сказал:

— Все может быть, все... — Он ворчал, но принялся копать песок прикладом винтовки.

Атабаев засыпал неглубокую ямку песком, сорвал снопик селина и привязал его к макушке высокого куста черкеза. Может, придется когда-нибудь встретиться с Силабом, рассказать, по какой отметине искать могилу отца.

## Восемь всадников встретились

Точно начиненный порохом бикфордов шнур, протянутый по пескам Каракумов, Закаспийская железная дорога искрилась скоротечными боями на всем ее протяжении. На каждой глухой станции, на каждом пустынно-мертвом разъезде красные отряды, тесня противника, навязывали ему бои и гнали искру сражений на запад.

Разношерстным сбродом переполнялись на короткое время станционные хибары, врытые в землю теплушки, прокуренные вонючие «дежурки» перед тем, как сразу же опустеть при первых дальних раскатах канонады. Деникинские офицеры. Английские сипаи. Конники Эзиз-хана... Небритые полковники в зале ожидания дули по ночам французские коньяки, а потом, как по команде, наспех и в который раз начинали укладывать свои чемоданы.

— Ох, как устали мы, и ветер нас гонит по степи, точно перекасти-поле! И как неуютима эта голодная и озлобленная чернь!

Туркменским всадникам уже не доверяли ни англичане, ни русские. В начале марта по приказу английского командующего был схвачен Эзиз-хан. Белопогонный следователь ночью бил его кулаком в грудь:

— Наёмный раб! Собака!

Позже его расстреляли и бросили в кустах.

А на рассвете конный отряд Кизыл-хана, первого помощника Эзиза, поднялся и, отстреливаясь, ушел в пустыню.

— Переждем в камышовых зарослях поблизости от Теджена. Подкормим коней, отдохнем. А там пошлем грамоту красным. За них — народ, — так, борясь с дремотой, качаясь в седле, говорил Кизыл-хан своим нукерам.

Седой молла ему поддакивал:

— С инглизами пора кончать! Пусть убираются... Они сейчас, как злые и умные муравьи... чтобы зерна не прорастали в земле, перекусывают их пополам.

Прошло еще два месяца.

...В жаркий майский полдень в степи на голом, побелевшем от соли такыре четыре всадника повстречали четырех всадников — восемь джигитов одновременно в тревоге натянули поводья.

Молодой Мурад Агалиев зимой бежал из Асхабадской тюрьмы, несколько месяцев скрывался в окрестностях Теджена, а теперь вез в штаб красного отряда мирное послание от Кизыл-хана. С ним скакали два кизыл-ханских адъютанта и знающий тропы проводник из чабанов.

Кто же повстречался им в барханах? Друг или враг? Может, беглые из деникинской орды? Дезертиры уходят в пески, грабят и убивают мирных жителей. Мурад Агалиев поудобнее положил ствол маузера на луку седла, а его спутники скинули со спины винтовки.

— А ведь это Джеббар-Хораз, — взглядевшись, сказал Мурад.

Всадники сблизились на расстояние голоса.

— Эй, Мурад, куда держишь путь в такую жару?

Если бы Агалиев встретился Джеббару один, — он знал, что этот белый прихвостень, английский пес и царский доносчик со своими бандитами пригвоздил бы его к земле и, не обернувшись, поехал своим путем. Но. тут были равные силы. Куда он едет? К белым,



конечно... Мутные глаза Джеббара смеялись, хриплый голос звучал как можно беспечнее.

Мурад ответил напрямик, даже с некоторым вызовом:

— Мы едем в Мерв!

— Знаю, знаю... Умно поступаете.

— А вы куда?

Джеббар почесал против шерсти свою сивую бороду, гнусно рассмеялся.

— Эй, пропади пропадом вся эта заваруха! Ты ведь знаешь: я скот пригоняю нашим храбрым нукерам из королевского войска. Вот мучаюсь: пока они не унесут ноги в Персию, получить бы с них что причитается.

Муред нагло оскалился белозубой улыбкой:

— Может, и к Тигу Джонсу помчишься за тем, что тебе причитается?

— У тебя, хан мой, еш, е на губах молоко не обсохло! — выпучив желтые бельмы, озверело заорал Джеббар-Хораз. — Не рано ли распустил язык!

— Не обижайся, Джеббар-ага, скажу тебе всю правду! — Мурад Агалиев пришпорил коня, и тот затоптался, взрывая копытами песок. — Тебе все едино: скоро бородой в песок уткнешься, так лучше стреляй первый!.. Встретились в диком поле — стреляй же!

И спутники Агалиева, клацнув затворами, дослали патроны.

— Молодец! — крикнул Джеббар. — Но сколько бы ни ссорились джигиты, есть у них немало других врагов в этой драке!.. Зачем зря тратить патроны?

— Пошутил!.. А пока я не забыл — большой тебе привет, Джеббар-ага, от Мурук-хана!

Только двое — Мурад и Джеббар — могли сейчас оценить заключенную в этих словах злую издевку: Мурад Агалиев дал понять Джеббару, что он знает, кто подослал доносчиков Мурук-хана, чтобы усадить Мурада в тюрьму.

— Где ты встретил этого негодяя? — невозмутимо отозвался Джеббар.

— Там же, куда ты меня запрятал! Он много о тебе рассказал! Вы ведь одинаковы...

— Святой будет тот, кто его прикончит!

— А кем называть того, кто тебя прикончит, старый пес!

— Как ты себя ведешь, Мурад-джан! Даже не даешь старшему брату почесаться!

— Я пошутил, Джеббар-ага!

— Хороши шутки...

— Приеду в Мерв, спросит о тебе Кайгысыз Агабаев... как прикажешь ответить?

— Скажи, что считаю его пророком!.. Скоро я сам вернусь в Мерв и, если будет возможность, стану лобызать его ступни, не будет такой возможности — тогда следы его ног на земле поцелую!

Мурад только покачал головой: какую нечисть носит пустыня!

— Эй, джигиты! — кричал между тем Джеббар, посылая вперед своего коня. — Да не оставит вас аллах в пути!

— Давай-давай! — крикнул по-русски Агалиев и выругался; и потом еще по-туркменски добавил, — передай своим господам, что мы держим путь к коммунистам!..

Но уже высокие папахи тех, четверых, скрывались за гребнем бархана.

## **Солнце не закрыть полой халата**

— Я тебя тоже могу порадовать, Мурад, — складывая послание Кизыл-хана, сказал председатель Закаспийского Реввоенсовета, — вчера взяли Байрам-Али. Крепкий орешек!

— Значит, возьмем и Асхабад? — спросил Агалиев.

— Теперь не за горами. Подумай только! Победили разутые, раздетые, голодные люди. Как это случилось?

— Вот этого я и до сих пор не могу понять! — оживился Мурад. — Но, как известно, факты упрямая вещь... Солнце не закрыть полой самого большого халата.

Прорвавшись сквозь толпу солдат в здание Реввоенсовета, Мурад Агалиев сидел сейчас в глубоком кресле с ободранной плюшевой обивкой и, отдыхая после трудного конного

перехода в песках, несколько расслабленно улыбался, Факты — упрямая вещь: вот перед ним друг-приятель, давно ли вместе кетменем орудовали на хлопковых полях под Тедженом, и ведь погодки, сверстники! — а кто теперь этот человек волею народной резолюции? Николай Антонович — председатель Реввоенсовета фронта! Факты — упрямая вещь...

— Победили, — повторил Паскуцкий. — Я тоже многого не мог понять, но оборона Кушки, когда там принял командование старый генерал Востросаблин! Ты понимаешь, — старый царский генерал, бесконечно преданный своему гарнизону, вместе с горсткой осажденных красногвардейцев защищал советскую крепость! Но не это главное. По-настоящему я понял, что такое великая сила, когда маленький рабочий городок Чарджуй стал преградой на пути беляков. Я еще никакой военный, но знаю одно, что моральный фактор в армии — это больше половины дела!

Николай Антонович разволновался от встречи с земляком, вышел из-за стола, постояв у окна и поглядев на мутный желтый Мургаб, резко повернулся к Агалиеву.

— Хватит о высоких материях! Просто, когда вспоминаю мост Аму-Дарьи и голодных путейцев с пулеметами — горло перехватывает... Это позади. А теперь мы все при деле. Я оказался военной косточкой, ты выполняешь дипломатические поручения, доставил послание... Можно считать, первый туркмен-дипломат!

— Дел хватает, — отозвался Агалиев.

— Да, дел выше головы. Людей маловато для этих дел. Кстати, ты помнишь Кайгысыза Атабаева?

— Вместе работали здесь в Продовольственном комитете.

— Недавно его прикомандировали к нам в политотдел. Для работы в войсках с мусульманами. Настоящий туркмен — простой и твердый, немногословный... Письмо Кизыл-хана — это ведь тоже работа наших политотдельцев, таких, как Атабаев. Это они без отдыха разъясняют дехканам преимущество нового строя, они воспитывают у бойцов братское отношение к местному населению. Такие люди, как Константин Сергеевич...

— Кто это — Константин Сергеевич?

— Так мы зовем Кайгысыза. Я говорю, что такие люди удивляют своим бескорыстием. Он поглощен! Ему все интересно! Объяснит солдату-мусульманину; дескать, «бог-то бог, да и сам не будь плох...» Расскажет про все увлекательно и тактично, и глядишь — коран подмочен?

В другой раз он дехканину поможет хлопок прополоть, тот потом говорит: «Аллах привел к нам красных! Спасибо ему». Сделает доклад — враз видно, что и книжки успеваешь читать! А как метко бьет из винтовки!

— Может, белые бросают город за городом, спасаются от Кайгысыза? — засмеялся Мурад.

— Есть люди, о которых неуместно говорить шутливо, — сказал Паскуцкий, и тут же улыбнулся.

Мурад Агалиев был упрям, никто не мог заставить его петь на свой лад, если он хотел петь по-своему.

— А должность, пожалуй, портит, — сказал он.

— Не пойму, о чем ты?

— Препжний Коля Паскуцкий любого, самого маленького человека из народа ставил выше себя. Теперешний Николай Антонович поучает меня, как мулла.

Паскуцкий подошел к Мураду, обнял его.

— Неужели не понимаешь: нельзя хвалить человека в глаза. А то я вознес бы тебя до небес,

— С такой высоты опасно падать.

Оба рассмеялись и принялись вспоминать дни юности на берегах Теджена.

...Им было лет по двадцать, не больше, когда Паскуцкий приехал в Теджен. Чуть выше города по течению реки были хлопковые плантации. Хозяева богатых полей поручили молодому землемеру Коле Паскуцкому насосную установку, которая поднимала воду на

залежные земли. Крестьяне называли несложное сооружение «завуд», то есть завод. Летом, когда река становилась узенькой, как нитка, «завуд» вытягивал из нее всё, не оставляя тем несчастным беднякам, кто жил ниже по течению, даже питьевой воды.

Отец Мурада, — звали его Агали, откуда и пошла фамилия, — брался работать за половину урожая на полях некоего Миносяна, хитрого и жадного кулака. Ко времени расплаты несчастному Агали доставалась едва ли пятая часть урожая, — остальное уходило в начет за семена, за штрафы, за налоги. Кибиточная подать — четыре рубля, а земский сбор — еще два рубля, а еще — на содержание администрации, а еще — на исправление дорог и за школу, а еще — поземельный налог, а еще — натуральные повинности... наряд на мосты и дороги, на борьбу с саранчой, на ремонт оросительного канала. А еще — жалованье арык-сакалам и мирабам. А еще — базарный сбор. А еще — сбор с караванов... Нищета и бесправие народа потрясли молодого землемера, приехавшего сюда прямо со студенческой скамьи, из России. Он с молодой запальчивостью стал защищать права дехкан перед хозяевами, помог Агали упорядочить его расчет с Миносяном. Тогда-то они и познакомились — аульный парень Мурад и русский юноша — землемер. В ауле полюбили Колю Паскуцкого, звали его ласково — «рванный инджинар», у него, действительно, был шрам на губе.

Много ли времени прошло с той поры?

В первый же год мировой войны Колю мобилизовали. Не то солдат, не то рабочий, он тянул лямку на прифронтовой железной дороге, с голодухи болел. В окопах встретил февральскую революцию, и в первые же дни был избран солдатами за умные речи в ротный комитет. Он был уже депутатом солдатского совета армии, когда по физической непригодности был демобилизован.

И потянуло его, как ни странно, в далекий Теджен. Там к осени 1917 года как-то само собой стал он председателем городского Совета. Как всегда он думал — людей нет, вот его и тянут, и тянут. А он все еще, смешно сказать, — беспартийный! Только весной 1918 года, приехав на пятый съезд Советов Туркестана из маленького грустного городка Теджена, он был принят в партию, — да и то поначалу во фракцию левых эсеров, потому что там не спросили членского билета. А в июле, появившись на денек в Асхабаде, — он попал в огневое кольцо белогвардейского мятежа. Неузнанный, по чужому документу, пробрался в родной Теджен, но и туда опоздал — его обогнали белые эшелоны. Председатель городского Совета, он только и успел взять из здания совета десяток винтовок, а потом укрылся в ауле, в доме Агали, — на земле кулака Миносяна. Целый месяц прожил среди крестьян — старая память о нем жила в народе, его по-прежнему любили, а теперь и почитали, как новую народную власть. В августе Паскуцкий вернулся в город на свой высокий пост. А в октябре его ввели в Военнополитический штаб Закаспийского фронта...

...Вон куда рванул! Смотришь на него — и узнаешь и не узнаешь. Кажется, не так давно расстались, а на лбу у комиссара появились морщинки, и взгляд тяжелый. Видно, велика ответственность на таком посту. Худой стал. Похоже, что его намазать салом — не пристанет. Впрочем, никогда он не был толстым. Ни юношей, когда помогал крестьянам на поливе, ни в голодовку семнадцатого года, когда раздавал другим свой паек. Жил человек для народа и теперь так же живет, как бы высоко не занесла его судьба. Ну вот и морщины на лбу разгладились. Читает письмо — радуется...

## Память учит

Только поздно вечером Агалиев постучался в знакомую калитку на глухой окраине города. Знакомое ворчанье дряхлого пса в глубине дворика. Журчанье поливной воды в канавке... Как здесь все по-мирному хорошо.

Абдыразак зажег светильник, на минут/ потянуло чадом кунжутного масла.

— Ну, садись поудобнее, путник о шести ногах. Где коня оставил? Рад, что вижу тебя живого...

Мурад молча умывался. Неторопливо растирал мохнатым полотенцем сильные плечи, крутой затылок, твердые хрящеватые уши. Приятно почувствовать себя молодым и усталым. Приятно сбросить сапоги на пороге, упасть на бархатисто-красный ковер, закинуть руки за голову и слушать ворчливую речь отшельника-философа, за каждым его словом чувствовалась радость, что вернулся дорогой человек — живой, невредимый.

— Ты думал, что Тиг Джонс приторочил меня к седлу и увел в Индию?

— Хораз распространял слух еще страшнее...

— Хораз... И вправду, есть что-то в нем от глупого рыжего петуха... Но разве не знаешь, что лиса хитрее петуха?

— Поздравляю, если так...

— Спасибо. А ты как живешь?

— Как нищий в дупле старой чинары. Помнишь, жил такой в Ташкенте?

— Откуда мне помнить. Я родился в октябре семнадцатого года.

— Ишь, какой молодой. А уже столько нагрешил...

И Абдыразак стал рассказывать, как, уходя из Мерва, белогвардейцы убили в мечети трех священнослужителей, и сами же пустили слух среди мусульман, что это сделали большевики.

— И помогла им эта злая басня?

— Нисколько! Когда ваши вступили в город, правоверные читали намаз в дверях мечети, благодарили аллаха за избавление от зла и напастей.

— В чем же причина таких перемен?

— Великая сила сравнения. Да и формы агитации изменились. Читал сегодняшний приказ Реввоенсовета?

— Нет еще, а в чем дело?

Абдыразак вынул из ковровой торбочки, висевшей на стене, бережно сложенный лист бумаги. Приказ, отпечатанный в типографии, был, видимо, расклеен на стенах, потому что оборотная сторона бумаги хранила следы клея. Мурад даже повеселел, представив себе, как мусульманский философ, озираясь, осторожно срывает со стены приказ Реввоенсовета.

— Слушай внимательно! — говорил Абдыразак, надевая очки. — «Товарищи! Освобождая сегодня земли, которые были захвачены врагом, мы освобождаем народ, мучившийся под гнетом капитализма. Мы выполняем священный долг справедливости. Это обязывает нас к отзывчивости и человечности. Реввоенсовет фронта призывает товарищей красноармейцев быть в братских отношениях с местным населением...»

— Будешь хранить как талисман? — с улыбкой спросил Агалиев.

— Я запомнил, как сказал когда-то Кайгысыз: «Память учит». Вот и буду хранить. Не отказываюсь учиться до гробовой доски.

— И сколько у тебя таких учебников?

— Накапливается понемногу... Ты помнишь ночь, когда вы ко мне пришли спасаться, ты и Кайгысыз? Это было двадцать первого июня. В эту ночь Полторацкий писал свое предсмертное письмо. Оно потом ходило в списках.

Абдыразак вытащил из той же торбочки листок, исписанный чернильным карандашом, как видно под копирку.

— Не читай, не надо, — тихо сказал Мурад. — Это письмо я выучил наизусть. Оно меня сделало коммунистом. А ты, я вижу, тоже пересматриваешь свои позиции. Что-то не слышу ничего о пророке под покрывалом...

— Кое-что пересмотрел. А главным образом насмотрелся. На белых! И теперь не хочу оставаться в стороне. Я слышал, что формируется новый Горисполком, а введут в него старых чиновников. Если так — вы совершите большую ошибку. Людям прошлого нет дела до народа. Чего можно от них ждать? Произвола, лихоимства, обмана... Нужны другие люди! Люди с совестью, воспитанные по-большевистски!

— Ого! Ты далеко шагнул! — Агалиев пристально посмотрел на Абдыразака. — А знаешь ли ты, затворник, таких людей?

- Ты еще сомневаешься?
- А почему бы и нет?
- Есть такой человек. Его знают и помнят все честные мусульмане, не только я.
- Назови.
- Кайгысыз Атабаев.

\* \* \*

Когда спустя несколько дней солдата-политотдельца Кайгысыза Атабаева, действительно назначили на высокий пост заместителя председателя Мервского исполкома, Мураду Агалиеву казалось, что он уже давно слышал об этом...

## Выборы в Конгуре

Уходя, белые разрушили железную дорогу. Наступление Красной Армии на Теджен затянулось. Но крепкий кулак вобьет в землю и шерстяной кол, и белогвардейцы не смогли задержаться ни в Теджене, ни в Каахка.

Тяжело приходилось в ту пору народу. Позади неурожай семнадцатого года, много месяцев тянется гражданская война, царит голод и разруха. Бязи, которую ткали в Ташаузской и Хивинской стороне, не хватало, даже чтобы прикрыть грешные места на исхудалых телах...

Когда терпит бедствия народ — бедствует и армия. От Чарджоу до Байрам-Али бойцы дрожали над каждой каплей воды, а одежда их не была похожа на ту, какая видела мыло и воду. Грязные, задубевшие от пота, латка на латке — гимнастерки, худые сапоги, в солдатских котелках не увидишь звездочки жира. Удивительно, что эти черные от солнца, тощие от голода люди не только сражались, но побеждали свирепого, хорошо вооруженного врага. Как говорит Махтум-Кули: «Если у мужчины есть сердце, для него нет преград». Преодолевать все пределы, побеждать все препятствия бойцам помогала ясная цель.

Исход гражданской войны зависел от помощи народа. Потому-то командование Красной Армии оставило для руководства Мервским уездом самых энергичных и способных людей.

Сейчас для фронта важнее всего продовольствие, а прежде чем сбросить врага в Каспий, красноармейцам надо пройти много бескрайних и безводных пустынь. Армии нужны верблюды и кони. Заводов, которые подобно пиалам и чайникам, выпускали бы верблюдов и коней, не существовало. Живность надо было собирать в кочевых аулах. Председатель уездного комитета Алесковский — опытный партийный работник, хорошо знал рабочих, но аула Алесковский не знал. А предстояло сплотить силы деревни и города, довести до сознания самого отсталого крестьянина идеи партии. Новое растет на развалинах старого. Иначе говоря, нужно было вытравить в умах ячменную полову и вырастить на ее месте золотую пшеницу. Это и должен был сделать уездный исполком.

Алесковский был под стать своему заместителю Атабаеву, — плечистый, высокий, только волосы его не блестели, как вороново крыло, а уже отливали серебром. В народе его звали «белоголовым». Он всегда был готов ринуться в любое дело и довести его до конца, но когда речь заходила о деревне — сникал. Однажды он сказал Атабаеву:

— Наш город по сравнению с уездом — стебель, на котором висит дыня. Если сравнить, что я знаю о деревне и обо всем уезде, с тем, что знаешь ты, окажется, что знание мое уступает твоему... Поэтому помни: я опираюсь на твой опыт, на твои знания. Со мной и без меня действуй смело и решительно. — Он помолчал, а потом без всякой восточной цветистости, очень по-русски добавил: — А если что не так, наломаешь дров, то вместе будем ответ держать.

Прежний опыт Атабаева, когда он работал в продовольственных комитетах, быстро оценили в исполкоме. Он не успел и оглянуться, как на его плечи легло снабжение армии

продовольствием. В этом деле без помощи деревни не обойтись, и стало ясно, что пришла пора создавать сельсоветы. Выборы не всегда проходили гладко. Племенные и родовые распри в эти годы достигли предела. Даже при выборах арчина<sup>1</sup> шли отчаянные споры и междоусобицы, а когда доходило дело до сельских советов, местные баи и главы родов и вовсе сшибались лбами. Каждому хотелось поставить на высокий пост своего человека. Народ безмолвствовал. В деревнях не знали разницы между арчином и советом, партийных ячеек еще не было, и сами арчины, которые к тому же были и главами родов, старались назначать председателем.

Кое-где выборы проходили бурно, кое-где стоило только сказать: «Ай, сам Кайгысыз Атабай предложил нам председателя!» — и люди успокаивались, будто на них брызнули свежей водой.

В Конгуре выборы срывались дважды. Атабаев считал, что поговорка — «если спорит Конгур, да поможет тебе аллах» — придумана не зря. В третий раз на выборы в Конгур отправились Алесковский, Атабаев и один из городских рабочих.

Конгурцы собрались на сельской площади и уселись, будто пришли на празднество. В живописном беспорядке сборища опытный глаз Атабаева уловил, что сход разделился на две группы. Не широкий, но достаточно заметный просвет делил толпу пополам. Догадаться об этом можно было еще и потому, как расположились закутанные до глаз, похожие на сахарные головы, фигуры женщин. Они устроились поодаль от мужчин, с двух противоположных сторон. Баи и главы родов согнали на площадь даже молодых женщин и девушек. И весь этот народ пришел не для того, чтобы ратовать за свои права, а только, чтобы его пересчитали, как пересчитывают головы в стаде. Атабаев понимал, что каждый род хочет сделать председателем своего человека. Оценил положение и Алесковский.

— Ты будешь вести собрание, — сказал он Атабаеву.

— С условием, что не будете мне мешать.

Как принято, на площадь вынесли стол, покрытый кумачом, и несколько стульев. Атабаев подошел к собравшемуся и крикнул:

— А ну, люди, собирайтесь вместе!

Никто не шевельнулся.

— Плохо дело, — шепнул Алесковский.

— А что бы нам тут делать, если бы было хорошо?

— Может, пока мы еще не растеряли свой авторитет, уедем обратно, хорошенько подготовимся, а уж потом проведем выборы?

— Недокошенное сено гниет под снегом.

— Ну, смотри...

Атабаев повернулся направо и спросил:

— Кто у вас тут за главного?

— Я! — отозвался налитый, как клоп, кровью толстяк с редкой черной бороденкой.

Он проворно вскочил, но даже стоявшим вдалеке было слышно, что он задыхается под тяжестью своего веса.

— Если так, иди сюда!

Толстяк подошел неторопливо и остановился перед Атабаевым.

— Как тебя зовут?

— Алламурад.

Чувствовалось, что он напуган видом трех здоровенных горожан, и его голос прозвучал слабо.

— Так вот, Алламурад, тебе подчиняется твой род или у вас есть другой старейшина?

Почуввав в вопросе какой-то подвох, Алламурад засуетился.

— Как сказать? Род наш очень дружный, есть у нас и старейшина — Омар-ага.

---

<sup>1</sup> Арчин — старшина.

— Ну-ка, позови его.

К Атабаеву подошел старичок с запавшими черными глазками, глубокие морщины испещрили его маленькое личико. Он поздоровался с приезжими и стал рядом с Алламурадом.

Повернувшись к другой группе, Атабаев спросил:

— А у вас кто предводитель?

Крепкий седой человек с крупным носом, в тельпекке, надетом чуть набекрень, быстро поднялся на ноги и по Знаку Атабаева подошел к нему.

— Как зовут?

— Мое имя — Нарли.

— Сам отвечаешь за своих или еще кого позовешь?

— Что за нелепый вопрос? — удивился старик.

По тому, как он раскачивался с носков на пятки, смотрел в упор на Атабаева, было видно, что он очень самоуверен и думает, что наглость поможет ему запугать противников. Вспыльчивый Атабаев чуть было не крикнул: «убирайся вон!» Однако сдержался и, прикинувшись удивленным, пошутил:

— Что за разговор, Нарли? Может, я тебе что-нибудь должен?

Понимая, что приезжих не возьмешь на испуг, Нарли стал оправдываться:

— Это у меня привычка такая. Сам не замечаю. Срываюсь, как кобель с веревки.

— Слава богу хоть не укусил! — засмеялся Атабаев.

— Помолчи, начальник! Не говори потом, что не слышал. Я ведь не хуже бешеного, могу и укусить!

— Ай-я-яй! Что же нам делать? Попробуем защищаться, а нет, так сбежим.

— Когда решают важное дело, можно бы не шутить.

— Спасибо за совет. Это верно, делу время — веселью час. Может и начнем с того, что ты ответишь на мой вопрос?

— В нашем роду мое слово — дело, — надменно сказал Нарли. — Но будем держаться поговорки: в одиночестве хорошо говорить только с богом. Если Алламурад позвал своего человека, позовем и мы. Куджук-хан, иди сюда!

Мутноглазый парень с колючими усами, неприкрывающими вывороченных губ, был и в самом деле похож на злую собаку. Он подошел к Нарли и стал рядом с ним. Алламурад нахмурился, всем своим видом стараясь выказать отвращение к Нарли. Задумчивый Омар-ага низко опустил голову, будто молил бога: «Дай, чтобы не было шума и распрей, помощи, чтобы выбрали того, кого мы назовем». Куджук-хан, казалось, готов был кинуться по свисту хозяина на любого. А Нарли покачивался с носка на пятки, покручивал усы, молча давая понять, что в этом ауле он хозяин и без него не свершится ни одно дело.

Алесковский, наблюдая за ними, думал о том, как выйдет Кайгысыз из сложного положения, а рабочий Иванов считал, что все конгурские вожаки немного тронуты умом.

— Значит, каждый род думает, что аул стоит за него?

— Верно! — дружно отозвались все четверо.

— Помнится, Ленин говорил — кто верит пустым словам, глуп и бестолков. У меня ума не так много, а все-таки не хочется оказаться и в ряду дураков.

— Не понимаю твоих слов, Кайгысыз Атабай, — нетерпеливо сказал Нарли.

— Я хочу сказать, что язык без костей. Мало слов, нужны доказательства.

— Какие?

— Если люди идут за вами, соберите их вместе.

Вожак призадумался. Желая выиграть время, Алламурад сказал:

— Тогда идемте к столу.

— Стоит ли? — спросил Атабаев. — Сам знаешь, мы же не разжиревшие царские чиновники, не хотим, чтобы нам кланялись издали. Приятнее смешаться с народом, вести разговор попросту.

Огорченный находчивостью Алламурада, который успел его опередить, Нарли

восторженно поддержал Атабаева:

— Вот это верно, Кайгысыз! Правильно сказал!

И он сделал знак своим сторонникам, приглашая их подойти поближе. Позвал своих и Алламурад. Люди не спеша поднялись на ноги и приблизились, однако каждая группа осталась на расстоянии от другой, будто боялась испачкаться. Женщины по-прежнему сидели на корточках. Желая доказать свое рвение, Нарли крикнул:

— Что вы там расселись, будто играете в джонкиджок? Пошевеливайтесь, чтобы вас!..

Атабаев неодобрительно покачал головой.

— Хов, Нарли-ага, разве так можно? Надо действовать полюбезнее, по обстановке...

— Чем строже держишь женщину, тем она мягче.

— Может, прошли те времена?

— Для нас не прошли, — отрезал Нарли.

Пререкаться с ним не было времени.

— Дорогие друзья! — сказал Атабаев, обращаясь к собравшимся, — мы знаем, что в ауле продолжаются раздоры между родами и племенами. Ссоры эти радовали царя, он хотел видеть наш народ слабым. Казалось бы, свергли царя — и спорам конец. Но при-Бычка подобна сорной траве-чаиру с глубокими корнями: ее сразу не вырвешь... Ваш аул дважды собирался на выборы, а договориться вы все не можете. А вы не хуже меня знаете, что «у дружных один бог, он-то и побеждает врагов». Никогда и никому ссоры не приносили пользы. Они ведут к нищете и разрухе. В наши дни раздоры особенно опасны. Я вот смотрю на вас: у одного голое плечо сверкает из лохмотьев, у другого не считаешь заплаток на штанах, у третьего в брюхе урчит от голода. Но не Есе живут одинаково. Если у богача полные мешки в закромах, у бедняка из мешка и пылинки не выбьешь...

— Ты, сынок, ясновидящий? — перебил Атабаева старик в докрасна порыжевшем тельпек<sup>2</sup>.

Хотя Атабаев не любил, когда его прерывали, но это замечание ему понравилось.

— Как тебя зовут, ага? — спросил он.

— Непес.

— Так вот, дорогой Непес-ага, кто знает жизнь, тому не нужны волшебные чары. Я ведь не с неба свалился, а вырос в крестьянской семье. Жизнь дехканина — для меня понятная книга.

— Чтоб лицо твое и глаза твои не видели беды, сынок, — сказал Непес.

— Для меня не тайна. — продолжал Атабаев, — что если у одного крестьянина есть тощая кобыла, то у другого нет и дохлого козленка. А у третьего омач и борона, но нет семян. Для чего же пахать? Среди тех, кто здесь собрался, на одного бая — двадцать батраков! Кто же поверит в справедливость аллаха, если он делает одного богатым, а сотни нищими? И споры в вашем ауле идут на пользу не вам, а баям, богачам...

Какой-то верзила в маленькой шапочке поднялся с земли, поморгал глазками и сказал:

— Хоть мы видим тебя в первый раз, Кайгысыз, но понимаем, что ты человек удивительный.

По привычке Атабаев спросил и у него имя.

— Ай, какое это имеет значение! Меня зовут Токар Тахир.

— Чем же я удивил тебя, Токар?

— Ты будто залез в наши души, а потом выбрался наружу.

— Тебе не понравились мои слова?

— Потому и говорю, что понравились.

— Выходит, ты не по своей воле связался с одной из групп в вашем ауле?

— Э, где бы я не садился — разницы нет. По правде сказать, наши споры и раздоры съели мое мясо, теперь дело дошло до костей.

---

<sup>2</sup> Тельпек — шапка.



Токар надвинул свою шапчонку на брови и сел на место.

— Сейчас первое дело, — сказал Атабаев, — поднять бедняцкое хозяйство. Пусть у всех будут земля и вода, орудия и семена. Кто поможет? Советская власть! Вы найдете опору в ней, а она — в вас. Нет нужды скрывать, что сейчас Советская власть ждет вашей помощи. Кто же придет на помощь народной власти, как не сам народ? А когда кончится война, Советская власть сделает так, чтобы руки крестьянина дотянулись до всего лучшего, что создано на земле.

Со всех сторон послышались возгласы:

— Пусть услышит бог твои слова!

— Мы верим тебе, добрый человек...

— Я к вам приехал не поучать, а только напомнить о важном. Я говорю по поручению партии и Советской власти, говорю о том, что вы и сами знаете. Может есть вопросы? Задавайте, не стесняйтесь...

Бородач, у которого в дырах грязной бязевой рубахи просвечивало тело, показал на свои лохмотья.

— Не я один в рваной одежде, Кайгысыз! Дело известное: сначала денег не соберешь, а соберешь, так к товару не подступишься. Пойдешь к купцам, что ездят в Хиву, такую цену заломят — забудешь, как родную мать звать. По слухам ты старый кооперативщик, разве не твоя забота сменить на нас эту рвань?

— Из-за войны у нас не хватает хлопка, — ответил Атабаев. — Хотите обновить одежду — объединяйтесь с соседями, засевайте побольше полей хлопчатником.

Бородач даже закачался из стороны в сторону от возмущения.

— Вы только посмотрите на него! Я ему говорю, что я одинокий, а он спрашивает сколько у меня сыновей!

Атабаев расхохотался.

— Я тоже могу вспомнить поговорку: «Для тебя, говорю, дочка, — но и ты прислушайся, невестка». Отвечая тебе, я только напомнил всем крестьянам, как следует бороться с нуждой. А насчет твоей рубахи... Могу сказать, что из Ташкента по нашей просьбе сюда отправлено несколько вагонов мануфактуры. Распределим ее между всеми. Прошло время рваных рубах!..

— Вот за это спасибо!

Понимая, что вопросы подобного рода поставят его в затруднительное положение, Атабаев резко повернул разговор.

— А теперь к делу. Давайте выберем в сельсовет самых толковых людей, которыми все сельчане будут одинаково довольны. Они сумеют быстро поправить все хозяйство.

— Молодец! Умный совет, — одобрил Непес.

Остальные молчали. Не смущаясь этим, Атабаев продолжал:

— Подумаем, сколько человек будет в нашем сельсовете и приступим к выборам.

Алламурад рванулся к Атабаеву.

— Товарищ Кайгысыз, в ауле весь спор идет из-за председателя. Давайте и начнем с него.

— У нас другая установка.

— А разве установки ставят не такие же люди, как мы с вами?

Душу Нарли раздирали противоречивые чувства. Ему не хотелось соглашаться с Алламурадом и, в то же время, было выгодно согласиться с ним. Наконец, он крикнул:

— Я поддерживаю Алламурада. Только на этот раз поддерживаю! И при том от всего сердца.

— Ну, что ж, — сказал Атабаев, — будь по-вашему. Если решил народ — сдери шкуру с коня.

## Кайгысыз партизанит

Это не по правилам, — шепнул Алесковский.

— Не беда, так же заговорщицки тихо ответил Атабаев, — Можно обойти и правило, коли добьемся своего.

— Ты тут партизанишь.

— Условия войны партизанские.

— И что же получится?

— Одна сторона выдвинет Алламурада, другая Нарли. А мы выберем третьего.

— Каким образом?

— Дело само покажет,

— Не было бы худа!

— Хочешь вести собрание сам?

Рабочий Иванов что-то шепнул Алесковскому, тот повернулся к Кайгысызу.

— Доверяем твоему опыту.

Вынув из гимнастерки тетрадку и карандаш, Атабаев сказал:

— Называйте людей.

Слева дружно крикнули:

— Алламурад!

Справа еще громче:

— Нарли!

— Какие еще есть предложения? — спросил Кайгысыз.

Никто не произнес ни слова.

— Что же молчите?

— Видно, так бог велел, — тихо сказал Токар.

— Ты бы придержал язык, Токар! — крикнул Нарли.

— Токар верно говорит! — откликнулось несколько голосов.

— И когда только заткнутся эти проклятые глотки! — негодовал Нарли.

Стало совсем тихо. Заглянув в тетрадку, Атабаев сказал:

— У меня записано только два имени. Смотрю я на вас и вижу — аул один, а в нем два лагеря. И сидите вы так, что между вами может проехать груженная арба. Хотел бы я знать, как один лагерь смотрит на предложение другого? Вот слева назвали Алламурада, что о нем скажут справа?

Куджук-хан поспешно откликнулся:

— Мы против! Единогласно.

— Если те, кто сидят слева, согласны выбрать Нарли, пусть поднимут руки.

Сторонники Алламурада будто околели.

— Видите, что получается, — сказал Атабаев, — начнем голосовать и один из кандидатов соберет три или четыре лишних голоса. Половина аула останется недовольной. Председатель будет враждовать с доброй половиной аула, И опять начнутся распри, опять пострадает все ваше хозяйство. Какая неразбериха! Вот поэтому комиссия считает, что нечего и голосовать за этих кандидатов.

Куджук-хан шевельнул усами.

— Почему?

— Я только что объяснил.

— Мы не можем выставить другого человека.

— Называйте из группы Алламурада.

— Не желаем никого из них!

— Может в группе Алламурада назовут другого кандидата?

— Нет, — ответил чей-то робкий голос.

— Повторяю, избирательная комиссия не поставит на голосование предложенных кандидатов.

— Еще раз объясни причину!..

— По мнению комиссии именно эти люди мутят аул и натравливают дехкан друг на

друга.

Нарли шагнул к Атабаеву, сдвинув на затылок свой тельпек.

— Думай, что говоришь, Кайгысыз!

— Я и говорю тебе в лицо, что думает комиссия.

— А я и знать не желаю вашу комиссию!

В глазах у Атабаева потемнело и он сказал то, чего не следовало говорить:

— Комиссия уездного исполкома лишает избирательных прав Нарли и Алламурада, как баев, сеющих вражду между крестьянами! Предлагаю им сейчас же покинуть собрание!

— Труп мой покинет это собрание! — закричал Нарли.

— Даю три минуты срока. Если не покажете свои затылки — расстреляю именем революции! — И Кайгысыз схватился за револьвер.

Алесковский дотронулся до его локтя, но Атабаев ничего не чувствовал. Глаза его округлились, загорелись красноватым огнем. Старики, поняв, что ждать добра не приходится, уговорили Нарли и Алламурада уйти.

Куджук-хан вскочил на ноги.

— Если прогнали Нарли-ага, нам на этих выборах нечего делать! Пошли! — крикнул он своим.

Атабаев повелительным жестом остановил его.

— Куджук-хан, я не называл тебя врагом. Если в твоей голове сохранилась хоть капля разума, если жалеешь свою молодую жизнь, — садись! Но только попробуй поднять смуту, не говори потом, что не слышал, на марыйской земле даже праха твоего не отыщут!

Не дожидаясь, пока его потянут за полу, Куджук-хан опустил на землю.

Наступила тягостная тишина. Овладев собой, Атабаев снова обратился к крестьянам:

— Не судите меня за горячность. Я не для себя ищу пользы. И за оружие схватился, чтобы помочь вам. Чистую пищу может испортить одна муха. Два человека тащат на дно все село. Поймите, пришло советское время. Вы сами хозяйева своей судьбы. Так выбирайте же в председатели человека с совестью!

Но запуганный баями народ не решался вымолвить ни слова. Наконец, старый Непес сказал дрожащим голосом:

— У этих людей, сынок, рты запечатаны воском.

— Только сегодня?

— Еще со времен царя...

— Много воды утекло с тех пор.

— Пуганая птица и куста боится, сынок. Сдается мне, что ты пришел на радость народу. Не каждый смельчак решится так расправиться со своими врагами.

— Если хвалить человека в лицо, он зазнается, Непес-ага...

— По-моему, ты не из того теста, что может прокиснуть. Даже лицо твое похоже на свежий розовый чурек!..

— Ай, Непес-ага, ты вгоняешь меня в краску!..

— Видишь, что рты у всех запечатаны, возьми и выбери сам председателя... Все понимают, что ты не желаешь зла крестьянам.

— Я могу ошибиться.

— Твой ошибочный шаг в тысячу раз лучше прыжка Нарли.

Атабаев и сам подумывал, что ему следовало бы предложить кандидата, но не знал, как подойти к делу. Непес облегчил ему задачу.

— Ну, что ж, — задумчиво сказал Атабаев, — попробуем. Есть у меня на примете человек, должен бы всем понравиться...

— Кто такой? — грубо перебил его Куджук-хан.

— Конечно, не Куджук-хан.

— Я так и думал.

— Тогда немножко потерпи. По правде я и сам не знаю этого человека. Но если меня не обманывает опыт, он честный и справедливый человек, Я предлагаю выбрать Токара

Тахира-оглы.

И странное дело, люди, которые целый день провели в безмолвном оцепенении, вдруг захлопали в ладоши. Со всех сторон послышались одобрительные возгласы:

— Вот это верно!

— Токар сам не съест чужого и никому не позволит,

— Да есть ли за ним какой грех, кроме бедности?

Токар поднялся с земли.

— Что же ты сделал, Кайгысыз?

— Хорошее дело.

— Как же будет управлять аулом тот, кто не умеет двух козлят связать за рога?

— Односельчане помогут, будет легче.

— Сам дурак виноват, — приговаривал Такыр, — лезу вперед, задаю вопросы!.. Не зря говорят: «брехливая собака хозяину гостя приведет». Нет, братцы, нет! Не могу брать такую заботу на свой загривок!

И снова закричали со всех сторон:

— Народ решит, и не то сделаешь!

— Давайте голосовать!

Подняв руку, Атабаев усмирил крикунов.

— Кто хочет, чтобы Токар Тахир-оглы стал председателем — поднимите руки!

Лес рук взвился в воздух. Голосовали даже закутанные до бровей женщины.

— Опустите, — скомандовал Кайгысыз. — Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.

Токар-оглы выбран единогласно.

Громкие аплодисменты заглушили его голос.

Алесковский ударил Атабаева по плечу.

— Ну и партизан!

— Ты не печалься, что я партизан! Ты радуйся, какой нынче дружный Конгур.

## С кем работать?

Третий день подряд — в середине ноября 1919 года — заседал в Асхабаде облревком. В махорочном дыму тонули заросшие щетиной лица рабочих, солдат, которые пришли сюда из железнодорожного депо, из мастерских, с мельниц, из бронепоездов и теплушек За-каспийского фронта. Это были большевики, — чьими руками утверждалась в Закаспии власть Советов. Председатель ревкома — Бирюшов, члены ревкома — Паскуцкий, Янсон, Певзнер. Вместе с ними за столом Кай-гысыз Атабаев — его хорошо знали мервские большевики, с ним подружился на политработе в частях Красной Армии Николай Антонович Паскуцкий. Молодого коммуниста избрали заместителем председателя — высокий пост! Атабаев высился за столом, — подтянутый, тщательно выбритый, молчаливый.

Третий день обсуждался главный вопрос — о привлечении новых кадров советских и партийных работников из числа грамотных туркмен. Где же они, эти люди? Как без них разговаривать с народом?

Иногда Паскуцкий выходил в соседнюю комнату. Там стояли телефоны, там в углу сидел у военно-полевого аппарата телеграфист. И прямо с ленты Николай Антонович, над головой пожилого моряка, читал сообщения с фронта.

Дела шли хорошо, да только не так быстро, как хотелось бы.

Медленно, но верно, будто считая перегоны, белогвардейцы отступали, оставляя за собой станцию за станцией. Они уже перевалили за Кизыл-Арват. Уходя, разрушали железнодорожные пути, и Красная Армия должна была наносить фланговые удары, обходя противника по безводным пескам. В пустыне вода нужна не только людям, но и коням. Конь в пустыне — птица без крыльев. Только верблюд может с неделю под палящим солнцем обходиться без воды. К тому же и арбы увязали в песках. Для доставки патронов и хлеба войскам нужны были корабли пустыни — верблюды. Но их в истощенном разрухой краю

осталось маловато.

А на освобожденной земле устанавливать советские порядки было не легче и, возвращаясь в прокуренный зал заседаний, Паскуцкий слушал третий день бесконечные прения. Сейчас один из русских товарищей предлагал подготовить обращение ко всем офицерам, служившим у белых, — прийти в советские учреждения, перестать скрываться, получить работу и трудиться не боясь, что их будут обвинять за прошлые ошибки.

— Кто ножом не грозит Советской власти, всех призвать!

— Даже полковника Ходжагельды Ходжамурадова?.. — спросил с усмешкой один из членов ревкома.

— Кто он такой?

— Где он сейчас?

Председатель ревкома разъяснил товарищам:

— Это бывший член Асхабадского белогвардейского правительства. По нашим сведениям ушел в Персию.

— Что мы знаем о нем?

— Увидим — узнаем... Товарищи, умные люди говорят: легче править арбой на горных кручах, чем управлять страной, не зная ни языка, ни обычаев.

При этих словах Бирюшова впервые встал со своего места Кайгысыз Атабаев. Три дня он молчал и все привыкли к этому.

— Скажите, товарищи, за что мы проливаем кровь на фронтах?

«Вопрос, как говорится, с шипами», — подумал Паскуцкий, но, зная характер Атабаева, промолчал. Бирюшов тоже опешил — такой вопрос мог задать только пришедший из аула пастух. А ведь новый товарищ — как будто просвещенный и культурный человек, к тому же политработник.

Однако надо быть вежливым с местным человеком, не обидеть, не оттолкнуть, и Бирюшов, искоса поглядев на Паскуцкого, мягко ответил своему новому заместителю:

— Вопрос детский и не хочется по-школьному отвечать на него. Выскажитесь пояснее, Константин Сергеевич.

— Я хочу понять; мы проливаем кровь солдатскую, чтобы навеки похоронить остатки феодализма или...

— Что или? — спросил Бирюшов.

— Или ради восстановления власти ханов?

Всем, кто находился в зале заседания, уже было ясно, что разговор идет о Махтумкули-хане. Этот вопрос, конечно, давно назрел, только никто из русских руководителей ревкома не решался его поставить. Дело заключалось в том, что в первые дни советизации, когда с местными кадрами было совсем худо, на помощь облревкому вызвался некто Махтумкули-хан. Кайгысыз знал, что этот древний старик в далекие времена был начальником Тедженского уезда, поговаривали, что он прославился у местного населения своей свирепостью, и годы его правления назывались в аулах «годами Махтумкули-хана». А теперь ему отвели один из лучших дворов в Асхабаде, чтобы он от имени Советской власти доводил до сведения населения новые законы и постановления, разъяснял их, как бы соединяя народ с Советами. Сидя на ковре, поджав под себя ноги, он поглаживал длинную черную, с яркой проседью бороду, потягивал зеленый чай, покуривал кальян и разбирался в делах своих посетителей: к нему шли со всякими житейскими распрями, и он рассуживал спорщиков не по-советски, а по своему усмотрению. Кайгысызу казалось, что как встарь запугивал тедженцев, так и теперь Махтумкули-хан распоряжался душами туркмен в Асхабаде.

Слушая резкий спор за столом ревкома, Паскуцкий понимал, что бывший царский наместник в Теджене пока что нужен. И, улыбнувшись, он решил замирить своих товарищей:

— Туркмены так и говорят: халат, скроенный по совету с друзьями, будет впору. По-моему, Константин Сергеевич понимает, что тут была только тактическая цель: временно

воспользоваться авторитетом старого человека...

— По-моему, товарищи, такая политика ошибочна, — твердо возразил Атабаев.

— Ошибочна? — Бирюшов даже встал с места, так озадачил его смелый и слишком самостоятельный тон молодого, вчера еще безвестного работника.

— Повторю где угодно, — ошибочна! — не снижая голоса, подтвердил Атабаев.

Бирюшов молча перебирал бумаги и карандаши на своем столе, наконец спросил дрогнувшим голосом:

— Вы отдаете себе отчет в том, что говорите? Ведь этот вопрос согласован с ТуркЦИКом!

— Стоит ли горячиться? — спокойно возразил Атабаев. — Как всякий член партии, а тем более — ваш заместитель, я имею право высказать свое мнение. И, конечно, должен его аргументировать. А если я неправ, мне докажут, что я ошибаюсь. Мы обязаны выполнять решения ТуркЦИКа и Турксовнаркома, но также обязаны твердо стоять на своем, если видим, что нас направляют неверно. Мне кажется, что ТуркЦИК допускает в этом вопросе большую ошибку, и ошибка эта не случайна,

— Перегибаете! — громко крикнул Бирюшов.

— Нисколько!

— Сомнения подобного рода не приведут вас ни к чему хорошему!

— Я говорю не на базаре, а среди партийных товарищей. А свое мнение я уже сообщил в Турккомиссию.

Бирюшов сел за стол, уперся подбородком в ладони. Член ревкома Янсон спросил:

— Так в чем же ошибка ТуркЦИКа?

— В том, что желая подправить бровь, он выбивает глаз.

— Образно, но непонятно.

— Желая воспользоваться авторитетом Махтумкули-хана, мы только увеличиваем его престиж в глазах населения. Но действительный авторитет есть только у Красной Армии. Она его завоевала кровью. А мы по собственной доброй воле снова нацепляем на плечи Махтумкули царские погоны. Так сказать, украшаем кобеля жемчугами.

— Поразительная новость! — Янсон расхохотался. — Вы думаете — ТуркЦИК этого не понимает?

— А вы-то знаете, кто такой Махтумкули и какой у него авторитет?

— Конечно, знаю. Он сын Нурберды-хана.

— А еще что?

Все замолчали.

— Махтумкули-хан — маленький помещик с артезианскими колодцами между Кель-Ата и Бахарденом. Кроме десятка батраков, работающих на этих кяризах, о нем как следует никто не знает. Когда-то он был грозой Теджена, но об этом давно позабыли. А сейчас, — неужели вы не видите, — что сейчас жалобчики идут не в Совет, а к Махтумкули-хану? В народе говорят, что он вот-вот станет ханом над всеми туркменами. Еще год и сбросить Махтумкули-хана будет не легче, чем прогнать белых!

Наконец, в спор вмешался и Паскуцкий:

— Да, вопрос назрел. Видимо, придется...

Бирюшов явно растерялся.

— Что же мы скажем ТуркЦИКу? — спросил он,

Николай Антонович ответил:

— Надо иметь в виду, что Махтумкули-хан еще в декабре 1917 года выступил в поддержку Советской власти, а это сыграло большую политическую роль в силу авторитета Махтумкули-хана среди населения. В годы гражданской войны он выступал против Ораз-сердара и Овезбаева, призывавших к «священной войне» против большевиков. Про это нельзя забывать. Другое дело, может быть, пришла пора отказаться от услуг Махтумкули-хана.

— Время покажет, кто был прав, — упрямо повторил Атабаев.

Желая покончить со спором, Бирюшов спросил:

— Что же, по-вашему, делать с Махтумкули-ханом?

— Самое лучшее — завтра же выслать отсюда, — «быстро сказал Атабаев, — или арестовать!

— Арестовать?!

На этот раз Николай Антонович не согласился с Атабаевым.

— До сих пор вы говорили верно, но это... ни в какие ворота! Это не послужит нам на пользу.

— Если завтра мы выведем Махтумкули-хана на площадь и расстреляем, никому не будет до этого дела. Волнений не произойдет.

Паскуцкий даже всплеснул руками.

— Ну что с вами делать, Константин Сергеевич! Неистовый вы человек! Вам мало, что наши враги клеветают на нас, возводят всяческие небылицы? Вы хотите укрепить их позиции? Чтоб они говорили, что большевики с почетом приняли Махтумкули-хана, а назавтра его расстреляли. Один аллах знает, какие зверства они совершат завтра!.. Прекрасная агитация за новый строй!

Атабаев, который до сих пор держался очень напористо и хладнокровно, сейчас смутился.

— Это верно... — задумчиво сказал он. — У меня плохой характер. Иногда гнев опережает разум.

— Если верно, то мы поручим вам же вежливо выпроводить Махтумкули-хана домой.

— Вежливо? — удивился Кайгысыз. — Вы хотите волку поручить овцу?

— Волк нам скажет: пусть баранина перестанет быть вкусной и я перестану ее есть! — пошутил Паскуцкий.

Все засмеялись вместе с ним, и в зале, наполненном махорочным дымом, как-то легче стало дышать.

— А Овезбаев? — спросил Паскуцкий Атабаева. — «Где он нынче?

— Одну минутку! — сказал Атабаев и вышел,

См быстро вернулся вместе с невысоким хмурым человеком.

— Сейидмурад Овезбаев — штабс-капитан царской армии, у белых командовал Ахал-текинским кавалерийским полком, — представил вошедшего Атабаев.

Члены ревкома с интересом смотрели на офицера, Паскуцкий на фронте много разговоров слышал о нем. Кто-то даже послал к нему конного с приглашением, как только Асхабад был освобожден от белых, но Овезбаев тогда не явился. Угрюмый, с красноватыми утомленными веками, с сильной проседью, он казался сейчас придавленным, несмотря на бравую военную выправку. Однако держался независимо, с большим достоинством.

Поймав вопросительный взгляд Бирюшова, Атабаев заговорил:

— Я еще раз послал человека за Сейидмурадом, чтобы он сам сказал нам, хочет ли работать... Пусть хоть в крайнем случае придет, покажется нам.

Паскуцкий с интересом смотрел на Атабаева. Какая интуиция! Вряд ли Овезбаев стоит ближе к Советской власти, чем Махтумкули, но он человек другого поколения, другой культуры. Сейчас он полезен. Похвально, что Кайгысыз это понял или учуял.

— Я знаю, что Овезбаев был не только против интервенции, но и имел крупный конфликт из-за «инглизов» со своим начальником Ораз-сердаром, — сказал Паскуцкий. И меня очень радует, что сегодня он появился у нас.

Овезбаев слушал его, опустив голову. Ему хотелось сказать, что не следует хвалить туркмена в глаза — может зазнаться. Но он постеснялся шутить с незнакомым.

Атабаев знал штабс-капитана не понаслышке, как Паскуцкий, ему несколько раз приходилось встречаться с ним, и теперь он доволен, что может привлечь к советской работе этого человека. Вот это уже — не тедженский уездный начальник! Овезбаев хорошо знал быт и устои своего народа, в то же время был европейски образованным человеком. Конечно, коммуниста из него не сделаешь. Но человек он неплохой — и народ вспоминал о нем

доброем...

Бирюшов считал дело конченным и задал только один вопрос офицеру:

— Облревком, а точнее — туркменский народ нуждается в вашей помощи. Где бы вы хотели работать?

— Простите, господа, но если бы я искал работу, яг появился бы у вас раньше, — уклончиво ответил Овезбаев. — Я гошу сейчас у Кайгысыза...

— Я верю, что ваша совесть не позволит вам отказываться от работы, когда весь народ нуждается в вашей помощи, — заговорил Паскуцкий. — Не уклоняйтесь, говорите прямо: какая работа вам по душе?

— Я человек военный, Николай Антонович.

— Тем более. Вы не первый офицер, который будет помогать Советской власти.

— Боюсь, что в голове у меня сейчас полная путаница, хотя знаю, что для туркмен, которые угнетались веками, спасение только в Советской власти.

— Вот это и главное! — живо подхватил Атабаев.

— А потом, как бы у меня и с вами не получилось, как с Тигом Джонсом, — рассмеялся Овезбаев.

— Вы что же, сравниваете Советскую власть с интервентами? — хмуро спросил Бирюшов.

— Нет! Ни во сне, ни наяву такая мысль не пришла бы мне в голову. Каким бы ни был я путаником, кто бы я ни был, — я понимаю, что туркменам один путь — с большевиками.

— Ну, если так...

— Думаю, что не сумею привыкнуть к новому режиму.

— Как знать...

Снова вмешался Атабаев:

— Если ты не знаешь, Сейидмурад, — я знаю! Пока что, товарищи, надо поручить Овезбаеву самый ответственный участок: областной наробраз.

И тут же, вместе с Овезбаевым, члены ревкома заговорили об этом коренном вопросе. Они говорили о том, что на тысячу туркмен в ауле приходится один грамотный, о том, что надо торопиться открывать школы повсюду. Но нет ни учебников, ни учителей. Дети занимаются в черных кибитках или землянках, их учат муллы, ишаны — и едва ли научат даже читать и писать.

— Что ж, и ишанов начнем переучивать, — сказал Атабаев. — Откроем в городах учительские курсы, позовем всех, кто с нами захочет работать...

## **Мечта слепого— иметь два глаза**

Тедженский наробраз! Тедженский наробраз! Вас вызывает Асхабад, у телефона Атабаев... Говорите...

Мурад Агалиев прислушался. Монотонную переключку бессонных телефонисток сменил знакомый, только сильно искаженный шорохом и писком проводов, голос старшего друга.

— Никого нет! — кричал Атабаев. — Никто не прибыл! Из Мерва все-таки прислали трех плохоньких мулл, из Нохура — одного лысого кази. Из твоего Теджена нет никого! Ты головой ответишь, Мурад! Вызовем на бюро! Имей в виду — учительские курсы сейчас не менее важны, чем взятие Красноводска!

— Понимаю! Только зачем вам наш суемудрый и, криводушный мулла из Теджена? — надрывался в ответ Агалиев.

— Потому что школы нужны! Нет школ! Кто будет учить?

— Муллы не хотят ехать на курсы! Силой заставлю, что ли?

Асхабад молчал ровно секунду, и хриплый голос внятно отозвался:

— Веди ишака к грузу. А если не пойдет — сам носи груз к ишаку.

— Тоже мне студенты! — кричал молодой заведующий Тедженским уездным



наобразом. — Они по корану хотят учить, что с них толку!

И снова ровно секунду взял себе на раздумье Асхабад.

— Пословица говорит: вода утечет — камень останется.

Так в ночном телефонном разговоре, в октябре 1919 года, на далекой окраине Советской страны туркменские слова мешались с русскими, старые пословицы с советскими новообразованиями, вроде «ликбез» и «шкрабы». Атабаев очень волновался — видно, не было сейчас ничего для него важнее, как открывать школы в освобожденных туркменских аулах, делать туркмен грамотными,

— У нас в аулах есть даже коммунисты неграмотные! — кричал он в ту ночь. — Грамота, грамота нужна народу! — Он задыхался и кашлял в трубку. — Зайца на арбе не поймашь!

Агалиев молча слушал, узнавая прежнего Атабаева, — того, кто митинговал в продовольственных комитетах Туркестана, кто потом вел красноармейцев в атаку. Он еще послушал и тихо повесил трубку.

— Замётано... — сказал он самому себе по-русски. — Где начальник милиции? А ну-ка, если их... по команде «Смирно».

Продолжение этого разговора состоялось уже в Асхабаде, когда спустя две недели заместитель председателя облисполкома внезапно явился в бывший офицерский клуб. Атабаев даже не успел позвать с собой Овезбаева, в портфеле — несколько жалоб. Присланные Агалиевым почтенные муллы были возмущены тем, что их направляют на ниву просвещения чуть ли не под конвоем милиции.

Клуб когда-то был поставлен на широкую ногу: стены обиты штофом, библиотека, бильярдная, тенистый сад с фонтанами. Сейчас все находилось в запустении и, войдя в дом, Атабаев застал странную картину: два старца спали на зеленом сукне бильярда, подложив под голову порыжевшие тельпеки. На том же столе еще трое, согнувшись в молитвенных позах, творили намаз. Другие курсанты умывались у открытых окон, сливая воду из чайников прямо на улицу. Были и такие, что просто валялись на затертом паркетном полу, читали, подсунув под локоть подушки.

Заведующий курсами Ибрагим Гусейнов, знакомый Атабаеву еще по Ташкентской семинарии, смутился, увидев на пороге большого по новым временам начальника.

— Мне стыдно, Кайгысыз Сердарович! Ну, что поделаешь с этим охвостьем феодализма? Видите — творят намаз.

— Что за беда? Пусть творят, — небрежно ответил Атабаев.

— По-вашему, можно? — глаза Гусейна даже округлились от удивления.

— Изменить сознание людей, дорогой Ибрагим, немножко потруднее, чем выплеснуть из чайника старую заварку и засыпать новую. Вы согласны со мной?.. Нужны годы, нужна работа. Постарайтесь их воспитывать так, чтобы те, кто сегодня творит намаз, завтра посмеялись над собой.

— Какой из меня воспитатель.

— Однако сегодня под началом у вас вся завтрашняя туркменская школа.

— Это точно, только...

— Что же неточно?

— Они боятся есть в нашей столовой.

— Почему?

— Боятся, не свинину ли им варят...

Кайгысыз улыбнулся.

— О свинине и толковать нечего! Но даже говядину изгоните с кухни! Показывайте им перед обедом бараньи головы и ножки... На каждый день назначайте дежурного по кухне из их среды... И чтоб больше никто не спал на полу!

— Да откуда же взять кровати?!

— Об этом я позабочусь. Разве это курсы? Какая-то ночлежка! И как вы, человек, окончивший учительскую семинарию, можете такое терпеть?

Гусейнов развел руками.

— Революция, Кайгысыз Сердарович...

— Вот это верно! — снова улыбнувшись, Атабаев похлопал его по плечу.

Он прошел по комнатам. Бородатые и уже немолодые люди, одетые в длинные, до колен белые рубахи, белые штаны и пестрые халаты, бродили по дому, чувствуя себя очень неловко на положении учеников. Тут, в одной из комнат, и догнал Атабаева Мурад Агалиев, вызванный им из Теджена.

— Как тебе удалось мобилизовать всех тедженских грамотеев? — прищурясь, спросил Атабаев.

— Твоими методами.

Кайгысыз смутился, пробормотал:

— Вот уж никогда не задумывался над своими методами.

— Партизанщина, — тихо пояснил Мурад.

— Дошло про выборы арчинов в Комгуре? — также тихо спросил Атабаев.

— Про это не слышал, но люди в аулах знают твои привычки.

— И обижаются?

— Не очень. Верят в твою справедливость. Даже иной раз грозятся: работой на совесть, а то Атабаеву скажем...

Кайгысыз задумался, потом, полуобняв Мурада, спросил:

— Как по-твоему, часто я ошибаюсь?

— Вероятно, ошибаешься, но душой не кривишь,

— И то хорошо! — повеселев, сказал Атабаев.

Мураду показалось забавным простодушное беспокойство старшего друга, он пошутил:

— Валяй! Скачи на своем коньке, получишь много призов.

— Молод еще издеваться над старшими! — в тон Мураду ответил Атабаев.

Курсанты, узнав кто приехал, стали собираться вокруг него как птицы на кормежку, слышался шепот: «Это тот самый Атабаев!»

— Как живете, товарищи? — спросил Кайгысыз. — Чего не хватает?

— Неплохо! — послышались голоса.

— Привыкаете к занятиям?

— Эсен-мулла поневоле заставит привыкнуть, — шутливо отозвался сутуловатый кази с бородой, точно привязанной к лицу, как торба к лошадиной морде, — Эсен-мулла, как начнет объяснять, — что пуд состоит из сорока фунтов, а аршин из шестнадцати вершков, — у него самого борода взмокнет, и нас пот прошибает.

— Эсен-мулла... — Атабаев помнил этого старого учителя еще по Бахарденской школе... — И до сих пор он учит?

— Эсен-мулла преподает русский язык... Ну, заодно и арифметику, — сказал Гусейнов.

Атабаев понимал, что на курсах дело поставлено не блестяще. Но никого не пугало в те годы бытовое неустройство, Среди курсантов и дома не все спали на кроватях.

— Есть какие-нибудь вопросы? — спросил Атабаев.

Все промолчали, только вышел вперед бледный, кривой на один глаз мулла в зеленом халате.

— У меня вопрос: учиться тут собраны добровольно или по принуждению?

— Что хочешь сказать, ага?

— Я жду ответа на мой вопрос.

— Мы никого не отправляем в солдаты. Нет тут и тяжелых хошарных работ. Причем тут принуждение?

— Тогда почему в Теджене пишут, что, если не явишься в срок, пришлем за тобой милицию?

Атабаев покосился на Агалиева, но тот, будто ничего не слыша, поглядывал в окно, наблюдая, как с ветки на ветку перепархивают воробьи.

— Все получили такие письма, товарищи? — спросил Атабаев.  
— Ничего похожего! — зашумели со всех сторон.  
— Приехали по своему желанию.  
— Кадам-ишан не хочет учиться, вот и выдумывает.  
Бледное лицо Кадам-ишана залилось волной румянца.  
— Я выдумываю? А что за обедом говорил Сыддык-мулла? Где он?  
— Жалеешь, Кадам-ишан, что приехал на курсы? — серьезно спросил Атабаев.  
— Не то, чтобы очень жалею, — растерянно пробормотал Кадам-ишан, — только желудок не принимает здешнюю пищу.  
— Кормят свининой?  
— Тьфу! Избави аллах от свинины, а все-таки иной раз берет сомнение.  
— А ты помнишь, что написано в Саятли-Хемра? «Сомнения всегда преследуют жулика...»

— Разве запомнишь все, что читал смолоду? Не в этом дело: трудно привыкать к незнакомому месту.

— Выходит, ты не прочь вернуться назад?  
— А что может быть лучше родного дома?

Атабаев подозвал Гусейнова.

— Купите Кадам-ишану билет, снарядите в дорогу и завтра же его — на поезд. И так поступайте со всеми, кто считает для себя унизительным служить народу или у кого окажутся дома неотложные дела. — Он круто повернулся к курсантам. — Не стесняйтесь, товарищи. Может кто-нибудь хочет быть спутником Кадам-ишана?

Все молчали. Атабаев видел, что Кадам-ишан подталкивает локтем соседа, но тот, делая вид, что ничего не замечает, бормотал:

— Мы рады, что попали сюда.  
— Если гнать будете, не уйдем, — поддержал его чей-то голос.

Молодой парень ядовито заметил:

— Пусть уезжает один Кадам-ишан. Он за всех нас сумеет дома охаить новую власть.

Атабаев оглянулся и, не увидев ни одного стула, присел на подоконник.

— Дорогие товарищи, — начал он, — мне бы хотелось, чтобы вы поняли одну очень простую вещь. С помощью русских большевиков мы стали хозяевами своей страны. Безграмотные, темные люди — плохие хозяева,

И несмотря на то, что у Советской власти много неотложных нужд и еще очень мало средств, мы сочли необходимым в первую очередь в каждом ауле открыть школу. Мы должны торопиться. Если учить детей по Корану и по старым арабским книгам, пройдут годы прежде, чем они научатся читать и писать. А мы, повторяю, должны торопиться. Народ надеется на вас. Учитель — слуга народа. По-моему, нет большего счастья, чем служить своему народу. Я ведь тоже был учителем и жалею, что не могу сейчас снова вернуться в школу. Дети не забудут вас. Я и сам, если доведется побывать в Теджене, в ноги поклонюсь своему старому учителю. Думаю, что и вас полюбят дети. А дитя, как говорят мудрые, — сильнее шаха...

Аульные грамотеи, приученные к книжной витиеватости, заслушались простой речью Атабаева. Послышались голоса:

— Что верно, то верно.  
— От души сказал.  
— Надо нам и самим подумать, как учить по-новому.

— Ох, как много в самом близком будущем предстоит сделать нашим грамотным соотечественникам! — продолжал свои раздумья вслух Атабаев. — Это они излечат свой народ от трахомы и пендинки, навсегда прекратят набеги афганской саранчи, найдут нефть в недрах пустыни, научат пользоваться машинами на хлопковых полях. А там и воду, как верблюда на поводу, приведут в целинную степь. А там и ветер, и даже солнце заставят служить будущим поколениям... Будет у нас много электричества, товарищи!.. Только бы к

весне открыть нам четыре школы. И тогда дело пойдет... Верно говорю, товарищи?

Все молча кивали седыми головами. И один — за всех — сочувственно поддержал туркмена-большевика:

— Мечта слепого — иметь два глаза,

Атабаев даже опешил, как будто он сам придумал сейчас мудрую поговорку, — так хорошо и к месту она прозвучала в этом обшарпанном офицерском клубе в толпе мусульманских священнослужителей, приехавших на удивительную переподготовку. Кайгысызу захотелось что-то еще сказать — о мудрости этой самой поговорки, и он сказал вещи слова:

— Придет время, и мы, туркмены, возвеличим наш родной язык. Какие хорошие книги напишем — сами о себе! Какие сложим сердечные, звучные стихи.

Когда Атабаев уходил, уже у порога его нагнал Кадам-ишан.

— У меня к тебе просьба, Кайгысыз-сердар.

— Говорите.

— Забудем мой разговор о родном доме. Не было разговора.

Веря, что сейчас ишан говорит от сердца, Атабаев всё-таки решил быть с ним построже.

— Человек должен держать свое слово.

— Ив намазе бывает ошибка, Кайгысыз Сердаро-вич, — жалобно улыбнулся Кадам-ишан.

— Хорошо. Если руководители курсов оставят тебя, я не буду возражать.

Приложив руки к груди, Кадам-ишан отвесил низкий поклон.

## Письмо Ленина читают в Мерве

— Почему Мерв, а не Мары? Когда же мы станем называть наши города по-туркменски?..

— У нас в Теджене бедняк имел лошадь, занимался извозом, кормил семью. Пришел новый армеец и увел коня без всякой оплаты... Это что же за программа?

— Вот увидишь: как только начнут читать перевод на туркменский язык, — в зале поднимутся люди, пойдут курить, начнут разговоры... Не уважают нас!

— Они боятся дать оружие нам... А когда налетают басмачи и грабят аул и насилуют наших дочерей — где она — наша новая армия?..

Кайгысыз Атабаев стоял за столом президиума и слушал этот многоголосый шум в зале. Здесь, в Мерве, еще недавно был он банковским конторщиком, и для него огромной радостью было получить письмо от друга из Нохура. А сейчас он держит в руках письмо Ленина, и сам он приехал сюда, чтобы прочитать это письмо коммунистам Мерва и обсудить с ними текущий момент и задачи партии в Туркестане. Но как осложнилась жизнь! Мог ли он предвидеть, что все в жизни станет так непросто, так нестройно... И он за все отвечает, за все!..

В зале яблоку негде упасть! Это замечательно, хорошо. Давно ли Атабаев искал в чайхане «Елбарслы» человека, чтобы поговорить, отвести душу? А теперь вот сколько в Мерве коммунистов! В зале партийный актив — русские солдаты и немцы, чехи, поляки — бывшие военнопленные; и туркмены — аульные активисты. Разноязычный гул голосов... Все как будто недовольны друг другом, ссорятся. Многие мусульмане считают, что аульную бедноту обижают, а многие русские в свою очередь не доверяют мусульманам-коммунистам, венгры только и ждут, чтобы ехать на родину — там Бела Кун уже объявил Советскую власть. Кто же соединит всех этих людей, когда даже не понимают друг друга?..

Атабаев поднял руку, приглашая всех к вниманию и тишине.

— Товарищи, я буду читать письмо Ленина! Сперва мы услышим его по-русски, потом — по-туркменски, потом — по-немецки... Мы трижды прослушаем это письмо...

Он поднял глаза от листка бумаги. Ему показалось, что он остался один в зале: такая

была тишина. И он невольно улыбнулся этой тишине. Вот он — ответ, вот кто соединит! И так, с доброй, даже счастливой улыбкой, стал он читать коммунистам Мерва тот документ, который в первый же день перевел на родной язык и заучил наизусть, — как когда-то в Тедженской школе некрасовские стихи.

— «Товарищам коммунистам Туркестана, — читал Атабаев в притихшем зале. — Товарищи! Позвольте мне обратиться к вам не в качестве Председателя Совнаркома и Совета Обороны, а в качестве члена партии.

Установление правильных отношений с народами Туркестана имеет теперь для Российской Социалистической Федеративной Советской Республики значение, без преувеличения можно сказать, гигантское, всемирно-историческое.

Для всей Азии и для всех колоний мира, для тысяч миллионов людей будет иметь практическое значение отношение Советской рабоче-крестьянской республики к слабым, донныне угнетавшимся народам.

Я очень прошу вас обратить на этот вопрос сугубое внимание, — приложить все усилия к тому, чтобы на примере, делом, установить товарищеские отношения к народам Туркестана, — доказать им делами искренность нашего желания искоренить все следы империализма великорусского для борьбы беззаветной с империализмом всемирным и с британским во главе его, — с величайшим доверием отнестись к нашей Туркестанской комиссии и строго соблюсти ее директивы, преподанные ей, в свою очередь, от ВЦИК именно в этом духе.

Я был бы очень благодарен, если бы мне вы ответили на это письмо и сообщили о вашем отношении к делу.

С коммунистическим приветом В. Ульянов (Ленин)».

Зал минуту молчал. Потом дрогнул от аплодисментов. Люди вскочили с мест; были вместе туркмены, русские, чехи. Атабаев видел это... — так и должно быть.

В этот вечер он впервые заговорил о том, что у всех в Туркестане наболело.

— Товарищи! — говорил Атабаев. — Не понимаю я этого деления коммунистов по национальному признаку... — получается даже по религиозному признаку. Я еще недавно работал в мусульманском бюро Политотдела фронта. Может быть, в жестоких боях нужно было особую беседу вести с мусульманами, Но сейчас...

— Чего ты хочешь, Кайгысыз? Говори прямо! — кричали ему из зала.

— Я хочу, чтоб не было у нас трех краевых комитетов партии — один — для русских, другой — для мусульман, а третий — для зарубежных товарищей. Пусть будет у нас одна партия, как есть у нас один Ленин!..

И коммунисты Мерва в тот день одобрили мысль своего земляка — и решение городской партийной организации было отправлено в три адреса: в Асхабад, в Ташкент и в Москву.

Не прошло и двух месяцев, как молодому коммунисту пришлось отстаивать эту же мысль в ожесточенной схватке перед лицом закаленных деятелей партии. В качестве гостя приехал Атабаев в Ташкент на пятую партийную конференцию.

Вот она — Турккомиссия, прибывшая из Москвы! Кайгысыз до сих пор знал товарищей Элиаву, Голощекина, Куйбышева только по газетам — по статьям и речам, и сейчас с жадностью вглядывался в их лица.

О Куйбышеве говорят, что он очень скромный человек, а у него, оказывается, лицо трибуна! Высокий лоб, волна каштановых, откинутых назад волос, твердые, будто из камня высеченные черты, гордо откинутая голова. Рядом с ним хмурый, насупленный Рудзук, невысокий и большеголовый, с высоко поднятыми плечами, как бы ссутулившийся под бременем забот. А взгляд пронизательный и ясный, взгляд — большевика.

Когда на трибуну вышел Турар Рыскулов, председатель Туркестанского ЦИК'а, Кайгысыз Атабаев из зала дружески помахал ему рукой. Ведь это один из тех, кому удалось как бы выпрыгнуть из многовековой отсталости своего народа и повести его к новой жизни. О нем Кайгысыз слышал много и угадывал в его судьбе сходство со своею. Турар Рыскулов,

конечно, гораздо раньше получил революционную закалку. Сын казаха-скотовода, он так же, как и Кайгысыз, провел раннее детство в пыльных селениях, так же рано потерял мать. Отец его Рыскул участвовал в антифеодальном восстании казахов-бедняков и был брошен в тюрьму в Верном. Турару удалось устроиться дворником в тюрьму. И было ему тогда одиннадцать лет. Тюрьма воспитала его, разумеется, лучше, чем Кайгысыза тедженская школа: бойкого мальчика очень полюбили политические заключенные, научили русскому языку и грамоте, научили думать о бесправной судьбе своего народа.

Отца продержали в тюрьме больше года, а потом отправили в Сибирь Там он и погиб. А сироту Турара воспитывали дальние родственники. С их помощью он окончил сельскохозяйственное училище в Верном, а потом, когда уже стал садоводом, участвовал в восстании казахов против самодержавия, попал в тюрьму, вышел оттуда вместе с большевиком Чернышевым, организовал кружок революционно-настроенной казахской молодежи. В восемнадцатом году вступил в партию большевиков. Судьба похожая, но Турар успел сделать больше, потому что начал раньше, чем Кайгысыз. Сейчас, на конференции, он выступал докладчиком по национальному вопросу.

Когда-то дочь жандармского полковника дала Кайгысызу книжечку стихов. Стихи не понравились, совсем не похожи на Некрасова, но запомнилась одна строчка: "Покой нам только снится..."»

«Покой нам только снится...» Вот уже и отодвинулся Закаспийский фронт, близится к концу гражданская война, а жизнь, действительно, всё сложнее и сложнее, и надо думать за весь край, за всю советскую страну.

Грех жаловаться: Москва понимает всю трудность советизации Туркестана. Для этого создана особая Турккомиссия с полномочиями ЦК РКП(б) и Совнаркома. С письмом Владимира Ильича приехали испытанные большевики — вот они в президиуме. Им надо помочь, они должны разобраться в путанице местных конфликтов и противоречий. Долг коммуниста — помочь им в этом «Ох, это трудно сделать...»

Атаки басмачей, ужасающая нищета мусульманской бедноты, свирепая рознь между народами Туркестана, взлелеянная еще царским режимом... А главное — нет работающих людей, нет грамотных людей, светлых голов, способных разделить твои труды. Все это, как ком спутанных бечевек, где каждый узелок надо терпеливо развязывать по очереди. А время подстегивает, не позволяет медлить...

«Покой нам только снится...» С трибуны конференции Турар Рыскулов упрекает сейчас краевой комитет РКП(б) в неумении и — больше того! — в нежелании работать с мусульманскими коммунистами. Всё-таки странно это слушать, Почему же асхабадские коммунисты подчиняются своему областному комитету? Может быть, в Ташкенте больше мусульман и их труднее объединить? Но ведь Турар — большой человек, многоопытный политик. Почему же он предлагает назвать объединенную партийную организацию Республики — коммунистической партией тюркских народов? Атабаев даже крикнул с места.

— Почему?

Председательствующий Элиаза постучал карандашом.

— Я вам не давал слова.

— Но ведь Рыскулов не привел никаких аргументов в защиту своего предложения! Как гром с ясного неба! Вот я спрашиваю... Разве нельзя?

С мест поддержали Атабаева.

— Правильно требует!

— Пусть объяснит Рыскулов!

Элиава задержал Рыскулова, который собирался уже покинуть трибуну.

— Конференция требует, чтобы вы аргументировали свое предложение.

Смуглый, широкоскулый, с глубоко посаженными глазами, поблескивавшими под стеклами пенсне, Турар обычно бурно жестикулировал, убеждая слушателей больше, чем словами, своим неистовым темпераментом. И сейчас, недовольно передернув плечами, он

принялся объяснять, то крепко сжимая кулак, то простирая руку с вытянутым указательным пальцем.

— В Туркестане, как известно, живут туркмены и узбеки, киргизы и казахи, а также мелкие тюркские племена...

— Разве все это — не отдельные нации, а только соплеменники? — перебил его Атабаев.

— Никто из них не пользуется национальными правами.

— Так было при царе!

— И теперь так же.

— Неправда!

Элиава снова остановил Атабаева.

— Свое мнение сможете высказать, когда получите слово.

— Я повторяю, — продолжал Рыскулов, — туркмены, казахи, узбеки, киргизы сейчас, к сожалению, не ведущие социалистические нации. Однако почти все народы, живущие в Туркестане, говорят на тюркском языке. Какой смысл разбивать это содружество? Зачем разваливать их единство? Наоборот, я требую присоединения к Туркестану татар и башкир и создания Туркеспублики, а в ней Турккомпартии!

Многие из выступавших вслед за Рыскуловым поддерживали его, и это еще больше взволновало Атабаева. Свою речь он начал очень резко:

— До сих пор я считал Рыскулова опорой Туркестанской республики, но после того, что он здесь наговорил, вижу, что эта опора превратилась в подгнивший столб, который того и гляди рухнет...

Рыскулов вскочил с места и, потрясая кулаком, закричал:

— Я требую зафиксировать слова Атабаева! Он переходит на личности! Оскорбляет!

Негодование мешало ему говорить. До сих пор он не привык встречать такой отпор. Элиава мягко посоветовал ему:

— Постарайтесь терпеливо относиться к критике, терпеливо выслушать товарища.

— Да разве это критика? Это склока, травля...

— Извольте соблюдать порядок! — теперь уж резко остановил его Элиава.

— Извините, товарищ Рыскулов, — спокойно продолжал свою речь Атабаев, — я не хотел задевать вас. Скажу больше — я всегда видел в вас пример для себя... Каждое сказанное вами слово мне хотелось носить при себе, как талисман. А теперь...

— Что же теперь? — выкрикнул Рыскулов.

И Атабаев понял, что этим вопросом Рыскулов хоть на секунду хочет отдалить его разоблачительные слова.

— А теперь вы хотите сбить партию с правильного курса. И мы должны не следовать за вами робко и послушно, а по-большевистски указать на ошибку и поправить вас.

Размахивая руками, Рыскулов вскочил с места.

— Я прошу избавить меня от клеветнических выпадов!

— Потерпите, товарищ Рыскулов, — остановил его Элиава.

— Я и кричу потому, что переполнилась чаша моего терпения!

— Это тоже ошибка.

— Настаиваю, чтобы удалили с трибуны клеветника.

В зале поднялось волнение.

— Верно говорит Атабаев!

— Лжет!

— Долой клеветника!

— Удалите зажимщиков критики!

Когда председателю удалось успокоить расходившиеся страсти, Атабаев закончил свою речь.

— Хотите услышать горькую правду, товарищ Рыскулов? Вы просто не отдаете себе отчета в глубине своих заблуждений! Какая может быть партия, кроме единой

Коммунистической? Выдумывать что-то другое — значит, неизбежно поворачивать коммунистов-мусульман против коммунистов-русских. А по сути за этим скрывается тайное желание наших общих врагов — отделить Туркестан от России. Не бывает этому!..

Нет, Рыскулова все-таки поддержали. За ним пошли, ему поверили. И люди, прибывшие из Москвы, не возражали против предложенного Рыскуловым переименования — они видели свою партийную миссию прежде всего в борьбе против великодержавного шовинизма. Только Рудзутак и еще несколько человек поддержали Атабаева, — но что значили их голоса.

Это был первый проигранный бой. Вечером в гостинице Атабаев в страшном возбуждении говорил друзьям даже такие отчаянные слова, которых потом стыдился: «Если Компартия стала тюркской, тогда считайте, что я не в партии!..»

Но утром, проведя бессонную ночь, он думал уже иначе, он протирал сухими ладонями свое утомленное лицо и скупно проронил утешавшим его друзьям:

— Я молодой коммунист... Гнев шагает впереди, ум — сзади... Я, верно, не так прочитал письмо Ленина...

Между тем, окрыленный успехом, Турар Рыскулов пошел еще дальше. На краевой конференции мусульман-коммунистов он уже говорил, что Туркестан — край тюрков и судьба туркестанской земли должна находиться в руках ее единственных хозяев — тюркских народов. Следовательно, и партия должна быть партией тюркских коммунистов, и республика — тюркской республикой. И существующая конституция, говорил Рыскулов, не оправдывает себя ни с практической, ни с исторической, ни с национальной точек зрения. Следует изменить и конституцию.

Все это, конечно, было на руку буржуазным националистам, потому что уводило трудящихся от задач классовой борьбы, принижало роль русского пролетариата и русских коммунистов.

Атабаев знал, что в пестроте народов, исторически смешавшихся на землях Туркестана, растет одна мысль — об объединении каждой нации — туркменской, узбекской, казахской, киргизской, о размежевании республик, и он понимал, что пантюркизм — и его родной брат панисламизм — находятся в непримиримой вражде с этой всенародной надеждой. Никогда не восстановим мирную жизнь на полях, не победим басмачество в Ферганской долине, не укрепим советскую дружбу народов, если не будут развенчаны националисты — ведь за их спинами Джунаид-хан, повелитель Хивинского ханства, и эмир Бухарский, и турецкие разведчики Ислама, лезущие через советскую границу, и сотни феодальных самодержцев у баев и беков, ненавидящих новый строй и скалящих на него свои желтые клыки. Но как победить? И он строку за строкой изучал «Циркуляр по восточному вопросу» — в этих мудрых указаниях партии утверждалось, что между мусульманами и русскими нельзя видеть никакого различия, что деятельность коммунистов должна быть проникнута духом подлинного интернационализма, что следует неустанно укреплять связи трудящихся мусульман с Советской Россией.

Вот она где — поддержка правды!

Бывали дни, когда Атабаев ненавидел Рыскулова, считал его даже личным врагом. Как можно так заблуждаться в людях — еще вчера он снизу вверх глядел на Турара, а этот человек теперь кажется демагогом... И неужели его послушают в Москве? Кайгысыз не находил себе места, уехал в аулы с докладами, когда ему стало известно, что националисты отправили в Москву делегацию во главе с Рыскуловым. Чего они еще добиваются?

Ого, коли волк не съест, коза до Мекки дойдет: всю власть передать ТуркЦИКу и Совету Народных Комиссаров; упразднить Турккомиссию; ограничить права Реввоенсовета Туркфронта; вывести из Туркестана или разоружить Красную Армию, в основном состоящую из русских, создать мусульманскую армию; пути сообщения, связь, иностранные дела, торговлю и финансы передать в подчинение ТуркЦИКу.

Комиссия, изучавшая его претензии, подготовила проект решения о задачах Коммунистической партии Туркестана. Владимир Ильич согласился с этим проектом и



подчеркнул ошибки туркестанских представителей, поддерживающих по сути панисламизм и пантюркизм, сделал на полях заметку о том, чтобы способы борьбы с духовенством и панисламизмом и с буржуазно-националистическим движением особо разработать...

В июле 1920 года был создан Центральный Комитет компартии Туркестана. В него вошли: Н. Т. Тюракулов, К. Атабаев, К. Хакимов, С. Асфандияров, Ю. И. Ибрагимов, В. П. Билик, Солтан Ходжаев, Д. Устабаев и другие.

Атабаев и его товарищи, — а были тут и русские, и узбекские, и туркменские большевики, — ликовали, когда узнали, что миссия Рыскулова закончилась плачевно.

Атабаев одного только не знал, уйдя с головой в трудные дела руководства Закаспийской областью, — он не знал, что как итог всей борьбы с националистами за ленинскую стратегию, появилась в партии краткая характеристика одного из ее молодых деятелей. Рукой Валерьяна Куйбышева была написана докладная Турккомиссии в ЦК РКП(б). И в ней говорилось:

«Среди членов нового Центрального Комитета есть выросшие из местного населения, появившиеся сами по себе выдающиеся личности, например, Тюракулов, интеллигент, бывший студент, рожденный в бедной киргизской семье, человек с коммунистическим умом, Атабаев, уроженец туркменского аула, чудом при крайне неблагоприятной обстановке выработавший в себе здоровое коммунистическое мировоззрение...»

## Одной рукой в ладоши не похлопаешь

В маленьком саду за высоким дувалом солнце не скоро покажется. Тополиная листва над дувалом уже играла, точно горсть золотых монеток, а на дощатом постаменте айвана, где с блокнотом и карандашом уселся Атабаев, отдыхая в воскресное утро, было еще прохладно. Удивительно пахнут деревья в саду и в конце июля, — не каждое в отдельности: молоденькая яблоня, гранатовый куст, старый развесистый тут, который забыли подстричь, персиковое деревце, — нет, не каждое в отдельности, а все вместе; нежно и благовожно дышат они на рассвете до того самого часа, когда золотое светило переберется через глинобитный забор,

Только по воскресеньям Атабаев отдыхал в саду при доме. Но разве можно было назвать отдыхом и этот час уединенного размышления, когда все мешалось в голове: и свое личное, неустроенное существование, и жизнь народа, и судьба мира?

Как будто общее положение улучшилось: освобожден Красноводск, и даже первые пароходы пришли из Баку, в городах налаживается советская жизнь — в Асхабаде и Мерве, как где-нибудь в Вологде или Туле. В аулы поехали первые учителя.

Нет, все-таки очень плохо в аулах.

В доме на столе с ночи лежат листки сообщений «не для печати».

...Шайка басмачей подожгла школу в селе Гагшал и до полусмерти избила учителя.

...Неизвестный убил председателя сельсовета в Амша и сбросил тело в арык.

...В селе Корсары басмачи ограбили сельскую лавку.

...Неподалеку от станции Такир разрушен железнодорожный мост.

За порогом каждого сельсовета, каждой школы, каждой потребительской лавочки, у каждого аульного колодца — маленький, но кровавый фронт. А людей нет. И нужны люди не просто с винтовками и ручными гранатами — нет, их надо вооружить большевистским сознанием, ленинской стойкостью...

Солнце уже поднялось над дувалом, заглянуло в сад и стало припекать сквозь листву. Кайгысыз вытер пот с влажного лба, но не ушел в дом. Нужно было что-то додумать, подвести итоги тому, что не удавалось порой даже разглядеть в водовороте быстро текущих будней.

Почему царская охранка стала следить за ним? Чего он не поделил с Джеббаром-Хоразом? Почему надел солдатские сапоги, перекинул через плечо винтовку? Стал смертным врагом своего старшего брата? И целился в бая из пистолета в Конгуре?

Растратил свою молодую жизнь на бесчисленные битвы? Для себя? Нет, для себя хороша была арабская вязь пряных стихов Омар Хайяма, дестаны Махтум-Кули, да этот милый тенистый сад, да женщина, которую любишь, да звонкий голос ребенка...

Кайгысыз выронил карандаш из рук, вынул из блокнота фотографию. Удивленные и словно обиженные глаза девочки глядели на него. Надутые губки. Что думала она, когда ее привели фотографироваться? Наверно, говорила... У меня нет папы, я никогда его не видела, он никогда не держал меня на руках, я самая несчастная из всех несчастных... Атабаев обеими руками быстро приложил карточку ко лбу. Свои ранние годы он уже не так хорошо помнил, но что-то из детских лет хлынуло на него высокой теплой волной. Сейчас он был слабее этой дезочки.

Нет, не для себя растратил он свою молодую жизнь — в скитаниях, в битвах, в бессонной каторге совещаний, заседаний, в бумажном ворохе протоколов, тезисов, циркуляров.

Значит, для будущего, для всех, для народа... И в этом единственное оправдание.

В калитку постучали. Атабаев снял щеколду. Это воскресный гость Овезбаев, за его фигурой военной выправки — посыльный из обкома партии.

— Примите срочный пакет.

— Ого, в воскресенье. Да еще две сургучных печати... Ташкент?

Атабаев шел под деревьями, читая на ходу.

— Ну, теперь здравствуй, — сказал Овезбаев, когда они сели на айван.

— Здравствуй, — с веселым лицом ответил Атабаев. — Здравствуй и счастливо оставаться.

— Не вовремя пришел? — удивился Овезбаев,

— В самый раз.

— Чего же ты прощаешься?

— Должен ехать в Ташкент.

— Надолго?

— Насовсем.

— Ничего не понимаю!

Атабаев протянул другу надорванный конверт. Решением Исполбюро ЦК компартии Туркестана он назначался членом Исполбюро и комиссаром земельно-водного хозяйства Туркестанской республики. Овезбаев тяжело вздохнул:

— От души поздравляю — не тебя, а народ. Начало воды — родник. Теперь у всей воды в Средней Азии будет порядочный честный мираб... Ну, а мне нынче в Асхабаде нечего делать.

— Это еще почему?

— Ты доверял — и было легко работать. Нет, очень трудно, но радостно. Теперь прибавится подозрений...

— Если хочешь, вызову тебя в Ташкент, — сказал Кайгысыз и тут же пожалел о своих словах. — Нет, конечно, нельзя! Здесь ты нужнее.

— Это еще вопрос.

— Хоть ты и боевой офицер, Сейидмурад, а боевитости тебе не хватает.

— На это есть причина. Говорят: подбодри собаку — возьмет и волка.

— Разве Асхабад так далек от Ташкента, что и голоса не услышишь?..

— Ладно! Поговорим о тебе, — оборвал Овезбаев; он протер платком клеенчатый ободок под околышем своей бессменной фуражки и снова посадил ее красивым жестом на пышные седые волосы, лицо его повеселело. — Понимаешь ли ты, какое дело тебе доверили мудрые люди? Вся древняя Бактриана и Согда, все тысячелетние оазисы нашего края выросли на поливных землях. Какие оросительные каналы, какие плотины остались от прадедов! Владыки мира проливали кровь народов, но и орошали водой землю. То, что кровь лилась потоком, — пусть будет проклято и забыто. Но пусть будет дорога память о тех, кто своими стараниями приводил воду с гор на жаждущие поля. Знаешь, товарищ комиссар,

пройдут века, и на твою могилу также будут стекаться правоверные... паломники.

— Ну, ну, хватит! — крикнул Атабаев, и они оба рассмеялись над многословной тирадой. — Смогу ли я? Ведь ни черта не понимаю.

— Ты хоть это понимаешь, друг. А Певзнер?

— Что — Певзнер? — переспросил Атабаев.

Он знал, что Певзнер не очень хорошо разбирается в деле животноводства, но только не было другого человека, знающего, а Певзнер — все-таки коммунист и книги умеет читать не кверху ногами.

Овезбаев улыбнулся своей злой мысли прежде чем ее высказал:

— Вот вяжешься ты в битву за воду, и сразу твою голову баи и Джунаид-хан оценят... Как ты думаешь — в какую цену?

— Думаю, что не дороже твоей штабс-капитанской фуражки.

— В двадцать пять тысяч рублей! Не дешевле! А сколько, по-твоему, дадут они за голову Певзнера?

— Ты, вижу, снова с ним поругался?

— А как же! Вчера он решил посоветоваться со мной. Я ему говорю: «Если хотите, чтобы животноводство в области развивалось, постарайтесь ему пока что не мешать». — «А потом?» — спрашивает и хлопает белыми ресницами. — «И потом, говорю, не вмешиваться». — «А после того?» — «Не трогать и после того!» Он, как видно, не понял меня, я ведь ему правду сказал. А он, что называется, полез в бутылку: «Значит, говорит, по вашему мнению, в советское время животноводство можно вести как при феодально-патриархальном строе?» Пугает словами, а в дело вникнуть не хочет. Этот Певзнер даже не догадывается, что если прижмет скотоводов, они от него сбегут, куда глаза глядят. Помнишь поговорку? «Тронешь огонь — погаснет, тронешь соседа — уйдет». Может быть этот Певзнер честный, проверенный и книжку читает не кверху ногами... Но только бы подальше его от животноводства. Не веришь?

— Нет, ты правду говоришь. Но только откуда взять людей? Нет людей. А одной рукой в ладоши не похлопаешь...

## Первый мираб республики

В редких кустиках черкеза и саксаула, благодатные хлебные поля, сады в самой поре своего тяжелого плодоношения. Иногда колеса гулко отстукивали по мостам над рекой или каналом. И снова, — кишлаки, ослики, арыки.

Тысячи мыслей роились в голове Атабаева, пока он ехал в Ташкент с новым высоким назначением. Он вспоминал большие полноводные реки — и родной Мургаб, и Теджен, и Аму-Дарью, и Сыр-Дарью, и Зеравшан, и Чирчик. И тысячи горных речек, — при выходе на равнины они распадаются веером на бесчисленное множество арыков, чтобы дать влагу каждому клочку земли, — даже самому отдаленному. Мутные воды, — они несут ил и не только увлажняют пашню, но и удобряют ее. Десятки тысяч верст арыков — труд многих, многих поколений. Он представлял себе, сколько земли надо перебросить с лопаты на лопату, сколько собрать камыша и хвороста, соломы, кольев и камня, чтобы поправить то, что разрушено в эти годы. Низовья Мургаба были ему понятнее, чем 84 канала Зеравшана и 45 каналов Чирчика, — и когда он обдумывал, с чего начинать, он живо представлял себя в лодке в зарослях Мургаба или выходящим от берегов Теджена на бедные поля своего края.

В окне — пустыня. Верблюд щиплет кустики. Когда верблюд хочет дотянуться, он вытягивает шею... Надо людей поднять. Он видел пустыню перед глазами за окном, и он видел вставшие в его мечте пшеничные поля, хлопковые плантации, шелковичные сады, клевер и ячмень — до горизонта, бахчу и огороды. Вода в арыках. Черная грядка, влажная от полива. Потный глиняный кувшин, из которого, запрокинув головку, жадно пьет воду толстопузый голоногий малыш.

Откуда же взять людей? Как заменить старых мирабов, байских слуг — новыми? Как

поправить, плотины? Он вспоминал Кошутбентскую дамбу, — сберегающую воду для всего Мервского оазиса. И плотину Карры-бент в Теджене. Где инженеры-ирригаторы? Как их найти в батальонах Красной Армии? Как без них сможет он изучить местные водные системы и упорядочить водопользование из арыков, а потом создать новые справедливые законы? Муллы и ханы будут и тут мешать, а басмачи взрывают плотины и скачут вдоль уходящей воды с криком восторга и мести. «Вода общая, — говорят муллы, — святой ислам нас не делил на классы, все мусульмане равны». И темный аульный человек им верит — верит, даже когда ему мираб не дает горсть воды, чтобы омочить сухие губы... Как поднять лес кетменей над головами людей, — как повести голодных дехкан на ремонт каналов, — а ведь вода это хлеб, это жизнь. Говорят, что для очистки арыков от ила в одном лишь Хивинском ханстве нужно 700 000 рабочих дней.

«Не грусти... Будет победа. Не грусти... Твоя победа...» — снова слышался ему железный перестук колес.

В Ташкенте для уныния не было досуга. Он был из тех людей, кто — семь раз отмерив, — режут один раз, и все-таки, узнав поближе о делах в Хорезме, где начались распри между узбеками и туркменами, из-за капли воды стали возникать такие зловещие названия, как «Кржавый водораздел» или «Кржавый колодец», он несколько пал духом.

Какой безграничный опыт, какие творческие усилия, непрерывный труд нужны для нового дела! От его бездарности или нерадивости миллионы людей могут превратиться в нищих. Пока не поздно лучше отказаться... А не похоже ли это будет на дезертирство? Может его следовало бы назвать не Кайгысыз-сердаром-оглы, а Кайгылы-Елюрек-оглы? Сердце-то у него трусоватое, с ветерком?.. Владимир Ильич перевернул всю великую Российскую империю, а этот туркмен из аула Мене тоже осмеливается величать себя большевиком. Оправдать доверие партии — единственная обязанность. Может не справится? А не справится — кто же будет его держать?..

Днем и ночью он беседовал с гидромелиораторами, сталкивал лбами противников на совещаниях, искал истины в научных спорах.

Для всех было ясно, что корень жизни Туркестана а воде. Земля без воды мертва. К 1920 году четыре миллиона десятин поливных земель сократились до двух и урожайность уменьшилась наполовину.

На заседание Турккомиссии Кайгысыз Атабаев явился во всеоружии фактов. Он побывал на многих каналах. Сотни мирабов, — кто честно, кто с хитростью и лукавством, — наговорили ему с три короба, аульские коммунисты толпой провожали с собраний.

Атабаев верил, что Элиава умеет слушать.

— Мне без богов не вытянуть, — начал Атабаев усталым голосом. — Боги воды — гидротехники. А мы играем ими, как детвора мячиками... Во время войны их мобилизовали на фронт, многие успели стать офицерами. Другие погибли в гражданской войне. Революция привела многих на выборные должности в партии, в профсоюзах. Я знал таких, которые работали в продотрядах. А в этом году — новая мобилизация, на этот раз — на железнодорожный транспорт... — И Атабаев торжественно показал на начальника Среднеазиатской железной дороги. Тот дремал до этой фразы и вдруг встрепенулся.

— Комиссар земельно-водного хозяйства действует партизанскими методами! — бросил путейский начальник с места.

— Что вы имеете в виду? — спросил Элиава.

— Он не признает правительственных декретов!

— Этого не может быть!

— А вот подите же! Не отпускает даже кадровых путейцев — тех, кто на свою беду попал в его систему. Сто человек держит! Зажал в своем кулаке.

— Напрасно сетуете, — сказал Атабаев.

— Но вы не подчиняетесь?

— В ТуркЦИКе лежит моя докладная. Вы должны бьи ли получить ее копию.

— Мне нужны не докладные, а специалисты!

— Нам они нужны еще больше.

— Не забывайте, что вы сюда приехали в поезде.

— А я хочу напомнить вам, что бы сегодня пообедали... Без еды и воды...

Элиава прервал эту перепалку.

— Продолжайте ваш доклад, товарищ Атабаев.

— В России нет ирригационных школ. Наши гидротехники учились в разных технических школах, может быть, и в железнодорожных. А с нынешними кадрами ирригаторов наш земельно-водный комиссариат не сможет оправдать даже своей зарплаты. Даже в Ташкенте уже два с половиной месяца нет руководящего специалиста. Погибает оросительная система Мурзачуля. Из-за нехватки технических работников пришлось прекратить новые работы в Перовском, Казалинском, Чернявском уездах. В Закаспийской области вместо пятидесяти работают тринадцать человек. Река Чу затопила город Токмак. Такая же опасность нависла и над Чирчиком. В Амударьинском отделе комиссариата работает один человек, он же отвечает и за Хиву. А для Бухары просто нет работника. Сами рассудите!..

Атабаев передохнул и отпил воду из стакана.

— Однако вы утоляете жажду? — ядовито заметил железнодорожник.

— Если не примем решительных мер, потрескается и ваш язык, — без улыбки ответил Атабаев.

Председатель Турккомиссии горячо поддержал Атабаева.

— Состояние сельского хозяйства чрезвычайное. Вместо того, чтобы вдвое-втрое увеличить продукцию, мы сократили её в этом году в два раза. Конечно, нам необходим железнодорожный транспорт, необходимо растить армию. Но проблема номер один — сельское хозяйство. Я должен напомнить, что прогноз на урожай в России очень плохой. Нам не только нельзя ждать хлеба, но придется самим снабжать Россию хлебом. Среди восьми пунктов докладной товарища Атабаева, представленной в Турккомиссию, есть и такой серьезный, как демобилизация из рядов Красной Армии ирригаторов. Кто-нибудь хочет высказаться?

Рудзутак полностью поддержал Атабаева. Потом попросил слова командующий Среднеазиатским военным округом.

— Чтобы спорить? — Элиава нахмурил брови.

— Чтобы внести ясность. Демобилизовывать только что призванных не очень-то разумно. Тем не менее мы вынуждены считаться с катастрофическим положением в сельском хозяйстве. Я хочу предложить только одно: отпустить за водой младших чинов, а тех, кто в звании комбатов и выше, оставить в рядах.

— Полностью ослаблять армию мы не имеем права, — сказал Элиава. — Предложение придется принять. Есть возражения?

Возражений не последовало. Но начальник дороги снова вскочил с места.

— Товарищ Атабаев не хочет отдать сто железнодорожников, работающих в его системе. Что ж, я согласен! Только пусть он по крайней мере не трогает тех, кто работает в нашей системе!

— Хотите, значит, кончить войну перемирием? — засмеялся Элиава.

— Я вижу — другого выхода нет.

— А как на это смотрит Константин Сергеевич?

Атабаев лукаво улыбнулся.

— Вспомнил одну старую историю. Некий чайханщик поехал из города в степь на ишачьей арбе за саксаулом. Заяц испугался его и спрятался под куст, а глаза из-под веток сверкают с перепугу. Чайханщик задрожал, остановил арбу, взмолился: «Большеглазый, большеглазый! Не трогай меня, и я тебя не трону. А в другой раз привезу твоим ребятишкам бязи!» Товарищ начальник дороги ничем не хочет помочь, только твердит: «Не трогай, и я не трону!» Да поймите же, что я не для себя стараюсь! Я готов собственными плечами толкать ваши вагоны! Речь идет о продовольствии для всех, и в том числе для ваших работников.

Придется вас трогать.

— Тогда поступим с путейцами так же, как и с военными. Говорят в народе: видишь воду — снимай свои сапоги.

Совещание закончилось полной победой Атабаева. Были приняты все восемь пунктов его докладной записки.

## Народ не ошибается

Сентябрь 1920 года в Ташкенте выдался на редкость ясным и не жарким. Чудесные безоблачные дни, похожие один на другой, рождались и умирали в недвижном воздухе. Сады отдали почти все свои плоды и, хотя казались усталыми, как кони, пришедшие издалека, листва их еще не пожухла. В кронах деревьев — неподвижность и покой, и только стройные тополя, как будто руками, в бесконечной голубизне неба прощально махали своими тонкими нежными верхушками. Птицы на разных своих языках воспевали эту блаженную осень. Женщины в пестрых шелковых халатах беззвучно скользили вдоль улиц, бежали по мостовой фазтоны, тяжело груженные подводы, ишаки, увешанные торбами.

В один из таких дней Кайгысыз Атабаев вышел пройтись по городу вместе с Мурадом Агалиевым — тот вместе с туркменской делегацией приехал в Ташкент на съезд партии. Друзья забрели на базар. С юных лет любил Кайгысыз это роенье лиц, запахов, красок, этот гул резких, звонких голосов, беззаботную и жадную суету приобретений и продажи, праздничную пестроту прилавков. Когда-то в прежние времена, отдаленные не столько годами, сколько небывалыми событиями, он любил здесь бродить с Мухаммедкули Атабаевым. Семинаристы отдыхали в чайхане у базарных ворот, ели плов, прислушивались к разговорам, а то и забыв обо всем на свете, пускались в споры о будущем. Каким оно будет, каким должно быть?

Теперешний базар, базар двадцатых годов, был очень похож на лоскутный халат. Только изредка попадались люди в приличной одежде, большинство щеголяло латаными локтями и драными подолами. Шумно и, пожалуй, весело, только порядку мало. Мусор, объедки, навоз... Мальчишки-карманники, сунув руки под мышки, наблюдали беспокойным взглядом за покупателями и продавцами и — чуть кто зазеваётся — смахивали что-нибудь из торб и корзин и мчались от погони, расталкивая толпу головой и локтями. Нелегко было в тесноте и давке понять, какое мясо варится в шурпе, на каком жиру — плов, который тут же, перед твоим носом, размешивают шумовками. Ты, может быть, и не прочь утолить голод, только прежде подумай, что попросить на деньги, которые у тебя в кармане. Видишь — как лоснятся носы и щеки чайханщиков: на всех желающих шурпы и плова не хватит, вот они и стараются, как бы сделать из одного два...

Атабаев и Мурад, конечно, отличались в базарной толпе: оба — в гимнастерках военного образца, в галифе с широкими карманами, на коленях — нашитая кожа, в солдатских сапогах. Они присели на пустой прилавок, потому что их заинтересовал разговор двух местных жителей, как видно, уже расторговавшихся, о чем свидетельствовали пустые мешки, валявшиеся прямо на земле, и то созерцательное настроение обоих приятелей, какое часто можно наблюдать у базарного люда после удачно законченного дня. Один был толстяк с гладкой и голой, как очищенная морковь, головой, и живот у него был круглый, будто толстяк спрятал под халатом арбуз. Другой — худой и гибкий, с длинной подвижной шеей. Сейчас они заметили растерявшегося в толпе человека — он озирался по сторонам, точно кого-то потерял и не мог найти, и во все стороны поворачивал свои витые, словно готовая для пряжи шерсть, длинные усы.

— Это кто? — спросил толстый.

— А ты не видишь? — с ухмылкой откликнулся тощий.

— Потому и спрашиваю, что вижу.

— Могу сказать — наш сосед туркмен.

— А кому туркмен должен барана?

— Только не тебе, лысая твоя башка!

Толстый довольно улыбнулся, будто выслушал любезность, и показал пальцем на другого человека — на скуластого молодца в голубом бешмете, в лисьей шапке, со спускающимся на спину лисьим хвостом,

— А это кто?

— По шапке не видишь? Казах!

— А почему у него лисий хвост?

— Он мне не сказал, но думаю, чтоб не обдурили его базарные ловкачи, вроде тебя.

В толпе пробирался высокий старик в белом войлочном лопухе, обшитом черной тесьмой, и с кисточкой на макушке. Рыженькая борода. Бархатный халат...

— Что ты скажешь про этого? — спросил толстый.

— Это братишка-киргиз припелся из Ала-Тау. Не заметил грозную кисточку?

— Я не слепой.

— Так чего же спрашиваешь?

Атабаев переглянулся с Мурадом. Его заинтересовала странная игра, которую затеяли базарные ротозеи. Было ясно, что оба хорошо знают и ферганских узбеков в распахнутых на груди халатах, и памирских таджиков в круглых чалмах. Но толстяка, видно, мучила одна мысль, и он толкнул в бок тощего:

— Ты заметил, что за последние дни в Ташкенте полно приезжих? Откуда они, отвечай, если так все понимаешь...

— Ты коммунист? — спросил тощий.

— Коммунистов нет и среди моих соседей. С чего это тебе в голову взбрело?

— А ты не слышал о большой драке, какая недавно была у коммунистов?

— Я знаю, что Турар Рыскулов сброшен с высокой должности.

— А почему?

Толстый пожал плечами.

— Наверно, за взятки.

— Не угадал! Они поссорились из-за религии,

— Из-за религии? Это ислам, что ли?

— Он самый.

Толстый недоверчиво выпятил губу.

— Что за чушь несешь! Какой спор об исламе может быть у неверующих?

— Понимай, как хочешь. Рыскулов и его друзья сказали, что в Туркестане... нет разных народов.

— Алла акбар! Боже милосердный! — толстый схватился за свою морковную голову. — Нет разных народов!

Тогда за кого же они считают этих людей, которыми кишмя кишит наш базар? Кто эти туркмены, казахи, киргизы, узбеки?

— Тюрки!

— Ничего не понимаю!

— В Туркестане нет разных народов. Одни тюрки! Рыскулов и шумел из-за того, что у нас должно быть тюркское правительство и тюркская партия.

— Но кто же тогда я? — с негодованием спросил толстый и даже ударил себя кулаком в грудь.

— Тюрк!

— Попадись мне этот Рыскулов, двинул бы его в ухо и сказал: «Узбек я, узбек!»

— Пока что руки коротки, — заметил тощий и похлопал приятеля по плечу.

Толстый надолго задумался, потом спросил:

— Так кто же сбросил этого Рыскулова?

— Тюракулов, Кайгысыз и другие.

— Тюра-кул... Хорошее имя. Надо думать — казах. А кто такой Кайгысыз?

— Туркмен.

— Подходящее имя для туркмена. Но если он Кайгысыз, какое ему дело до всех этих неприятностей?

— Не глядя на свое имя, заботится и о тебе и обо мне.

— Молодец! Настоящий мужчина!

Атабаев посчитал, что ему не пристало слушать, как его хвалят, он спрыгнул с прилавка, но Мурад задержал его.

— погоди! Дослушаем до конца.

Толстый, чувствовавший себя оскорбленным до глубины души, долго еще проклинал пантюркистов, а потом подозрительно спросил своего товарища:

— Откуда ты все это знаешь?

— Мой двоюродный брат знаком с коммунистами.

— Если все знаешь, скажи, почему они все съехались в Ташкент?

— Какое сегодня число?

— Двенадцатое. Месяц — реджеп.

— Нет, по-русски?

— По-русски? — тощий начал загибать пальцы. — Седьмое. Девятое... Одиннадцатое... Так двенадцатого числа русского месяца у них открывается съезд.

Атабаев пошел, увлекая за собой Мурада.

— Какой удивительно бестолковый, а в то же время мудрый разговор! — говорил он.

— Народ знает обо всем и, кажется, никогда не ошибается, — согласился с ним Агалиев.

Потом Мурад Агалиев не раз вспоминал случайно подслушанный разговор, — ведь он с зеркальной точностью повторился на заседаниях съезда.

Когда Тюракулов, основной докладчик, разоблачил враждебные взгляды пантюркистов, в зале поднялся шум. Многие даже вскочили с мест, слышались крики:

— Я — казах!

— Я — таджик!

— Я — туркмен!

С трудом удалось навести порядок, но шепот в рядах еще долго не утихал. Сидевший рядом с Агалиевым здоровенный парень в белой рубашке с открытой грудью и в пестром кушаке с пристрастием допрашивал сидящего впереди пожилого:

— Ты кто такой?

Тот с чувством ткнул себя пальцем в грудь.

— Я — киргиз! И мои деды и прадеды были киргизы. Киргизами будут и мои дети! А ты кто?

— А я узбек! На весь мир хочу сейчас крикнуть: «Смотрите на меня! Я — узбек!»

Доклад Тюракулова всколыхнул национальные чувства и в то же время объединил партийную аудиторию. На съезде обсуждалось множество вопросов. Говорили о создании бедняцких кооперативов, так называемых «союзов кошчи», о судебной реформе, о культурной революции, о справедливом перераспределении земель между пришлым населением — русскими кулаками и местным, коренным, обездоленным при царе... Но главным вопросом, к которому невольно возвращались, была борьба с пантюркизмом и панисламизмом, — этой ядовитой идеологией злейшей реакции.

Через неделю открылся девятый Съезд Советов Туркестана. Основным докладчиком был Кайгысыз Атабаев. Съезд внес изменения в конституцию Туркестанской АССР, предусматривалось национально-территориальное размежевание исторически населяющих ее народов — туркмен, узбеков, киргизов, казахов.

Председателем ТуркЦИКа был избран Тюракулов. Председателем Турксовнаркома — Атабаев.

## Россия в декабре



В декабре Атабаева поднял с постели ночной звонок телефона.

— Костя, суши сухари!

Знакомый голос Николая Антоновича, только какой-то возбужденно-веселый. Паскуцкий говорил о валенках, о варежках, о шубе. Атабаев не сразу даже и понял, что речь идет о поездке в Москву.

— Едем на восьмой Всероссийский съезд Советов! Увидишь, брат, Россию-матушку, просторы наши в снегах, Волгу, Москву...

— Увижу Ленина! — только и сказал Атабаев.

Можно ли спать в ночь такого известия! Атабаев позвонил Тюракулову — тот тоже не спал.

— Коровий пастух вас беспокоит! — шутливо говорил Атабаев, пытаясь погасить охватившее его волнение. — Коровий пастух в Москву собрался...

И Тюракулов ответил ему его же словами:

— Владимира Ильича увидим. Эй, туркмен, выше голову!

Поезд шел много дней. Снега начались уже за Аральском. Иногда стояли в сугробах полдня, чтобы пропустить поезд с хлебом, продовольственный маршрут. Паровозы перекликались гудками — железнодорожный транспорт впервые за много лет исправно работал.

— Увидев чудо, правоверный падает ниц... — сказал Атабаев Тюракулову.

Они ехали в одном вагоне, в одном купе и еще больше подружились в долгом пути.

Однажды увидели несколько вагонов хлопка и очень обрадовались.

— Это мы... Это в Иваново! Это наши дехкане — русским рабочим!

Страна открывалась перед их глазами, — военный лагерь! На каждой станции шинели, солдатские котелки в очередях за кипятком. Крестьянская нужда, голодовка — бабы с мешками на ступеньках вагонов, детишки с пухлыми животами. Заколоченные окна домов.

— Смотри, из труб ни дымка... Топить нечем... Неотопленные дома, — говорил Тюракулов, глядя в окно вагона на станции Ртищево.

— Целые города неотопленные, — заметил из-за его плеча Николай Антонович.

Атабаев завалил столик в купе бумагами, работал и ночью. А вдруг Ленин потребует отчета о делах Туркестана. Каждый работал по-своему. Тюракулов — у себя на верхней полке. Иногда глаза уставали, хотелось развлечься.

— Кайгысыз! — вдруг кричал Тюракулов, и сверху свешивалась его красивая крупная голова.

Атабаев, еще не отвлекшись от своих мыслей, переводил на него взгляд. В минуты задумчивости выражение его лица казалось угрожающим, даже свирепым. И так не вязалось это суровое выражение лица с сонной ночной полутьмой купе, что Тюракулов смеялся.

— Сидишь, зажмурился, я думал — заснул.

— Не имею права поспать?

— Упершись карандашом в подбородок?

— Не все ли равно?

— Если ты ляжешь — я встану.

— Лучше похрапи, а я — поработаю.

Тюракулов ловко спрыгивал с полки, хитро поблескивал раскосыми глазами.

— У нас говорят: если перегружать голову — ослабнут колени.

— Туркмены говорят по-другому: у умного устают голова, у дурака ноги.

— Навиваешь себе цену?

Теперь и Атабаев смеялся, и взгляд его был лукавый и добродушный. Взгляд усталого человека, решившего предаться дружеской болтовне.

— Хочешь предложить принять во-внутрь? — спрашивал он. — Так и скажи прямо!..

— Ничего похожего.

— Так чего же мешаешь работать?

— Хочу расширить твой кругозор... Смотри!

Тюракулов обнял Атабаева за плечи и отдернул штору окна.

Там, за окном, начинался поздний декабрьский рассвет, шел снег редкими крупными хлопьями. Земля — белым-бела. На откосы вдоль полотна дороги будто набросили толстую и легкую кошму. Темно-зеленые ветки высоких елей клонились книзу под тяжестью снега, на крыше промелькнувшей избушки путевого обходчика снег лежал пористый, как губка, видно, еще утром была оттепель. А на голых черных ветках кустарников прочертились белые каемочки, в точности повторявшие рисунок сучьев. Поезд, убыстряя ход, казалось, подгонял снегопад. Хлопья сыпались все быстрее, всё гуще... Какое богатство! Шесть месяцев в году в России идет снег, поит землю, дает ей жизнь. Подумать только: пшеничные поля не нуждаются в поливе! Посеял весной, а осенью — подставляй мешок! А у нас сухая, как камень, земля без полива не даст и горсти пшеницы. Каждая капля дождя — пшеничное зерно. О чем бы ни думал Атабаев, чем бы ни занимался, где-то в глубине мозга всегда жила мысль о воде. Мысль о том, как без полива уже заколосившаяся пшеница превращается в солому, воспоминание о скотине, теснящейся у истощенных колодцев. А Тюракулов подвел его к окну просто полюбоваться красотой русского зимнего леса. Ему не понять, что туркмен не видит красоты снега, а ценит только воду, которая питает землю. Казах Тюракулов и не подозревает, что когда его друг задумался, упершись карандашом в подбородок, мысли его были заняты водами Аму-Дарьи, как их заставить служить народу, что и кому говорить об этом в Москве...

— Тебе нравится русская природа? — спросил он Тюракулова.

— Потому и показываю, что нравится.

— Удивительная щедрость, богатство... По-моему, вся русская натура, размах, душевная широта русского человека и его беззаветность и беспощадность — всё от русской природы.

— А твоя молчаливость, спокойствие — от жаркого солнца пустыни?

— А твоя сообразительность — от быстрого течения Сыр-Дарьи?

— А то как же!

Они не изменяли недавно возникшей привычке даже на заседаниях подтрунивать, дружески задирать. Это была мужская дружба, когда насмешливость скрывает самые нежные чувства.

Рязанская земля искрилась морозом. Атабаев вышел на перрон — глаз не мог отвести от этой ломящей глаза белизны, заиндевевших окон, от клубов пара из каждой двери. Вспомнился Василий Васильевич — ведь это его родные места...

Сергей Прокофьевич Тимошков, недавний командующий Закаспийским фронтом — он тоже ехал делегатом на съезд — сзади схватил Атабаева за голый его кулак, а в кулаке у Атабаева горсть слегка поджаренной ковурги-пшеницы. Атабаев то и дело тащил из кармана горсточку ковурги.

— Ты что грызешь? Рязанские семечки? — спросил Тимошков.

— Для нас с тобой, Сергей Прокофьевич, это не новость. Вспомни-ка Закаспийский фронт.

Точно солдата, Тимошков оглядел с ног до головы Атабаева — хорошо ли снаряжен для русской зимы председатель Совнаркома Туркестанской республики. Велел надеть варежки.

— Не больно-то хорохорься!

— Стою, гляжу — дымит земля от мороза... — раздумчиво заметил Атабаев.

— Гляди, гляди! — Тимошков был настроен бодро и весело, может от того, что уже Москва недалеко... — Ильич велит теперь на десять лет вперед глядеть... Говорят, в Москве нам шестьсот страниц дадут читать — план электрификации России.

— И прочитаем... Да я не о том, — сказал Атабаев.

— Давай, выкладывай свои сомнения!

— И сомнений нет. Я ведь вас считаю туркменом,

— Можно и так. Уж если я интернационалист...

— Вот мы и поговорим, как туркмены.  
— Всегда готов!  
— Не перестаю удивляться на русский народ. Голод, холод, нищета и такое стремление к великой цели.  
— Говорят: гречневая каша сама себя хвалит. Но раз мы заговорили как туркмены, — не могу не согласиться. Великого терпения народ...  
— Слава русскому народу, — тихо, но внятно произнес Атабаев.  
Разговор этот продолжался даже на перроне Рязанского вокзала. Паровоз в голове поезда гулко откликнулся:  
— Слава-а-а!..

## Слушая Ленина...

Казанский вокзал Москвы, — как растревоженный муравейник! Если не держаться за локоть товарища, — а им был председатель ЦИКа республики, — можно и заблудиться. Толпа снесет тебя, отеснит.

Мороз лизал щеки шершавым, как тёрка, языком. Сизым дымком клубилось дыхание тысяч ртов, и пар куржавился, леденел на солдатских усах и мужицких бородах. И, кажется, никто не замечал лютой стужи. Бабы щелкали подсолнухи, красноармеец присел на свой деревянный сундучок, крашенный охрой, и тут же на морозе, разувшись, менял портянку.

Делегатов встретили радушные люди в красных повязках на рукавах. Повезли...

Москва двадцатого года! Заплечные мешки— брезентовые, суконные, из матрацкого тика, полосатые, — перекрещенные кожаными ремнями, пенькозыми веревками... Краснозвездные шлемы, шинели без погон... Женщины в шубах из солдатского сукна... Матросы с раздувающимися на ветру клешами... Старики, укутанные сверх ушанок шерстяными шарфами... Деревенские красавицы в оранжевых дубленых полушубках... Старушки в шляпках с перьями и крошечными муфточками... Бездомные собаки, поджимающие заочевенные лапы... Извозчики на санях... Мешочники с двугорбой клажей через плечо...

Москва голодала. Делегатам выдали по четвертушке черного хлеба, напоили морковным чаем. Говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Теперь Атабаев видел голодную Россию и вспоминал телеграммы Ленина, адресованные Туркестанскому правительству, в которых говорилось: Помогите хлебом. В этом году ваши русские братья нуждаются в вашей помощи. Постарайтесь отправить по возможности больше...

Большой Кремлевский дворец принимал хозяев страны. Атабаев с делегацией Туркмении пришел чуть не за час, мороз не испугал — хотелось походить по площадям и аллеям Кремля. Яркое солнце блистало на золотых главах русских соборов, и главная крепость великого народа, ее зубчатые стены и башни с часами, и колокольня Ивана Великого показались южным гостям даже краше ни с чем несравнимых святынь Самарканда и Бухары.

В толпе делегатов— башкир, украинцев, кавказских горцев в папахах — Атабаев постоял возле Царь-пушки. Фронтвики шутили — вот такую бы к нам на Перекоп!

Туркмены гурьбой подошли к Царь-колоколу.

— На кибитку похож!

Дыра от отколотого куска и в самом деле была похожа на вход в кибитку.

— Большая туркменская семья могла бы разместиться. И собаку на двор не выгнали бы...

Туркмены простодушно смеялись, и Кайгысыз смеялся вместе со своими аульчанами, а в мыслях одно — сейчас увидим Ленина... И теперь-то он понимал, что три года жил в ожидании этого дня.

Сколько людей из этого зала унесло с собой на всю жизнь во все концы мира образ

Ленина. А кто сумел описать словами минуту, когда увидел, узнал? Никто, пожалуй, — для этого нужно спокойствие сердца, владычество наблюдающего разума. А тут все в зале вдруг поднялись и грохот аплодисментов, точно горный обвал, встретил его, быстро идущего к столу в толпе других. Он торопился успокоить зал — он махнул рукой, сел, снова вскочил...

Атабаев не помнил потом этой минуты в подробностях, он не глазами, а сердцем узнавал родного человека: это Ленин! И он вместе со всеми выскочил в проход между рядами, где уже совсем ничего не было видно. И хлопал, хлопал в ладоши... Сколько было у него в эту минуту рук, чтобы хлопать в ладоши!

Казалось, много времени прошло, пока, наконец, Ленин взошел на трибуну. И теперь новое сильное впечатление ошеломило Кайгысыза, — впечатление от звука голоса, донесшегося с трибуны, впечатление от убежденной и внятной интонации, от волевой окраски этого голоса, впечатление от ленинского жеста, — разумного и слитного с голосом.

В тот день впервые прозвучали крылатые ленинские слова — «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны». Атабаев потом, выезжая в аулы, всегда говорил, что он услышал эти слова из уст самого Ленина. Владимир Ильич выразил уверенность, что впредь на трибуне Всероссийских съездов будут появляться не только политические деятели и администраторы, но и инженеры и агрономы.

— ...Это начало самой счастливой эпохи, когда политики будет становиться все меньше и меньше, о политике будут говорить реже и не так длинно, а больше будут говорить инженеры и агрономы, — говорил он... — Политике мы, несомненно, научились, здесь нас не собьешь, тут у нас база имеется. А с хозяйством дело обстоит плохо. Самая лучшая политика отныне — поменьше политики. Двигайте больше инженеров и агрономов, у них учитесь, их работу проверяйте, превращайте съезды и совещания не в органы митингования, а в органы проверки хозяйственных успехов, в органы, где мы могли бы настоящим образом учиться хозяйственному строительству.

Слушая и запоминая слова Ленина, Атабаев поражался необычайной объемности его тезисов и еще больше — легкости, с какой он объяснял народу сложнейшие вещи. В небольшой речи он рассказал и об итогах войны с Польшей, и о финансах, концессиях, и о взаимоотношениях с крестьянством, и о профсоюзах, и о нравственных вопросах, о той «Сухаревке», которую уничтожили в Москве на Садовом кольце и какая живет в мелкособственнических душах. И в том, как он говорил, не было ни тени дидактизма и повелительности, он как бы разъяснял людям то, что они думали сами, с чем ехали сюда со всех углов зимней, голодной, усталой страны.

Ночью, в холодном номере «Метрополя», — гостиницы, переименованной теперь во Второй дом Советов, — Кайгысыз поёживался под тонким солдатским одеялом. Не спалось. И не только потому, что было холодно. Все впечатления этого необыкновенного дня и лицо Ленина, и его голос, и его речь заново волновали до сердцебиения. Чтобы успокоить себя, он призывал на помощь всю самодисциплину, на какую был способен. Чему он выучился за этот день? Как сделать, чтобы все, что сегодня услышал, стало путеводной звездой на долгие годы? Какой теоретический корень извлечь из конкретнейших вещей, о которых говорил сегодня Ленин?

Он подошел к окну, босой, закутавшись в одеяло.

Луна в асфальтово-сером небе; искристый блеск высоких сугробов; могучие, торжественные колонны Большого театра, опоясанные гирляндами кумачовых флагов по случаю съезда; застывшие на бегу кони над фронтоном; огромная снежная безлюдная площадь...

«Россия всегда масштабна, — подумал он. — Шестая часть мира...» И вдруг, как зигзаг молнии, блеснула мысль, которая бродила и не складывалась, не выговаривалась до этой минуты. О чем же по сути говорил Ленин? Он говорил о неодолимом движении народных масс, поднятых на борьбу за свое счастье не в одной маленькой Туркмении, даже и не в одной большой России — нет, во всем мире! Он говорил о текущих задачах, но одновременно — на многие десятилетия вперед.

## Волчьи следы на песке

А далеко от Москвы, на окраине Теджена, за кибиткой Мурада Агалиева, той глухой зимней ночью волк загрыз пса.

Трудно понять, почему молодой председатель уездного исполкома поставил сбою кибитку рядом с четырьмя другими, — батрацкими, на пустыре, заросшем верблюжьей колючкой. Он, видно, хотел устыдить кой-кого из слишком опасливых работников милиции — доказать им, что Советская власть не боится ночных басмаческих налетов. А может быть, хотел он других поучить, чтобы не зазнавались, не забывали народ, а он живет в кибитках — не в городских квартирах. Только в ту зимнюю ночь волк загрыз его любимого пса.

Как всегда, Мурад поздно вернулся домой, рухнул на кошму и уснул мертвым сном. На дворе лаял пес, и сквозь сон Мураду казалось, что в степи звенит колокольчик, а перед рассветом он услышал рычание и пронзительный визг. Мураду подумалось — это его пес задрался с соседской борзой. Мурад повернулся на другой бок и успокоился. Само собой пришла добрая мысль о Кайгысызе. Тот сейчас в Москве, может с самим Лениным беседует — каждому свое, а мы тут тедженскую ночь с собаками караулим...

Утром Мурад не нашел пса у кибитки. Песчаный пустырь был исчеркан когтистыми следами — не то лисы, не то шакала. Попадались и покрупнее следы, вроде волчьих. А пса не было нигде. Агалиев уже догадался, что погиб его пес, но даже на работу не пошел — хотелось хотя бы труп отыскать. И верно, когда уже солнце поднялось, он нашел в лощине за кибиткой — окровавленный труп красивого умного зверя с изжеванным горлом валялся, уже окоченевший; из порванного брюха потянулись по песку кишки.

Мрачен был в этот день председатель укома. Вернулся домой пораньше и с вечера вместе с соседом поставил капкан.

На утро разбудили соседские дети: рослый волк в бешенстве грыз железные прутья, хлестала из пасти кровавая пена — он грыз и не мог разгрызть железо и свою когтистую лапу.

Не к добру, не к добру это всё...

Днем в приемную исполкома ввалилась толпа стариков. Глаза хмурые, папахи, низко надвинутые на лбы, — по всему видать, тут не одного кого-нибудь обидели, а весь аул. Тут уже не просто толпа жалобщиков, — тут депутация.

Старик надвинулся на молодого начальника, — вот-вот закроет его крючковатым носом и бородой, ставшей торчком, — и, не дожидаясь вопросов, стал желчно отхаркиваться злыми словами:

— Вас верно удивляет, что мы пришли стадом? Но вы должны знать, что без причины и лист на дереве не шевельнется. Так нечего и удивляться!.. Мы поддерживаем Советскую власть, вовремя платим налоги. Ради Советской власти идем на все трудности. А вы, — он ткнул пальцем в Агалиева, — вы хотите отдалить народ от Советов!

Мурад поморщился.

— Ты не на базаре, ага! Если не можешь совладать со своим гневом, помолчи, отдохни, потом спокойно скажи, кем именно недоволен. Зачем обливаешь грязью всех советских работников?

Из толпы раздались голоса:

— Вы совращаете наших жен, предаетесь блуду!

— Велите высылать вашим холоумам то овцу, то муку!

Считаете себя праведниками, а других топите в тине клеветы!

— Попираете религию и шариат!

— Если так и будет — поедем жаловаться самому Кайгысызу!

Старики напирали толпой, того и гляди — сомнут тут же в приемной. Агалиеву не приходилось еще бывать в таких переделках. Он даже на минуту растерялся, но вспомнил совет Атабаева: «Если знаешь, что чист — не падай духом».

Ясно, что людей кто-то мучил. И Мурад ударил кулаком по столу. Голос его зазвучал властно.

— Что за шум? Спекулируете на своих сединах! Разве забыли, что времена кровавой мести давно прошли? Что ваши лица, — как будто снегом посыпаны! Называйте имена тех, кто обидел!

Старики немного притихли.

— Уважаемые яшули, — уже по другому, мягко заговорил Агалиев. — Всем известно, что дыма без огня не бывает. Раз вы пожаловали к нам в исполком, значит есть причина. И хорошо сделали, что пришли. Укажите на наши недостатки — от всего сердца поблагодарим!

Вспыльчивый старик, первым начавший смуту, теперь тоже остепенился, заговорил со всей возможной учтивостью.

— Пословица говорит: «Самому большому верблюду — палки!» Вот и взваливаем всё на тебя. Но мы не хотели бы, чтобы к тебе пристал хоть один комочек грязи. Наша жалоба состоит в том, что посадили в тюрьму Хакберды-ахуна, а он — чистый, как снег, самый уважаемый в народе человек.

— Кто его посадил?

— А откуда нам знать? Но когда сажают в тюрьму самого уважаемого человека — долг стариков поднять свой голос. Ты, я думаю, в этом деле не виноват, но ты же главный! Вот мы и вцепились в твой ворот...

То, что услышал тедженский председатель от стариков, немало его удивило. А расследование заставило насторожиться: никто в исполкоме даже не слышал об аресте сельского мудреца. Агалиев вызвал начальника тюрьмы, и тот уклончиво высказался в том смысле, что это, верно, простая административная мера, и нехотя на-звал начальника адмтдела Ниязкулиева Ходжакули, — дескать, он может рассказать подробнее.

Агалиев тут же потребовал к себе товарища Ниязкулиева. Он знал этого человека с детства, они даже учились в одном классе в русско-туркменской школе — тут же, в Теджене. Только не были дружны.

Ниязкулиев околачивался в компании богатых и высокомерных сынков арчинов, баев и торговцев, и даже среди них казался самым заносчивым. Потом Мурад потерял его из виду, а когда оказался в Тедженском исполкоме, Ниязкулиев работал там начальником адмтдела. Но теперь он стал гладкий, как ремень, мягкий, как воск, исполнительный, как ханский евнух. По-видимому, совершенно переменился. И на собраниях выступал так, что многие его принимали за большевика. Так же до этого дня думал о нем и Мурад Агалиев.

Вызванный в кабинет председателя исполкома, Ниязкулиев честно признал, что Хакберды-ахун взят под стражу по его личному приказу.

— В чем его вина? — спросил Агалиев.

— Он агитировал против Советской власти.

— Вы получили от прокурора ордер на арест?

— Неужели начальник адмтдела не может упрятать за решетку отъявленного антисоветчика...

— Никакой начальник не имеет права возбуждать людей против Советской власти, будоражить целый аул...

— Значит, я ошибся? — заносчиво спросил Ниязкулиев.

— Не просто ошибся, а совершил должностное преступление... Если бы ты слышал, что тут кричали старики!

— В следующий раз буду советоваться, товарищ председатель, — почтительно сказал Ниязкулиев.

— Обещаниями тут, пожалуй, не отделаешься...

Служебный день — долгий. Многих работников принял

Агалиев в своем кабинете и невольно, между делом, расспрашивал каждого с ретивом начальнике адмтдела. Может быть, Ниязкулиев осознал свою ошибку, но что-то не

понравилось Агалиеву в самом тоне ответов старого приятеля — в тоне, одновременно хамоватом и заискивающим. То, что говорили о Ниязкулиезе, было неутешительно: в доме поселил какую-то молоденькую, по ночам пьет с разными проходимцами, и откуда только они прибредают в Теджен... Ко всяким слухам молодой коммунист всегда испытывал брезгливость. И возвратясь в свою кибитку, долго не мог вернуть хорошее настроение. А тут еще пойманный в капкан волк начал выть. Сосед опутал его веревками и дожидался кого-то, чтобы пристрелить зверя...

А утром новое происшествие — еще более загадочное и неприятное. Председатель исполкома умывался у порога кибитки, когда со стороны пустыни подошли и стали за его спиной шесть верблюдов, груженных саксаулом, и шесть хорошо откормленных жирных овец. Возглавлял караван рябоватый, кривой на один глаз старик в низкой рыжей шапке. Мурад никого не посылал за саксаулом, не было у него и отары, из которой можно было пригнать овец.

Старик безо всяких разговоров, как будто он выполнил только что данное ему поручение, спросил Агалиева:

— Куда свалим дрова?

— Ничего не понимаю, — сказал Мурад. — Как тебя зовут, ага?

— Нуры. Да еще называют Нуры-кор. Я, видишь ли, с детства окривел...

— Ты, наверно, ошибся, не туда пришел, Нуры-ага?

Старик смачно сплюнул и вытер губы залатанным рукавом.

— Ты председатель исполкома Мурад Агалиев?

— Я самый.

— Тогда Нуры-кор не ошибся. Привяжем овец или пустим пастись?

— Сначала объяснимся, — с улыбкой возразил Агалиев, — а потом уж начнем привязывать или отвязывать. Или завязывать...

Нуры выпятил грудь и с достоинством ответил:

— Говорят, что если аллах благоволит своему рабу, он кладет дары на его пороге. Обратит аллах свой взор на человека, и все его желания сбываются.

— А как ты можешь угадать мои желания? Разве ты пророк?

— Боюсь сказать, что выполняю волю святого Хидыра, но точно знаю, что пришел к тебе по воле Недир-бая.

— Не знаю такого.

— Ты не слышал имени Недир-бая, живущего в Неррелере, в низовьях Теджена?

— Не приходилось.

— Так знай же, что сын Недир-бая послал тебе в подарок целый караван.

— Что за подарки от незнакомого?

— Даренному коню в зубы не смотрят.

Вдруг протяжно завыл за кибиткой голодный и скруженный волк, которому надоели путы.

— Молодец, сынок, молодец! — закричал Нуры, — какого зверя зацапал!

Похвала лукавого старика не подкупила Мурада.

— Ближе к делу, Нуры-ага, — сказал он. — Объясни, наконец, что всё это значит?

Старик испугался, потому что плечи его поникли, руки прижались к груди.

— Не подумай, что я привез тебе взятку от Недир-бая.

— К чему же такой подарок?

— Само знакомство с таким уважаемым джигитом — это же счастье!

— Не хитри, Нуры-ага! — прикрикнул Агалиев.

Будто стесняясь того, что собирался сказать, Нуры-кор потер ладонью слепой глаз, виновато забормотал:

— Не только семье, всему роду Недир-бая обидно, что невинный сидит в тюрьме.

— Какой еще невинный?

— Кажется, ясно сказал: Недир-бай сидит в тюрьме,

— А кто его посадил?  
— Не будем притворяться, начальник. У кого, кроме тебя, есть на это власть?  
— Запомни, Нуры-ага, — нахмурился Агалиев, он уже больше не был склонен шутить, — Советская власть — власть народа. Невинные от нее не страдают, к врагам она беспощадна. Я не знаю ни Недир-бая, ни его вины.  
— А люди говорят: ты посадил.  
— Какие люди?  
— Даже милиционер, который его взял, объявил всем, что прислан в аул по приказу Агалиева.  
— Выходит, ты привез взятку, чтобы я освободил вашего бая?  
— Какую-такую взятку? Подарком назвать можно... Да, конечно, это скромный подарок!  
Агалиев хотел было хворостиной прогнать старика с его верблюдами и овцами, но благоразумие на этот раз взяло верх.  
— Нуры-ага, — сказал он, — я знаю, что аульные баи и дехкане, особенно такие, как ты — люди бесхитростные. Вы не то, что какие-нибудь торговцы с четырех базаров. Я сегодня же выясню, кто арестовал Недир-бая, за что его держат в тюрьме и, если он не виноват, немедленно его выпущу. Только скажи мне, кто дал такой мудрый совет, чтобы отправить этот дорогой подарок ко мне в кибитку?  
Нуры-ага оказался великим дипломатом.  
— Сам знаешь — уважение к достойным людям... — он пожал плечами.  
— Неправда, Нуры-ага! — крикнул Агалиев.  
— А помнишь поговорку: дар найдет себе дорогу и на седьмое небо.  
— Без шуток предупреждаю: не скажешь — быть тебе с Недир-баем на одних нарах.  
— Твой друг сказал! — выпалил Нуры.  
— Какой друг?  
— Давай больше не притворяться, Мурад-джан.  
— Слушай, Нуры-ага! — зарычал Мурад, и даже волк за кибиткой отозвался на этот разъяренный крик.  
Старик вздрогнул.  
— Ходжакули сказал!  
— Ходжакули...

### **Вот так комиссия...**

Что ж, Мурад Агалиев принял взятку: саксаул свалили в кучу, овец загнали за дувал. Он даже одарил старика: с большим трудом, позвав на помощь соседей, председатель Тедженского исполкома взвалил на горб верблюда спутанного волка. И Нуры-кор повел свой караван домой, сказав на прощание:

— Спасибо, Мурад-джан. За волчью шкуру байские дети подкинут мне двух овечек.

В исполкоме Агалиев успел сделать несколько распоряжений: освободить ни в чем неповинного Недир-бая, передать в больницу дрова и овец, назначить срочное заседание бюро исполкома.

— К вам товарищи... из Ашхабада приехали. Примите? — секретарь из демобилизованных писарей широко распахнул дверь.

— Извините, мы комиссия. Обком партии поручил нам, товарищ Агалиев...

Комиссия была невелика — всего двое. Старший, попросивший называть его просто Давидом Захаровичем, в пестром галстуке, с беспокойным взглядом утомленных глаз, все время поглаживал рукой то портфель, то клеенку стола. Агалиев про себя подумал, что, наверно, он был до революции приказчиком в мануфактурном магазине и привык разглаживать шерстяные отрезы ка прилавке. Второй — Черкез-Чары. Это был здоровенный парень с чисто выбритой головой, в голубой гимнастерке, подпоясанной широченным



ремнем, и в красных галифе. По-русски он говорил без запинки, но коверкал все слова подряд. По-видимому, он был прежде унтер-офицером в каком-нибудь конном отряде.

Давид Захарович долго расспрашивал Агалиева о положении дел в уезде, записывал в тетрадочку. Больше всего он интересовался государственной границей на участке Каахка, Мене, Чача и Серахса. Черкесу-Чары показалось, что пустой разговор может затянуться, и он круто повернул его.

— Я думаю, у председателя исполкома дел вполне хватает. Может, перейдем прямо к цели нашего приезда?

Давид Захарович недовольно посмотрел на него, ко согласился:

— Правильно говорите, Черкес Чарыевич.

Он коротко сообщил, что поступили жалобы на некоторых работников исполкома, и вдруг спросил:

— Как же все-таки арестовали Недир-бая?

— Мы еще не успели расследовать, — честно ответил Агалиев.

— Почему?

— Только вчера узнали?

— Хорошенькие дела! А в область уже четыре дня назад поступили сигналы.

— Удивительно. Но еще более удивительно, что мы до сих пор не знаем, кто его арестовал.

Давид Захарович недоверчиво прищурился.

— Не знаете, что творится у вас под ногами?

— Понимайте, как хотите, — сухо огрызнулся Агалиев.

— Поверьте, я не хочу обижать вас, Мурад Агалиевич, — но что вы сами думаете о происшедшем?

— Мне это всё не нравится. И даже не потому, что бай четыре дня просидел в тюрьме, а потому что из-за таких мелких провокаций от нас отшатывается народ. Тут, думаю, действует рука врага.

— Вот, наконец, я слышу верные слова! — оживился Давид Захарович.

— А какие слова были неверные? — крикнул Черкес-Чары. — Какая нужда вам пережевывать то, что ясно с первого слова? Все мы советские люди...

— Если вам не нравится, как я веду разговор, может быть вы сами...

— Я не постесняюсь сказать свое мнение и в обкоме! — выпалил Черкес-Чары. — Только не думайте, что во мне говорит националист и поэтому я поддерживаю Агалиева! Я не побоюсь всадить сразу шесть пуль в туркмена, который против Советской власти...

Черкес-Чары быстро ходил по комнате, шурша своими красными галифе. Минута была тягостная для всех троих. Наконец Давид Захарович выдал из себя полуизвинение.

— Я немного погорячился. Такой характер. Прошу вас, Черкес Чарыевич, хватайте меня за удила.

— У меня тоже характер — кипяток. Не обижайтесь на мою грубость, — пошел на примирение и Черкес.

— А вы не думаете, Мурад Агалиевич, что кто-нибудь захотел... подоить Недир-бая? — спросил Давид Захарович.

— Всё может быть.

— Вам ничего об этом неизвестно?

Агалиев рассказал комиссии о загадочном караване Нуры-кора.

— И вы не приняли взятку?

— Послал её в больницу.

— В больницу?

— Если сомневаетесь, можете справиться хотя бы по телефону.

— Дело в том, что жалобщики обвиняют именно вас. Верно я говорю, Черкес Чарыевич?

— Правильно.

— Кто писал жалобы? — отрывисто спросил Агалиев,  
— Мы не имеем права называть имена, — с достоинством ответил Давид Захарович.  
— Ну что ж, спасибо и на этом. Но я требую, чтобы вы прежде всего проверили самих жалобщиков и привлекли к ответственности за клевету.  
— Требовать, конечно, можно. Только...  
— Агалиев имеет право требовать! — резко поддержал Черкез.  
— Но привлекать к ответственности — не наше дело,  
— Это почему? — возмутился Черкез.  
— Такой закон.  
— Неправильно!

Агалиев чувствовал, что между членами комиссии назревает ссора, и попытался вернуть их к сути дела.

— Я уверен, что жалобы надоумил писать тот, кто арестовал Недир-бая. И дело тут вовсе не в личной вражде ко мне... Вот почему и настаиваю на очной ставке.

— Пожалуй... Придется запросить верх? — неуверенно сказал Давид Захарович.

— Верх — это мы сами! — снова вспылал Черкез. — Пусть потом с нас и спрашивают! Ну-ка, давай сюда жалобы!

Давид Захарович замялся, но Черкез сам потащил из его портфеля кипу заявлений.

— Тут чёрт не разберется, — быстро просматривая бумаги, бормотал он. — Вот подпись какого-то Утук Дурды. А адреса нет...

— Утук Дурды. Не слышал о таком в Теджене, — сказал Агалиев.

— И тут нет подписи... А это письмо и прочитать нельзя. Ага! Это подписал Салтык-мулла. Адрес: лощина Чувазли...

— В Теджене нет такого муллы. А в лощине Чувазли только шакалы воют.

Черкез-Чары швырнул бумаги на стол.

— Из-за такой ерунды мы морочим голову честному человеку! — горячился он. — И еще думаем, что занимаемся делом! В протоколе надо написать: «Всё — клевета! Впредь не заниматься подобными доносами!» Правильно? Если правильно — считаю работу законченной!

И точно в полном согласии с Черкезом-Чары неутомимо зазвонил на столе телефон. Ашхабад? Нет, Ташкент!

— С вами будет говорить председатель Совнаркома республики товарищ Атабаев. Не отходите от аппарата.

В кабинете умолкли. Голос ташкентской телефонистка звучал так громко, что все услышали. Мурад Агалиев, не отрывая трубки от уха, ожидал знакомого голоса. Сейчас услышит о Москве, о Кремле, о Ленине. Мурад Агалиев, как мальчик, забыв о всех неприятностях, стоял и улыбался в ожидании знакомого голоса.

Он прозвучал грубо и резко, этот голос — как будто из середины злого разговора. Не поздоровавшись, не слушая возражений, Кайгысыз Атабаев кричал:

— Отвратительно, когда люди, которым доверяешь, отравляют тебе существование!.. Я считал тебя настоящим коммунистом, а ты не оправдал доверия!.. Чего тебе не хватает?.. Не мог написать мне, если туго приходится... Ашхабад требует освободить тебя от должности и передать дело в парткомиссию! Для расследования приеду сам! Подтяни пояс потуже!..

Разговор оборвался.

Агалиев расправил складки гимнастерки под солдатским ремнем и тяжело вздохнул. Голова у него закружилась, потому что он не дышал, слушая этот жестокий и несправедливый разнос... Лучше бы ему дал и по морде... Он подвинул чернильницу, зачем-то защелкнул свою полевую сумку, лежавшую на столе, и сухо сказал:

— Если вы кончили, товарищ Черкез-Чары, то я хочу внести предложение — привлечь к ответственности одного из работников исполкома.

— Кого же?

— Ходжакули Ниязкулиева.

Давид Захарович подскочил на стуле, как будто его укололи булавкой, и даже надел пенсне.

— Начальника адмтдела? — тихо спросил он.

— Его самого.

— Неужели это возможно? Может, вы ошибаетесь?

— Сегодня вечером я соберу заседание исполкома. И вы сможете убедиться, что я не ошибаюсь. Прошу вас принять участие...

— Ходжакули — это тот заносчивый парень? Экая вошь с халата! — Черкез-Чары сжал кулак. — Если это правда, — заставлю расстрелять на площади!

— С утра плохо себя чувствую, — сказал Давид Захарович слабым голосом. — По всему телу — мурашки... Должно быть лихорадка. Это еще с фронта — в болотах тогда воевали. Придется принять аспирин и пропотеть под одеялом.

Он схватил свой портфель и поспешно удалился,

Черкез подмигнул Агалиеву.

— Нравится?

— Трудно понять человека с первой встречи.

— Я тоже недавно с ним познакомился, а вот не показался... Похоже, большой подлец!

Ходжакули Ниязкулиев на вызов к вечернему заседанию бюро исполкома не явился. Никто его не видел уже и в конце дня. Когда решили послать за ним, в кабинет вбежал Давид Захарович — растерянный, запыхавшийся, с подвязанной щекой.

— Ушел! Прямо из рук выскользнул!

В изнеможении он упал на подставленный стул.

— Кто ушел? — свирепо закричал Черкез-Чары,

— Ходжакули! В погоню за ним!..

— Куда?

— Почему я знаю! — Давид Захарович беспомощно моргал глазами, протирая запотевшее пенсне. — Я вцепился в него, а он... Он двинул меня по скуле, зуб раскрошил, видите — даже щеку раздуло...

Агалиев кивнул начальнику милиции, — тот выскочил из кабинета. Под окном послышался конский топот. Звонил телефон в приемной.

Мурад со всей сдержанностью, на какую был способен, подошел к асхабадскому гостю и положил руку на его плечо.

— Каким образом вы очутились у Ходжакули?

— Ну, что поделаешь — дурак... Не отпираюсь. Захотел лично проверить наши подозрения, так сказать, прощупать человека... Но он уже все понял еще до моего прихода. Я застал его в подавленном состоянии, пьяного... Налил мне полный стакан, пришлось выпить, чтобы он не по думал...

— Ну, а потом? — перебил его Черкез-Чары,

Он вдруг подошел вплотную к Давиду Захаровичу и наклонился к его лицу, отодвинув Агалиева.

— Надо же, какое несчастье... А что с зубом? Дайте-ка посмотрю...

— Не трогайте! Нестерпимая боль!.. — завизжал Давид Захарович. Но Черкез, не слушая его, сорвал повязку и с торжеством поглядел на всех. Левая щека ничуть не отличалась от правой, не было на ней и синяка. Грубым движением Черкез оттянул нижнюю челюсть негодяя, и все смогли убедиться, что его тридцать два зуба, включая и те, на которых были золотые коронки, в полной сохранности.

Как раз в эту патетическую минуту ворвалась в кабинет растрепанная молодая женщина, со сбившимся на сторону яшмаком. Прикрыв рот дрожащими руками, она бормотала:

— Ах, какой стыд. Какой позор.

Агалиев посадил ее рядом с собой, протянул полную пиалу воды. Стуча зубами, она

выпила до дна, повторяя:

— Как стыдно, что я пришла. Ведь это грех...

— Не стесняйся, — подбодрил ее Агалиев, — говори спокойно, тут все твои друзья...

— Разве бы я стала говорить, разве бы пришла сюда, если счастье мое не почернело...

У нее перехватило дыхание. Агалиев снова налил воды в пиалу. Все молчали, только и было слышно, как женщина громко глотает воду. Она как будто успокоилась, снова заговорила:

— Этот... чтобы он умер ошипанным, обманул меня и увез. Сказал: «Разведу тебя с мужем, сам женюсь...» А привез в свой дом, запрятал, как в тюрьму, чтобы никто меня не видел, и расписываться не хочет.

— Кто это должен умереть ошипанным? — спросил Агалиев.

— Как кто? Ходжакули!

— Что же было дальше?

— А сегодня, когда открылись все его подлости, он ударил коня камчой...

— Как же он узнал, что подлости открылись?

— Он уже давно насторожился, но еще не думал бежать. А сегодня... Пойдите-ка, когда это было? Когда в конторах кончилась служба, пришел к нему русский в очках...

Давид Захарович все это время сидел, низко опустив голову, но тут он рванулся из-за стола, и тотчас железная рука Черкеза пригвоздила его к месту.

— Этот очкастый, — продолжала женщина, — напугал его, сказал, что сегодня ночью арестуют... — Взгляд ее упал на Давида Захаровича. — Это он. Он сидит, чтоб его на куски разорвало!

Черкез-Чары занес над Давидом Захаровичем свой огромный кулак, но не успел опустить — его оттащили. И когда подлеца уже волокли за дверь, женщина спокойно и убежденно сказала:

— Пусть земля поглотит его без остатка.

## Чалмоголовые за холмами

Ходжакули назвал себя ханом.

Говорили, что он бросил клич в пустыне, собрал разрозненные отряды басмачей и повязал голову чалмой. Говорили, что Ходжакули-хан, вчерашний начальник адмтдела, объявил себя защитником ислама.

Мало ли что говорили в Тедженском уезде. Важнее было то, что уже слышна была стрельба, а по ночам в степи вставали зарева пожаров. Басмачи уводили коней из аулов, а скудные запасы хлеба, еще оставшиеся в кибитках бедноты, считали как бы наследством, завещанным им от отцов.

Мурад Агалиев провел совещание в военкомате. Тедженский отряд самообороны готовился выйти в пески по следу ниязкулиевской банды. Хватит ли сил у тедженских конников?

— Ходжакули Ниязкулиев повязал голову чалмой, — с мрачной улыбкой говорил Агалиев. — Эта грязная гадина — защитник ислама! И народ ему верит... Это, примерно, то же, как если бы ишак отправился на вечерний намаз в мечеть...

Все посмеялись, но смех-то был невеселый. В Теджене все знали изворотливость Ниязкулиева и не уважали его ни как советского работника, ни как мусульманина. Но сейчас только начинали догадываться, что негодяй прошел тайную выучку у английских лазутчиков — уж очень ревностно, на глазах у темных кочевников, новоявленный хан читал намазы, окруженный своими всадниками... Имам, — да и только! Тут чувствуется школа Тиг Джонса — повсюду в странах арабского мира англичане помогали строить мечети, чтобы разрушать основы мусульманской веры.

В тот день Агалиев вызвал на заседание комсомольского комитета паренька Чары Веллекова и представил его:

— Хочу его послать комиссаром в отряд Керим-хана.

Чары Веллеков, точно молодой соколенок, поглядывал на старших товарищей, готовясь постоять за себя, если будут над ним смеяться. Но коммунисты скрыли свои улыбки — не глядя на молодость, Чары понравился им — осанкой, толковыми ответами, соколиным взглядом, что ли... Никто не посмеялся.

Керим-хан был родом из белуджей — из тех, кто от голода ушел из своей страны и поселился когда-то в долине Теджена. Он был самый отчаянный среди белуджей и джемшитов, нукеры собирались вокруг него по его первому зову и беззаветно верили в его удачливость, готовы были за ним — в огонь и в воду. Вокруг палатки Керим-хана, раскинутой в степи, всегда бродили выносливые быстроходные верблюды, били копытами горячие кони. А в самом шатре четыре красавицы сбивались с ног, стараясь угодить Керим-хану.

Быть в его отряде считалось высокой честью, даже жены нукеров хвастали в аулах перед другими женщинами:

— Наш муж — человек Керим-хана.

— Наш муж — дядя Керим-хана.

— Наш муж — афганец, мусульманин, слуга Керим-хана.

«Наши мужья» — конные нукеры Керим-хана — все в одинаковых зеленых чалмах — вооруженные английскими винчестерами и русскими трехлинейными винтовками, увешанные маузерами, «лимонками» и опоясанные патронташами, восторженно ловили взгляд своего предводителя. А он, статный, широкоплечий, всегда шел впереди отряда, высоко возвышаясь на своей светло-серой верблюдице. Его большие глаза, блестящие из-под нависших бровей, глядели грозно; лихо закрученные под горбатым носом усы — толщиной с хорошую палку; сизоватый подбородок с грубо подстриженной бородой, колючей как щетка... Еще недавно сам Керим-хан разбойничал и грабил не хуже басмачей, но в последний год не раз оказывал услуги Советской власти. Его хорошо знал Николай Антонович Паскуцкий, командовавший в эти дни Ферганским фронтом. Видимо, он и подсказал использовать отряд Керим-хана в борьбе с ниязкулиевскими бандами. Но Агалиев, как все тедженцы, хорошо знал Керим-хана и понимал, что доверяться нельзя. Он всегда может вспомнить старые привычки. Потому-то Мурад Агалиев и предложил послать комсомольца Чары Веллекова вроде бы за комиссара.

Уже несколько дней прошло после побега Ниязкулиева. То там, то здесь возникали в песках отряды чалмоголовых — это Керим-хан выслеживал басмачей. В Теджене Агалиев сбился с ног, осуществляя мобилизацию уезда. Пришлось уйти из кибитки в город. Работники исполкома и ночью не расставались с оружием.

А однажды пришел из Ташкента пассажирский поезд — постоял минут десять и ушел дальше, швыряя клубки паровозного дыма в степные просторы. А на запасном пути остался отцепленный вагон, салон-вагон голубой с золотом, на окнах занавески, у дверей — стража. Никто не объявлял заранее о приезде в Теджен председателя Совнаркома республики. Но со всех ног к вагону сбежались тедженцы, — как на скачки с призами. Всем было лестно не то, что глава правительства, а то, что — свой, тедженец.

— Где наш Кайгысыз?

— Покажите его!..

— Сейчас выйдет, стойте тихо...

— Он приехал, чтобы уговорить Ходжакули-хана.

— Как же, уговорить — голову снять с плеч!

И тедженские милиционеры тоже суетились, оцепляя салон-вагон, как будто не хватало вооруженной охраны.

Атабаев не заставил себя дожидаться. Он появился в дверях — такой же, каким его видели и год назад, только в черном кожаном пальто, в такой же фуражке и в хромовых сапогах. Спрыгнув со ступенек, он поклонился собравшимся, прекратил начавшуюся шумную овацию, поздоровался за руку со стариками и работниками исполкома, Толпа

окружила его, Атабаев дал знак милиционерам, чтобы они не мешали своей возней, и тут же, как на митинге, быстро заговорил:

— Дорогие товарищи! Приветствую вас от имени Туркестанской Советской республики!

— Пусть будет здоров тот, кто привез привет! — закричали в толпе.

Атабаев помахал рукой.

— Товарищи, я не знаю, какие надежды привели вас сюда. Но пока мне нечем вас особенно порадовать. Вы знаете, какая тяжелая международная обстановка, еще лучше знаете, как живет беднота. Наша Советская власть — тот же бедняк, который решился обзавестись хозяйством. Ей даже хуже. Бедняку помогают соседи, а наши соседи виснут у нас на руках. Если бы взгляды могли убивать, мы давно лежали бы бездыханными — так ненавидят нас мироеды, так много у народной власти врагов. Но я приехал сюда не для того, чтобы делать доклад. Теперь говорите вы. Может, у кого есть жалобы, у кого — просьбы, у кого — вопросы...

Никто не хотел начинать разговор — может потому, что Атабаев сам предупредил все жалобы на нехватки, все горькие вопросы, обычные при таких встречах.

— Земляки! — сказал Атабаев, — и не думайте, что, став главой правительства, я отделился от вас. Я никогда не забываю, что был пастухом и дышу одним воздухом с вами. Ваша радость — моя радость, ваша печаль — моя печаль. Я не могу обещать, что удовлетворю любую просьбу, но все, что можно — сделаю. У кого какая болячка, — говорите!

Узловатые пальцы длинной руки протянул к нему старик в темно-красном хивинском халате, подпоясанном скрученным платком. На правой щеке у него был шрам от конского копыта. Старик, не моргая, уставился на Атабаева.

— Кайгысыз, добрые дела на полу не валяются, — сказал он. — Слухом земля полнится...

— Может у вас, ага, есть какая-нибудь просьба? — перебил его Атабаев.

Старик щелкнул пальцами по его рукаву, будто сбивая пылинки, и сказал:

— Понимаю, не хочешь слушать, как тебя хвалят в лицо. Но я хочу при всех высказать свою радость. Не думаю, что люди собрались сюда, чтобы подавать тебе жалобы. Конечно, у всех есть трудности, но есть и терпение — дожидаться лучших дней. Так скажи нам: спокойно ли в мире?

— Мир похож на казан с сорока ручками, под которым всегда пылает огонь.

— Еще Махтумкули говорил... мир широк и есть в нем всякое дыхание, — подхватил старик. — Но я спрашиваю о нашем Советском мире.

— Наш Советский мир крепнет. Побывал я в Москве, слышал Ленина. Он сказал — будет много света в нашей стране... Правда, в горах не без волка, в народе не без вора. Вы лучше меня знаете проклятую беду нашего края — басмачи, которых покупает английская разведка. Особенно много басмачей в Фергане. Но вот и в моем родном Тедженском уезде объявился Ходжакули-хан.

— Щенок у матери учится лаять... Я не знаю выроodka Ходжакули, но знал его отца. Сын, говорят, в отца, отец — во пса, оба — в бешеную собаку... Я хотел тебя спросить, Кайгысыз...

— Спрашивай, ага, спрашивай.

— Велика ли твоя власть в Ташкенте?

— Как тебе сказать...

— Говорят: «Лучше быть нищим в Египте, чем падишахом в Кенгане». Я бы на твоём месте не стал смотреть на этот Ташкент-Пашкент, а вернулся бы на родину. Мы бы тебе дали самую большую власть.

— Но ведь мы, коммунисты, работаем не ради власти!

— А тогда и подавно! Если бы ты был здесь, разве мы упустили бы Ходжакули?

В это время сквозь толпу протиснулась женщина. Слишком смело она держала голову,

пришла без яшмака и громко, чтобы все на нее обратили внимание, сказала высокому начальнику:

— Хан, у меня есть просьба!

— Ха-ан? — удивился Атабаев и пристально посмотрел на женщину.

Ее круглое лицо с двойным подбородком блестело от пота, в волосах поблескивала седина, но ворот платья был расшит пестрее, чем у любой молодухи. Большие, как ведра, груди распирали шелковое платье, и казалось, оно вот-вот лопнет. Глаза бегали весело и игриво.

Не понравилась она Атабаеву и он твердо сказал;

— Я не хан...

— Какая разница... так начальник!

— В чем дело?

— Меня мучает муж.

— Кто он?

— Один ошипанный поливальщик, который не может сам себя прокормить. И ничего не может...

— Он бьет тебя, истязает?

— Пусть только попробует! Я отправлю ему в глотку все его последние зубы!

— Как же он тебя мучает?

— Ай... долго рассказывать! Мучает... Я уйду от него.

— А какое мне до этого дело?

— Да ведь власть в твоих руках?

— Но я же не могу заниматься семейными ссорами!

— А кто может?

— Есть суд, есть загс...

— Я не знаю ничего и знать не хочу! Не выправишь мне бумаги, не уйдешь отсюда!

— Ого!

— Знать не хочу ни твоего ого, ни твоего гого! — наступала бесстыдная баба.

И уже люди смеялись, — может, и в самом деле добьется своего эта женщина? Ведь ходят же слухи, что новые начальники не хуже баев — любят прятать у себя в доме разных блудниц, бегущих от старых мужей.

Неизвестно, как вышел бы из этой передраги Кайгысыз Атабаев, если бы не огромный, похожий на медведя, дядя, стоявший на площадке салон-вагона. Это был Абдыразак, которого старый друг вызвал к себе из Мерва. Поняв, что разговор с бедовой бабой пошел по мелочам, что называется, с кустика на травку, он спрыгнул на перрон и потянул друга за рукав. Атабаев резко обернулся.

— Сейчас же иди в вагон! Понятно? — громко сказал Абдыразак.

— Видишь, тетка, — рассмеялся Атабаев, — ты называешь меня ханом, а есть люди и постарше меня, поважнее,

— Разве Кайгысыз не ты?

— Ничего похожего. Вот — Кайгысыз! — он показал на Абдыразака.

— Так бы и говорил! — женщина повернулась к Абдыразаку. — Значит ты, товарищ Кайгысыз, и выправишь мне бумагу о разводе.

— Тут неудобно, — благодушно сказал философ. — Давай отойдем в сторонку и разберемся в твоей просьбе.

Но как только они оказались позади вагона, Абдыразак прикрикнул:

— Сейчас же отправляйся домой! И помни, что семья — дело серьезное. По капризу люди не расходятся. А если попробуешь еще затевать скандал, то я позову кой-кого, и тебя отведут в тихое место...

Женщина хотела было поспорить, но заглянув в свирепые глаза Абдыразака, бросилась бежать, и только ветер раздувал ее платок, как парус.

## В салон-вагоне

Исполком — все на той же Церковной площади; и раньше из этого скучного дома управляли всем уездом. И та же желтая почта, и та же белая церковь с зеленым куполом, а чуть подальше к реке, обозначенной ивами, — школа, где шесть лет учился Кайгысыз.

Почему-то стало грустно. Атабаев остановился и молча поглядел вдаль, в сторону школы. Деревья подросли, едва видно серое железо крыши. Двор, наверно, не такой уж чистый, как в те годы, некому подметать. А вон и старое дерево у окна Василия Васильевича... Давно нет Василия Васильевича, а чинара живет, что с ней сделается.

— Вспоминаешь детство? — спросил Абдыразак.

Атабаев вздрогнул, как будто его разбудили, ответил бог весть как вспомнившейся некрасовской строкой:

У каждого крестьянина  
душа, как туча черная  
гневна, грозна, — и надо бы...

— И всё, что было в детстве, как на камне высечено, — оборвал он строку. — От каждого дерева, от каждого окошка идет тепло. Здесь на грифельной доске я первую букву нарисовал и получилось похоже на щипцы... Сказать по совести — хочется подойти к воротам школы и поклонить колени.

Абдыразак не выносил никаких проявлений чувствительности, по крайней мере — чужой.

— Ну, если так, придется и намаз прочитать?

— Может, и не намаз, а только вслух помянуть добром одного старого человека в синем мундире, того, кто с пастухом поговорил однажды вон за тем окном...

— Валяй — помолимся!

— Лучше не задевай меня, — засмеялся Атабаев. — Помни, что я сердар!

— Отец твой был сердар, а не ты.

— Говорят: дело отца священо для сына.

— Говорят: и от инера родится ублюдок.

Мурад Агалиев привык к этим дружеским колкостям Кайгысыза и Абдыразака, и он спокойно стоял за их спинами, но остальные, сопровождавшие председателя Совнаркома республики, переглядывались: им, верно, казалось, что двое почтеннейших мужей несколько тронулись умом и ссорятся, как мальчишки, не поделившие в игре бараньи косточки.

В исполкоме Атабаев пропустил в кабинет Агалиева только тех, кого посчитал нужным, и приказал запереть дверь. За столом Мурада он расположился, как у себя в Совнаркоме, — потребовал подробную карту уезда, выслушал короткий доклад военных. Его интересовали места расположения колодцев, — именно там и гнездились басмачи. Он крестиками пометил для себя на карте: Мамур, завод Узына, Елбарслы, Айноколь, Атыран, Кырккую, подтянул к ним тоненькие карандашные линии, — и все почувствовали, что он собирается лично руководить операцией. У него был опыт ликвидации басмаческих банд в долине Ферганы — он знал, что у них отборные кони, на вооружении — английские одиннадцатизарядки и что на открытой местности они бесстрашно принимают бой, а потом внезапно и быстро уходят, тогда надо всё начинать сначала.

— Из Асхабада в сторону Кырккую — сотню всадников. Из Артыка к Айноколю — сотню всадников. Из Мары — к Мамуру — сотню всадников. Отряд Керим-хана — в Елбарслы. Тедженскому отряду стоять в Атыране. Штаб операции — завод Узына, — точно боевой приказ отдиктовал Атабаев. — Все отряды, обеспеченные оружием, медикаментами, трехдневным запасом продовольствия, должны появиться в указанных точках послезавтра, ровно в пять утра. Самолеты, вылетевшие из Асхабада и Каахка, будут корректировать движение войск. Срок операции устанавливаю двадцать четыре часа. Городской гарнизон



должен быть начеку на серахской дороге. На время операции объявляю военное положение...

Мурад Агалиев ни разу не сказал ни слова, он чувствовал, что после разговора по телефону Атабаев установил некую дистанцию в отношениях, и он, конечно, не собирался ее переступить первый, он был очень обижен другом. Он промолчал даже тогда, когда, складывая карту по-военному, «гармошкой» и пряча ее в свой планшет, Атабаев сказал:

— Тедженские коммунисты считают себя стойкими и закаленными. Так оно и есть! Но это далеко не все, что требуется от работника в наших условиях. Настоящий большевик должен быть бдительным, обладать политическим чутьем. Русские говорят: одна искра может спалить лес. В этом доме среди вас толкался Ходжакули Ниязкулиев, сидел на этих стульях, глядел вам в глаза, и вы не сумели в нем разобраться... Теперь за ним сотни нукеров. И сотням наших конников нужно будет, пройти сотни километров, рисковать своей жизнью. К сожалению, я говорю всё это в пустой след...

Атабаев не называл имен, но поглядывал на Агалиева, на начальника милиции, на военных из гарнизона. И каждому из них было не по себе.

— А не много ли я вам наговорил, товарищи? — сказал под конец Атабаев, и лицо его подобрело. Он встал, надел через голову свой планшет, взял фуражку. — Итак, действовать точно по часам... Прошу сверить с моими...

И когда все сверили свои часы, он пошел к выходу, только сейчас на ходу как бы заметив Мурада, сказал:

— Прошу ко мне в вагон в девять вечера.

Поздно вечером в салон-вагоне за длинным столом сидели трое — Атабаев, Абдыразак и Агалиев.

Плотные занавески были опущены, уютно светила настольная лампа, на станции было тихо, только в одиннадцатом часу прошел товарный состав. И снова — ни голоса, ни паровозного свистка. Атабаев просматривал бумаги, писал на них резолюции, Абдыразак читал газету, свободно развалившись в кресле, а Мурад, по-военному прямо сидел на стуле, ожидал приказаний начальства,

Атабаев передал ему три заявления.

— Каждому из этих людей за счет Совнаркома оказать помощь в размере ста рублей. Тут я написал... Кстати, кто у вас заместитель начальника милиции?

— Ямур Язлиев.

— Хороший стрелок?

— Понятия не имею.

— Как это можно не знать боевых качеств своего работника?

Разговор не к добру. Агалиев попытался вывернуться.

— Не знаю, какой он стрелок, а что выпивает — слышал.

— Вот пишут, что он посреди аула лезет на чужую кибитку и стреляет куда попало. Подписали пять человек. Ты думаешь, что этим он укрепит — авторитет Советской власти? Чтобы завтра же его не было в милиции!

— Что ты собираешься с ним делать? — лениво вмешался Абдыразак.

— Снять с работы.

— Это всё равно, что премировать.

— А ты что посоветуешь? Агалиев, отправьте этого стрелка в распоряжение философа. Пусть он как хочет, так с ним и распорядится.

— А на какой срок? — поинтересовался Абдыразак, делая вид, что принимает указание всерьез.

— Пока сам не прогонишь.

— Что ж, я научу его собирать тутовый лист. Если еще будут такие... всех посылайте ко мне.

— Хочешь открыть шелкомотальную фабрику?

— Кто же откажется от бесплатных услуг?

- Не беспокойся, этот тип и харчей не оправдает.
  - Еще как оправдает, когда я подтяну ему живот!
  - Может, назначить тебя начальником гауптвахты?
  - Подбородок мой встретится с носом раньше, чем я получу от тебя благодарность!
- Атабаев расхохотался.

Отложив газету, Абдыразак залюбовался ила. Станный человек! Вызывает к себе в Ташкент тех, кого считает талантливыми. Вызвал недавно отсюда, из Теджена, поэта Молламурта, очень беспокоился, что он бледен, покашливает, пьет слишком крепкий зеленый чай. Наверно, убежден, что если поддержать Молламурта, тот напишет поэму, воспоеет новую эпоху. Но Молламурт чувствовал себя в Ташкенте как птица в клетке, просил, чтобы отпустили его домой. Тогда председатель Совнаркома привез в столицу Молла-Пури; смеялся над его пряными шутками, терпел зеленые плевки наса по всем углам своей квартиры. Как всякий терьякеш, Молла-Пури говорил в нос и был бледен до синевы, напоминал Кайгысызу несчастного брата Гельды. Все был готов вытерпеть председатель Совнаркома ради новой поэзии. Но как бы ни был талантлив Молла-Пури, сделать его родоначальником советской интеллигенции было не легче, чем из старого мерина сделать молодого жеребца.

Когда Атабаев в последний раз побывал в Мерве, он увез с собой в вагоне полмешка сыпучего песка и полмешка местной глины. Абдыразак ткнул тогда носком сапога в мешок и спросил:

- В детский сад? Чтоб лепили из глины верблюдов?
- Приедем в Ташкент — увидишь! Проверят в лабораториях песок — может, годится для стекольной промышленности. А из глины, может быть, можно делать чайники.
- Ишь, как размечтался!
- Кто не сеет — не жнет.
- Песок — не пшеница.
- Если стоять на своем, можно добиться многого?
- Сколько ни старайся, от яловой коровы не добьешься приплода!
- А что случится, если опыт удастся?
- Это-то верно...
- Значит, никогда нельзя упускать из виду все, что может оказаться полезным для народного хозяйства.

Будто подслушав эти воспоминания Абдыразака, Атабаев спросил Мурада:

- Что бывает, когда осенью и зимой много влаги?
- Двойная весна? — неуверенно ответил Агалиев, не понимая, куда клонит Кайгысыз,
- Правильно. А что потом?
- Потом выйдешь в пустыню, а там в глазах рябит от буйных всходов чомучи. Золотая трава...
- А ты слышал, что варево из чомучи помогает от чахотки?
- Я знал приговоренных к смерти, которые поправились от чомучи, — сказал Абдыразак.

— Год нынче неплохой. Если не буду здесь до весны, попрошу вас обоих прислать мне мешок чомучи.

- У тебя чахотка? — удивился Абдыразак.
- Первый раз слышу!
- А зачем чомуча?
- Я не один на свете. Пусть в Ташкенте врачи разберутся, в чем сила чомучи. Возможно, ее следует культивировать.

— Вот это умно! — сказал Абдыразак, — это не песок из пустыни возить!

— Слава богу, хоть раз похвалил!

Атабаев собрал бумаги, позвал секретаря и попросил разослать их по адресам. Агалиев тяжело вздохнул. Теперь Кайгысыз свободен, можно приступить к неприятному объяснению.

Он вытащил из кармана кипу писем, привезенных Давидом Захаровичем, и бросил их на стол. Его обвинили в карьеризме и взяточничестве, в грубом самоуправстве и даже в том, что он свою кибитку превратил в гнездо разврата. Атабаев бегло просмотрел, открыл свою папку. Копии этих анонимных писем, присланных из Асхабада в Совнарком, лежали на своем месте.

— Как к тебе это попало? — спросил он.

Агалиев сухо и точно, как у прокурора, рассказал всю историю с бегством Ходжакули.

Атабаев, ни разу не прервав, внимательно слушал его, поигрывая карандашом, и вдруг спросил:

— Я передал тебе привет от Николая Антоновича?

Мурад хмуро пробормотал:

— Нет, не передал. Разве может помнить о таких пустяках государственный деятель, который привык палкой наводить порядок.

— Тогда прости, пожалуйста... Николай Антонович просил передать привет.

— Спасибо, — тихо сказал Мурад.

— Он командует войсками Ферганского фронта, а Ферганская область сейчас на военном положении. Прекрасный человек, Николай Антонович!

Мурад, наконец, нашел повод уколоть Атабаева.

— Говорят: джигита — узнавай по другу. Николай Антонович мой старый друг.

— Выходит, ты неплохой джигит?

— Некоторым и молоко кажется черным.

— Ну что ж, следующий раз будем смотреть на молоко повнимательнее.

— Если чересчур внимательно, можно и в молоке увидеть кровь, — неуступчиво бормотал Агалиев.

— До сих пор я думал, что щенки, у которых на губах не обсохло молоко, не так злопамятны.

— Если ребенка погладить по голове, он может и забудет о затрещине, но взрослый человек...

— Придется снова ругать взрослого человека, раз он так болезненно переживает выговор.

— Это в вашем духе, товарищ Атабаев. Удивляюсь, что вы не последовали примеру хивинских палачей. Они избивали человека, да еще требовали «плату за топор».

Атабаев прекрасно понимал теперь, что жалобы на Агалиева были гнусной клеветой, но Ходжакули все-таки бежал и, значит, нечего ему извиняться за тот телефонный разговор и гладить по головке молодого ротозея. Абдыразак решил прекратить бесплодное препирательство и спросил:

— А я все-таки не могу разобраться в корнях басмачества. Некоторые считают, что это просто разбой, что тут нет политики.

— Эх, вывездил! — возмутился Атабаев. — Басмачество — самое подлинное контрреволюционное движение, организованное баями и муллами под лозунгом национальной независимости и газавата. Иргаш, Мадамин и другие главари ферганских басмачей кричат, что они защищают права мусульман. На самом деле это вовсе не народное, да и не национальное движение, а неприкрытая классовая борьба.

— Как это у тебя гладко получается! — подзадорил его Абдыразак.

— Проще простого! Басмачи опасны, потому что движение возникает повсюду, не на одном месте. Опасны, потому что сознание отсталых народов шатко как ручные весы, опасно потому, что его подогревают наши зарубежные враги. Если мы не покончим с басмачеством, они будут сомневаться в наших силах. Крестьяне не очень-то верят в басмачей, но они еще зависят от баев... — Он задумался и добавил. — Есть пословица: «Кто скрывает грех, тот не исправится». Мы иногда еще допускаем ошибки, которые идут на пользу басмачам.

Вот это верно! — поддержал Абдыразак.

Атабаев сердито посмотрел на него.

— А не подсказешь ли пример?

— Разве их мало? Будет лучше, если сам назовешь.

— Ты же не даешь говорить.

— Руководителю неприлично быть таким мелочным, Кайгысыз!

— Когда мы осуществляем какое-нибудь мероприятие, например, реквизируем коней, скот, или облагаем трудовой повинностью, мы вовсе не всегда принимаем дифференцированные, то есть, в данном случае единственно верные решения. И это вызывает недовольство.

— Об этом-то я и говорю, — сказал Абдыразак.

— Если ты такой умник, почему же не поможешь?

— В этих вопросах берись быть твоим учителем.

Мурад удивлялся смелости Абдыразака и терпению Атабаева. А тот, нисколько не обижаясь, продолжал:

— Иногда мы запросто можем хватить и через край...

— А в чем именно?

— Не открыв новую школу, закрываем старую. Или отбираем земли, данные в надел медресе. Или отстраняем от работы многих честных кази, судей...

— Добавь: под видом раскрепощения женщин открываем путь к разрушению семьи, к разврату.

— Это еще надо доказать... Но я имею в виду не темных людей в аулах — они и не могут сразу освоить новые идеи, — а именно нас, ташкентских и асхабадских руководителей, которые так торопятся слепо повторять все, что делается в других местах, скажем, в России...

— Ох, кажется, зря тебя поставили во главе правительства!

— Это почему?

— Сам признаешь свои ошибки.

— Кто скрывает свой грех, тот не исправится.

— Чем ошибаться, а потом сидеть, свесив клюв, лучше бы с самого начала пошевелить мозгами.

— Ну и упрямый же ты человек! — стукнул ладонью по столу Атабаез.

— Я тоже могу вспомнить пословицу: «Кто говорит правду — друзей не имеет». Ишь, как ты вытаращился на меня!

— Ты норовишь по-своему переиначить всё, о чем я толкую. Даже не толкую, а просто думаю вслух.

— Ладно, ладно, не буду мешать...

— А я не хочу оправдываться, но главный вред, думаю, причинили пантюркисты. Мы стараемся теперь забыть в народе их пачкотню, стараемся не задевать национальных чувств и даже пока не трогаем старые школы, — он отхлебнул холодного чая из пиалы. — Теперь, когда открылись пути из России, надо только скорее восстановить самую коренную связь людей с землей, чтобы земля прокормила людей, скорее устранить скупщиков, спекулянтов, посредников, дать земледельцам инвентарь, семена. А Красная Армия свое дело сделает...

В салон-вагоне появился секретарь и сообщил, что некий вооруженный парень по имени Чары Веллеков просит срочно его принять.

— Это комиссар из отряда Керим-хана, — пояснил Агалиев.

— Пусть войдет, — сказал Атабаев.

Он залюбовался стройным, высоким юношей в ладно сидевшей длинной кавалерийской шинели. Лицо у Веллекова было еще детское, а движения по-военному четкие. Чары остановился у двери, отдал честь и сказал:

— Прошу простить, я должен сделать донесение.

— Станьте вольно и говорите, — сказал Атабаез.

— Сегодня отряд Керим-хана быстро продвигался в пустыне. Возле плотины Люкгидже мы неожиданно столкнулись с басмачами Ходжакули-хана. Началась перестрелка. Они

укрылись в лощине, мы засели в старом русле Джангутарана. Стрельба из-за укрытий затянулась. А когда стемнело, мы поняли, что Ходжакули-хан хочет уйти, и пошли в атаку. Нас встретили пулями, мы не отступили, и в конце концов басмачи бежали к низовьям Теджена. С обеих сторон есть убитые и раненые.

— Как вел себя Керим-хан и его нукеры?

— Отлично.

— Где берет Ходжакули оружие для своих нукеров?

— Говорят, что ему доставляют патроны из пустыни между Серахсом и Мервом. По частоте стрельбы видно, что о патронах они не беспокоятся. На каждую нашу пулю отвечают пятью.

— Цель вашего приезда?

— С патронами у нас плохо. А еще хуже с водой. В колодцах, правда, вода есть. Но всё равно — каждого надо обеспечить фляжкой. А главное — ждем подкрепления! Силами Тедженского отряда и нукеров Керим-хана басмачей не разгромить. Необходимы срочные меры.

Атабаев вызвал секретаря, попросил накормить Веллекова и дать ему рюмку водки. Потом он позвонил в Асхабад и Мерв, распорядился насчет патронов и фляжек. Спросил Агалиева:

— Кони готовы?

— Какие кони?

— Ты спал, что ли?

— Но куда же ехать в такой поздний час?

— Сказано было: едем на завод Узына!

— Всё-таки, лучше бы утром.

— С такой удалью мы никогда не поймем Ходжакули-хана.

— Я немедленно отправляюсь с Чары Веллековым.

— Но ведь команду операцию я!

— Вы можете руководить отсюда.

— Ничего не выйдет. Как только покормят Веллекова, садимся на коней. Поешь и ты...

Как всегда лениво и уютно развалившись поудобнее в кресле, Абдыразак наблюдал за Кайгысызом. «Вот я себя считаю сильным и выносливым, как медведь, а этот еще крепче меня... Об отдыхе и не думает. Ну, какой смысл отправляться среди ночи за пятьдесят километров? Можно быть бесстрашным, неукротимым, но кто поручится, что в эту ночь не случится беды? Ведь басмачи не упустят Атабаева. Если только узнают — костями лягут, а не упустят...»

Абдыразак не догадывался, что Атабаев хочет потолковать с сельчанами, узнать, как в аулах относятся к банде, где легче их накрыть.

— Ты поедешь с нами? — спросил Атабаев Абдыразака.

— Разве можно оставить вагон без охраны?

— Часовых без тебя хватит.

— Но они не смогут съесть всю чектырме.

— Скажи прямо — не хочешь.

— Конечно, лучше спать на мягкой постели, чем скакать всю ночь.

— Так и скажи: и на племя, как бугай, можешь еще сгодиться...

Атабаев безнадежно махнул рукой и ушел в свое купе. Мурад тотчас же позвонил начальнику милиции и приказал расставить охрану по пути к заводу Узына. Конечно, это была чисто формальная предосторожность. Десяток тедженских милиционеров, расставленных на десяток километров друг от друга, вряд ли могли уберечь Атабаева.

— Ты знаешь Кайгысыза лучше, чем я, — сказал Агалиев Абдыразаку. — Неужели нет никакого способа задержать его до утра?

— Не стоит стараться. Можно сломать телеграфный столб, но изменить решение Кайгысыза невозможно. Это самый выдающийся в мире упрямец.

- Кто это упрямец? — спросил, заглянув в салон, уже готовый к поездке Атабаев.  
— Кто же, если не ты.  
— Ты, кажется, мной недоволен?  
— Ай, все равно тебя не переспоришь!  
— Ну, и ладно. До свидания.

Когда они тронулись в путь, и под подковами коней зазвенели рельсы, звезды Улькера стояли в самом зените.

## Светлый путь в темной ночи

Ночь выдалась звездная, безлунная. Казалось, над землей раскинули огромный шатер и сквозь дырки в его куполе просвечивали крупные звезды. Еле угадывалась пыльная дорога, низенький кустик чудился кибиткой. Тишина, словно стеной, окружила степь и лишь изредка, будто раскалывая ее, доносился вой шакалов. А топот конских копыт обгонял тишину и от храпа коней рассыпались версты.

Агалиев ехал, напряженный, как взведенный курок... В любую минуту из-за любого бугра мог раздастся выстрел, на любой переправе у реки трех всадников могут окружить басмачи. В кармане у Мурада партбилет, но не найдя новых слов, он пробормотал по старинке: «Да хранит аллах!»

А предмет его тревоги — Атабаев беспечно пришпорил коня и скоро нагнал скакавшего впереди Веллекова.

Конь Чары Веллекова рыжий, как пламя, и страшно горячий, как огонь, видно, принадлежал раньше предводителю басмаческого отряда и не привык никого пропускать впереди себя. Если к нему приближались сзади, он бил копытами, если обгоняли — кусал. Не был он похож на тедженских коней. Должно быть старые басмачи пригнали его из Ахала. Сейчас он был очень недоволен, что Атабаев едет рядом с Чары, — косил глазом, показывая ярко-голубые белки, круто выгибал шею, жевал удила. Кайгысызу понравилась его статья.

- Хорош! — сказал он, — говорят, ты отбил его сегодня утром?  
— Слушай, — засмеялся Кайгысыз, — а ты какие-нибудь другие слова знаешь?  
— Да, товарищ Атабаев.  
— Зови меня просто Кайгысыз.

Веллеков совсем оробел. Называть председателя Совнаркома по имени! Но он собрался с духом и сказал:

— Если бы я прожил столько, сколько вы, и пережил хотя бы десятую долю того, что вы, может, я бы и держался посвободнее.

— Понятно, — сказал Кайгысыз. — Ты хорошо знаешь Керим-хана?

— Нет. Не очень... Встречались раньше.

— А сейчас как?

— Повстречался с ним три дня назад.

— И какое впечатление?

— Настоящий хан. Но не из таких, как Каушут-хан дот ради пользы народа не жалел себя и обходился сухим хлебом, а этот ради собственной выгоды не пожалеет и тысячи нукеров. Не верю, что он когда-нибудь станет советским человеком. — Значит, зря тебя послали в его отряд?

— Не думаю. Пока что Керим-хан полезен. Если ему польстить, — жизни не пожалеет. Но ведь это только тщеславие. Человек-то безыдейный. Завтра прислушается к словам врага и в одну ночь смоемся вместе со всеми своими нукерами и родичами. Как говорится: «Самый тяжелый груз — тесемки». Когда погрузит на ишаков свои кибитки, то ему больше и жалеть нечего. Думаете, он знает, что такое родина?

Атабаев был совершенно согласен с такой оценкой Керим-хана.

— Ты кого-нибудь знаешь на заводе Узына? — спросил он, помолчав.

— Никого.

— Как же так?

— Пока что ничего не видел, кроме школьного двора да окраинных кибиток.

— Я спрашиваю, потому что надеюсь поговорить с людьми и узнать, из какого источника пьет воду Ходжа-кули-хан...

— Сейчас не летняя пора, воды хватает всюду.

— Ты не понял меня. Я хотел сказать, что мы могли бы выяснить, откуда Ходжакули получает поддержку и где легче его захватить.

По обеим сторонам дороги начались густые заросли колючки. Вдруг из-под ног рыжего скакуна с шумом выпорхнул фазан. Пугливый конь рванулся, Чары съехал набок, а Мурад, которому показалось, что из кустарника выстрелили, подскакал к Атабаеву.

— Как настроение? — улыбаясь, спросил Кайгысыз.

— В общем-то неплохое...

— Устал?

— Не то, что устал, только... Тут вправо, всего в одной версте, есть аул.

— Надо проехать мимо?

— Наоборот. Заедем, попьем чаю, а там и рассвет.

— Ты хочешь чайку попить?

— Не то, чтобы очень...

— Тогда попьем на заводе.

Не дождавшись желанного ответа, Агалиев и сам заметил, как натянул поводья коня.

Теперь всадники ехали молча, позевывали, да и кони устали. Цокот копыт в тишине раздавался реже и отчетливее. Звездная плеяда уже склонилась к горизонту, а над ней вставала яркая звезда Ялдырак. Утих и вой шакалов.

Когда подъехали к заводу и слезли с коней, стало светать, воздух будто налился молоком. Запели маленькие птахи. Из черных кибиток поднимался дым, пахнувший горелой кошмой.

Заводом называлась старая мельница. Когда-то ее хозяином был русский кулак, мужик огромного роста, поэтому-то мельницу и назвали «Завут Узын», — то-есть завод длинного. Узын разбогател в считанные годы, брал за помол сколько вздумается. У крестьян не было верблюдов, чтобы возить муку за пятьдесят верст в города. После революции Длинный забрал все свое добро и дал стрекача — только его и видели. Аул остался.

Хутор, как хутор, — он мало чем отличался от многих аулов Тедженского уезда. Кибитки стояли в ряд, около одних — шалаши, возле других — широкие дощатые лежанки, теляры. И не было ни одной, о которой стоило сказать: вот такую бы мне. И ни одного деревца. Только четыре чахлых вербы у запруды виднелись издалека. Поля перекопаны арыками, за полями — гвысокие волны надвигающихся барханов. Возле колодцев мужчины в рваных халатах поили лошадей, толпились женщины с кувшинами и выдолбленными тыквами за плечами.

Атабаев со своими спутниками расположился в брошенном доме Узына. Долгий путь, казалось, совсем не утомил его.

— Вы отдохните, — сказал он Веллекову и Мураду, — а я пойду осмотрюсь вокруг..

Следовать за ним, если он не приглашал, было нельзя. Агалиев подмигнул милиционеру, но Кайгысыз знаком остановил его.

Возле кибитки, стоявшей в стороне, бродил старичок. Кайгысыз направился прямо к нему. Старик заметил его издали и, заслонившись ладонью от солнца, удивленно приглядывался к нему. Выслушав приветствие Кайгысыза и так и не решив своих сомнений, он сказал:

— Добро пожаловать! Кем ты приходишься Узыну?

— Никем, — улыбнулся Атабаев, поняв причину его недоумения. — Не веришь?

— По правде говоря — не верю.

— Но ведь я говорю по-туркменски.

— По-туркменски знал и Узын, да еще лопотал побыстрее тебя. А, может, ты мастер и

приехал заново наладить мельницу?

— К сожалению, не мастер.

— Так кто же?

— Безработный бродяга.

— Непохоже.

— Почему так думаешь?

— Очень у тебя настороженный вид.

— Чего же мне бояться?

— Все знают, что когда Ходжакули встречает советского служащего, он приказывает изрубить его на куски,

— Но ведь Ходжакули нету поблизости.

— А джигиты? Вон тот ряд кибиток, — старик показал пальцем, — туда тебе ходить не надо. Когда я вышел на рассвете совершить омовение и намаз, сам видел, как пять всадников поскакали краем аула. Жаль мне тебя. Будешь здесь бродить — не сдобровать!

— Ты так думаешь?..

— А чего ты задираешь нос? И как тебя зовут?

— Кайгысыз.

— Кай-гы-сыз! Тот самый Кайгысыз Атабай? Это правда?

— Зачем я буду тебя обманывать?

— Ну, тогда дай руку, — и схватив руку Атабаева своими двумя, старик принялся просить прощения. — Знаешь — не узнав, не окажут почета. Не сердись на меня.

— Как тебя зовут, ага?

— Мое имя — Гутли. Да иногда еще говорят Гутли-мираб. Ну, пошли в дом.

Атабаев вошел в кибитку вслед за стариком. С утра было прохладно и в очаге горел огонь, кипел чугунный чайник. Сухие дрова весело потрескивали, горели без дыма, но от многолетней копоти весь переплет кибитки был черен. Даже красивые узорные торбочки для ложек из-за копоти казались сделанными из ржавого железа. Около одной стенки стояли два мешка муки, около другой — обитый порыжевшей жестью сундук, на нем три одеяла. На полу — старая кошма с разлохматившейся, как у овчарки, шерстью.

Гутли-мираб предложил Атабаеву место у очага.

Кайгысызу было нелегко усестись на полу, поджав под себя ноги, потому что был он в узких брюках и сапогах. Прилечь он постеснялся. Пожалуй, Гутли-мираб начнет трунить над ним, скажет, что верблюды умеет подобрать под себя даже четыре ноги.

— Вот подушка, приляг, — догадался предложить хозяин, — а то в этой одежде, будто приклеенной к телу, не посидишь, не отдохнешь...

Хорошо замешенный чурек, выпеченный в тамдыре, показался очень вкусным. После долгой ночной скачки приятно было пить горячий чай. За чаем Кайгысыз навел разговор на банду Ходжакули.

— Яблочко от яблони недалеко катится. Отец Ходжакули-хана был в доле с Узыном, получал прибыли от завода. Люди вопили от грабежа. Но сын оказался еще хуже самого Ниязуки, — сказал старик.

— А многие в ауле поддерживают Ходжакули?

— Э, брат, вода найдет низину, а подлец — подлеца. Ходжакули-хана поддерживают баи, те, кто получили затрещины от Советской власти, да проходимцы, которые не нашли себе места у семи дверей, да еще совсем темные люди. На кого собаке крикнут: «Ату его! Ату!» — на того и кинется со слюной у губ. Если с такими людьми поговорить толково, они не то, что бросят Ходжакули, а еще веревку накинута ему на шею и приведут на аркане. Этих парней не приучали с детства к подлостям и грабегам!

Совет Гутли-мираба пришелся по вкусу Атабаеву, только уже не хватало времени последовать ему, Кайгысыз хотел выяснить у Гу тли еще один неясный вопрос.

Он начал издали.

— Гутли-ага, ты пробовал в жизни и горькое и сладкое, ты постиг и простоту и



хитрость человеческую, может, хоть ты объяснишь мне, как удастся Ходжакули-хану ради своей выгоды поднимать на преступления людей? Неужели он надеется с помощью сотни паршивых нукеров опрокинуть власть?

— Я же сказал, что он бешеный, — развел руками Гутли.

Разговор как будто исчерпался. Но вдруг, оглянувшись по сторонам, старик наклонился к Атабаеву и зашептал в самое ухо:

— Ведь Ходжакули работал в жандармах. Это все знают. Но не всем известно, что он служил и инглизам...

— Интервентам?

— Я не знаю никаких «тербендов», но могу сказать, что незваным гостям он лизал зад. Однажды я остался на ночь в Теджене у соседей Ниязкули... Да, как зовут того шпиона-инглиза — Тыгы-Джинс?

— Тиг Джонс?

— Этот самый Тыгы-Джинс пришел среди ночи и остановился у Ниязкулиевых. Проводником у него был черномордый Елли-йидам. Разговора я сам не слышал, но люди, у которых я гостил, — они возят Ниязкулиевым дрова и выгребают золу, — слышали, как Ходжакули говорил: «Эзиз-хану остались считанные дни. Ханом в Теджене буду я». И верно, через несколько дней сипаи схватили Эзиз-хана и расстреляли. На счастье и инглизы смазали пятки. А то бы Ходжакули непременно стал ханом. Он и до сих пор связан с Тыгы-Джинсом,

— Почему ты думаешь?

— Когда Ходжакули-хан собирался бежать из Теджена, я видел в их доме этого мерзкого Елли-йидама.

— Значит, Ходжакули мечтает стать тедженским ханом... — задумчиво повторил Атабаев.

— Не только тедженским. Он теперь говорит: «Заставлю всех туркмен смотреть мне в рот. Построю в Туране могучее нерушимое мусульманское государство».

— Эх, куда хватил... необливанный матерью!

— Кажется, он доволен теми, кто стоит у него за спиной. Я только одному удивляюсь...

— Только одному? — переспросил Кайгысыз, который сам не мог наудивляться рассказам Гутли-мираба.

— Почему вы не прикончите его отца, да и всю семью?

— Но ведь семья не виновата!

— Доведись мне дело решать, пока не поймали сына, я бы поставил к стенке отца.

— Запомни, Гутли-ага: отец не отвечает за сына, сын за отца. Да если мы и уничтожили бы всю семью Ходжакули, сам-то он будет действовать по-прежнему.

— Не думаю, чтоб он стал так бахвалиться, если бы вы приняли решительные меры.

— Посмотрим, сколько дней он еще будет бахвалиться, — пробормотал Кайгысыз.

Гутли-мираб взял его за руку, пристально посмотрел в глаза.

— Кайгысыз, а не приехал ли ты из-за Ходжакули-хана?

— Я тут проездом. Но так как задержался в Теджене, то конечно, заодно хочу и это дело выяснить.

— Эх, если бы вы прикончили эту банду! Люди от вас этого ждут.

Атабаев был очень доволен утром, проведенным на заводе Узына. Он мог бы целый день просидеть с Гутли-мирабом. Такие беседы заставляли его надолго задумываться. Пожалуй, только они и умиряли его пылкий партизанский темперамент. Абдыразак всегда подшучивал: «Ты, кажется, состарился в молодости. Увидишь старика — не надо тебе ни девушек, ни молодых!»

А Кайгысыз улыбался и вспоминал наказ Нобат-ага у запруды.

В тот день ему не удалось поговорить ни с кем, кроме Гутли. В штабе ждали дела. Он провел ночь в пути, не спал и весь долгий день, только к вечеру немного вздремнул за столом, положив голову на сложенные руки. И снова встрепенулся, чувствуя себя

совершенно отдохнувшим.

На рассвете советские отряды стали окружать берлогу Ходжакули. Басмачам пришлось не легко. Они метались по барханам, уходя от погони, но их встречали другие отряды. И в глухой пустыне, где недавно отгремели бои с белогвардейцами, снова слышались стоны раненых, ржали подбитые кони, подняв руки вверх шагали по пескам пленные. Когда наступили сумерки, вести бой стало труднее. Правда, весь отряд Ходжакули был разгромлен. И только ему самому с семьёй всадниками удалось бежать и, кажется, уйти через границу в районе Серакса.

## На охоту

Густой, как вата, папиросный дым висел в комнате. В пепельницах — окурки, а пиалах — недопитый чай, школьные чернила на солидных письменных столах, кожаные куртки на вешалке за шкафом, Атабаев с непонятым удовольствием разглядывал комнату председателя асхабадского облисполкома Сары Нурлиева. Что-то от общежития семинарии, что-то студенческое — простодушное и пылкое — во всем этом беспорядке. И нет никакой парадности во встрече председателя Совнаркома Республики, захавшего в Асхабад как бы по пути.

Да и сам хозяин кабинета Сары Нурлиев больше похож на семинариста, чем на ответственного работника. Сидит в стороне от стола, закинув ногу за ногу, покачивает ногой, непрерывно дымит, закуривая папиросу одну за другой, и вдруг взрывается, как разорвавшийся патрон.

— Если бы дело зависело от меня, я бы решил его в два счета.

Гром среди ясного неба! Атабаев давно знает Сары, знает, что ему можно доверить любое дело. Жалко только — пристрастился к водке в последнее время, да, кажется, и терьяком не брезгует. И все это совпало с дурными событиями начала нэпа.

— Сары Нурли, кто тебе мешает? Ты ведь хозяин области, — мягко вызывает его на откровенный разговор Атабаев.

— Едва ли хозяин. И уж во всяком случае не хан!

— Ну, представь, что ты полновластный хозяин. С чего бы ты начал?

— Если бы воля была в моих руках... — Сары ненадолго задумался. — Нэп, правда, я сразу бы не ликвидировал. Невозможно одним ударом покончить с торговцами. А вот их опоры — священнослужителей, я бы щелкнул!

— Каким образом?

— Повесил бы замки на всех мечетях и храмах, запретил бы молиться скопом.

— Здорово!

— А как же иначе? Ведь основная агитация против нас ведется в мечетях!

— А как посмотрит на это непросвещенный народ?

— Пошевелит ушами, а потом скажет, что так и нужно.

— Удивительно смелое предположение, — вмешался Овезбаев, оторвавшись от сводки, отпечатанной на огромных листах. — Вы надеетесь росчерком пера отменить все, к чему люди привыкали веками? Что впитано с кровью — то уйдет с жизнью. Религиозные представления властвуют в нашем краю не одно столетие. И сегодня обидеть коран — значит, восстановить против себя народ.

— Может быть, в политике вы разбираетесь лучше, чем я, — сказал Сары, метнув многозначительный взгляд на Овезбаева, — но я бы судил религию и традиции по законам революции.

Овезбаев промолчал. В замечании Сары ему снова почудился намек на то, что он, бывший белогвардеец, смеет претендовать на решение политических вопросов.

— Если не хватает жара, не кипит и вода в казане, — сказал Кайгысыз. — Революция рождается не в один день, Хочешь лишить силы религиозные традиции, — посеи сперва семена неверия и ухаживай за ними. А если с ходу опечатать двери мечети, завтра повсюду

явятся такие, как Ходжакули... Есть у меня к тебе одно предложение.

— Какое?

— Чтобы не допускать ошибок в своей очень ответственной работе, постарайся познакомиться с историей. В частности, с историей революционного движения.

Сары Нурлиев посмотрел на Атабаева: сидит человек, закованный в кожаные латы — кожаные брюки, кожаная куртка, сапоги... А ведь приехал в специальном салон-вагоне с часовыми, с секретарем, с сопровождающими лицами. И будет теперь читать лекцию о нэпе. А нэп-то по сути — возвращение к капитализму, какими бы красивыми словами об отступлении, о разбеге перед прыжком, не прикрывать это дело... Начнет читать наставления и будет думать, что имеет на это право.

— Должность у тебя большая, — сказал он сдавленным голосом. — Вот и поучаешь.

— Думаешь только поэтому? — улыбнулся Атабаев.

— Мы оба кончали тедженскую школу, пусть и в разное время, но разница эта мне на пользу. И если бы я захотел стать ахуном от революции...

Всегда спокойный Овезбаев вдруг вспыхнул.

— Ты, наверно, забыл, что после тедженской школы Кайгысыз прошел курс в университете революции!

— А я после школы — что, ишакам хвосты крутил?

Сары негодовал и в то же время был очень доволен, что разговор накалился, что можно довести его чуть ли не до рукопашной. Атабаев лишил его этого удовольствия.

— Не будем сверять отметки в школьных табелях, — по-прежнему улыбаясь, сказал он. — Все ясно без лишних слов. Я думаю, твое раздражение вовсе не от оскорбленного самолюбия. Дело гораздо глубже. Не ты один считаешь, что нэп предаст завоевания революции. Партия терпеливо разъясняет таким товарищам их заблуждения. Я не собираюсь устраивать в обкоме школу политического ликбеза. Отсылаю тебя к первоисточникам — к Ленину! Ты же окончил тедженскую школу, разберешься и без моих комментариев в том, что понимают миллионы полуграмотных людей. От себя могу посоветовать только одно — изучай диалектику, иначе всегда будешь становиться в тупик перед каждым поворотом политики, перед каждым изгибом жизни.

Сары, покрасневший до корней волос, молча вышел из комнаты.

— Здорово! — сказал Овезбаев. — Так и надо!..

Кайгысыз молча смотрел в окно, — там вдали за корявыми стволами карагача и пышными темно-зелеными кистями арчи укрыта площадь. И выцветшая колокольня собора Михаила Архистратига... Приземистые колонны здания управления Средне-Азиатской железной дороги... Овезбаев проследил за его взглядом и почувствовал, что он в эти минуты не видит города и что не стоит нарушать эту глубокую задумчивость.

— Если бы все дороги были прямыми... — после долгого молчания сказал Атабаев. — Я вспомнил сейчас, как стоял на коленях перед трупом своего брата, которого может сам и убил. Стоял на коленях... Этот мальчишка сказал сейчас, что религию и традиции надо судить по законам революции. А эта моя встреча в степи после боя? Встреча с трупом. Это тоже закон революции. И его никто не выдумал. Жизнь сложила.

Вечером в вагон Атабаева пришел Сергей Прокофьевич Тимошков. Теперь он был военным комиссаром области. На столе появился графинчик, хотя Атабаев не очень любил водку. Но как не выпить, вспоминая годы гражданской войны?

Тимошков пришел без дела, просто повидаться с фронтовым другом, вспомнить старое, но очень быстро от воспоминаний друзья перешли к сегодняшнему дню.

— Фронт еще не кончился, — сказал Атабаев.

— Ещё бы! — согласился Тимошков.

— Не вам, конечно, я должен объяснять, что должность командующего вооруженными силами области сейчас нелегка. Сбежавший вчера Ходжакули-хан может завтра появиться снова. Может и Джунаид-хан попытаться занять свое старое место. У Хорезмской республики нет сил противостоять. Ещё не те нужные там руководители. По сути там у

власти — опять же баи. И хотят они или не хотят, но Туркестан поможет им. Собственно, даже не Туркестан, а мы — туркмены. Каковы наши здешние военные силы?

— На сегодняшний день достаточно.

— А на завтра?

— А на этот счет у меня есть докладная, написанная на имя военного комиссара Туркестана и на ваше имя. Разрешите послать за ней?

— Посмотрим потом. Если будет столкновение с Джунаидом, основные силы придется переправлять через Каракумы?

— Так точно.

— Помимо всего остального, хватит ли у нас проводников и толмачей?

— В этом вопросе хромаем, Константин Сергеевич.

— Значит, надо обдумать проект боевой подготовки с учетом безводности пустыни.

Атабаев вдруг вспомнил, как вчера поезд шел в пустыне между Ак-Су и Гяурсом, как с холма на холм перебиралось стадо джейранов, как красиво вдруг замелькали их коричневые спины, беловатые сухощавые ноги...

— Кони у вас есть? — спросил он Тимошкова.

— Для борьбы с Джунаид-ханом, пожалуй, недостаточно.

— Я не о том сейчас...

— А, собственно, для чего же ещё кони?

— Для охоты.

— Вы думаете?.. — Тимошков решил, что председатель Совнаркома имеет в виду жалобы населения на то, что некоторые командиры охотятся. — Прошу вас не верить пустым разговорам.

— Как это пустым?

— У нас на учете все патроны.

— Я и не прошу у вас патронов.

Тимошков пожал плечами.

— Так о чем же мы говорим?

— Об охоте. Я прошу у вас коня, чтобы поехать на охоту. Коня прошу!

— Когда же вы собираетесь ехать?

— Сейчас.

Шёл второй час ночи. Тимошков не мог представить себе, что Атабаев говорит серьезно.

— Я ещё никогда не видел вас под хмельком, Константин Сергеевич, — обидчиво сказал он.

— Вы хотите сказать, что я пьян?

— Ну, разве трезвый отправится на охоту в два часа ночи?

— Если мы сейчас сядем на коней и отправимся к Гяурсу и Ак-Су, то как раз начнет светать, пока доедем. А лучшая охота на рассвете.

— Если вы хотите поесть джейраньего мяса, можно отправить двух метких бойцов...

— Да ведь все удовольствие в самой охоте!

Тимошков прекрасно понимал, что все удовольствие в охоте, а не в джейраньем мясе, но ещё лучше понимал, что председателю Совнаркома опасно отправляться ночью в пустыню.

— Можно позвонить? — спросил он Атабаева.

— Пожалуйста, только с одним условием, — лукаво улыбаясь, сказал Атабаев. — Нам нужны только два коня и один красноармеец. Попрошу больше никого не беспокоить.

Тимошков, действительно, решил направить в пустыню целый взвод. Видя, что его намерения разгаданы, он попытался найти другой выход.

— Может возьмем с собой Сары Нурлиева или Овезбаева?

— Я же сказал, что мы поедем втроем.

Единственным утешением Тимошкова было то, что он посадил Атабаева на красивого,

но тихоходного конягу, а сам сел на резвого жеребца. Известно, что Кайгысыз забывает на охоте обо всем на свете, а теперь можно быть спокойным, — не скроется из виду в пустыне.

## Размышление о власти

В июне 1923 года Кайгысыз Атабаев с новым назначением ехал из Москвы в Бухару. За окнами правительственного вагона зной, пыль, шторы приспущены. За четыре дня пути он столько надиктовал стенографистке, что на тележке не увезти. Он то ходил по салону, заложив руки за спину, то рылся в бумагах, заглядывал в книги, разбросанные на столе, то яростно вытирал полотенцем лицо и шею.

Но каково же в этом пекле несчастной стенографистке?

— Марина Петровна, вы должно быть проголодались?

Ещё бы — повар уже два раза заглядывал в салон.

— Могу ещё потерпеть.

— Боюсь, что похудеете за дорогу.

— Давайте дальше. Последняя фраза у вас не закончена: «Не прислушиваясь к справедливым требованиям народов, бухарские националисты...»

Атабаев рассмеялся.

— Не прислушиваясь к требованиям желудка... Идите, Марина Петровна, пообедайте и отдохните.

Атабаев подошел к окну, поднял штору. На пустынном горизонте догорал малиновый закат. Вдоль пути клонились на ветру тоненькие стволы запыленных зеленовато-серых карагачей. За ними — беспредельная даль. Это снова родные края — однообразные просторы среднеазиатских степей. Как давно позади та зима, когда впервые он увидел Россию, Москву. Сколько исколесил он дорог с тех пор... И нигде так хорошо не думается, как в пути, в вагоне. В кабинетной бессонной суতোлке теряешь перспективы и масштаб. А здесь, когда поезд мчится, несет тебя, покачивая на рессорах в хвосте состава, — именно в эти часы ты сам как бы останавливаешься и думаешь, обхватив себя руками, думаешь, думаешь...

Ходжаев властолюбив. Суверенитет Бухары — условие его честолюбия, и он требует вывода из Бухары частей Красной Армии. Он готов вести самостоятельную торговлю с Германией, Турцией, Ираном, Афганистаном. Были у него и другие заблуждения. Бухарский эмир руководил басмачами через своих придворных — тут всё ясно. Младобухарцы формировали свои отряды. На востоке Бухарской земли возглавлял бандитские шайки прославленный в мировую войну турецкий лидер Эмвер-Паша. Где-то в аулах собирал на священную войну против коммунистов Велидов — беглый визирь иностранных дел буржуазного правительства Башкирии. Повсюду гремела орудийная канонада, пылало пламя, шли под откос поезда. Нет, не цветением садов пахло тогда в солнечной Бухаре, — а порохом, золой и кровью... Если бы не Красная Армия, если бы не Фрунзе и тот же Паскуцкий, — кто знает, что было бы потом с этим краем. В этих вопросах Ходжаев допускал промахи.

Вот о чем рассуждал Атабаев, назначенный теперь в Бухарскую республику заместителем председателя Совнаркома. Там, в Москве, в Центральном Комитете партии, Атабаев столкнулся однажды с Файзуллой Ходжаевым, когда тот, выступая против национального размежевания Средней Азии, азартно защищал целостность и независимость Бухарской республики. В Центральном Комитете партии поддержали Атабаева и вот он — в пути. Нелегкая предстоит работа... Нужен политический такт, огромная выдержка и дипломатическая тонкость даже в личных отношениях.

Атабаев вдруг вспомнил, что снаружи на его вагоне — золотые буквы. Белые занавески на окнах днем, тяжелые темно-красные шторы по вечерам, изредка два проводника в полувоенной форме курят на площадке в тамбуре, изредка мелькает повар в белом фартуке. На станциях из вагона никто не выходит... А сам-то ты не честолюбец? Как избежать этой

болезни? Среди тех привилегий и знаков отличия, которые дает высокий пост, никак нельзя забывать, что ты солдат партии Ленина, слуга народа. Всегда надо об этом помнить.

За окном уже совсем стемнело. Но если уткнуться лбом в стекло, можно и в ночном мраке почувствовать всю громадность казахских степей — нет им конца и края. К утру поезд подойдет к Ташкенту, На вокзал приедут старые соратники, — двадцать минут стоянки, две-три серьезных фразы в шутливой мужской болтовне, дружеский тост над бутылкой шампанского. И этого ждешь с удовольствием после долгой разлуки с родным краем, после Москвы, где жилось довольно одиноко...

Атабаев подошел к столу, включил свет, раскрыл под зеленым абажуром географический атлас, отыскал истрепанный лист Средней Азии.

Как она будет выглядеть на карте — будущая Туркменская республика? Ее создадим из районов Туркестана, Хорезма и Бухары. От Азербайджана ее отделит море, государственная граница — от Ирана и Афганистана. Но где же пройдут ее внутренние границы — с братскими республиками казахского, узбекского народов? Как развязать этот сложнейший, исторический узел по справедливости, по-ленински?

Много народов в Средней Азии, но после присоединения к России, туркменам пришлось труднее других — ведь только в Закаспийском крае, в отрогах Копет-Дага, в немногочисленных оазисах пустыни они составляли основное ядро населения. На берегах Аму-Дарьи они не могли крепко ставить свое хозяйство. Река часто меняла русла, и вчера выкопанный арык завтра оказывался сухим. Воду иногда брали из реки деревянным колесом — чигирем. А много ли им возьмешь? И туркмены кланялись бухарским баям.

В древние времена ташаузские туркмены поселились вдоль большого притока Аму-Дарьи — Дарьялыка. Хивинские владыки повернули Дарьялык к Аральскому морю, и сразу кончилось туркменское благополучие. Что поделаешь: они жили в низовьях реки, а те — в ее верховьях, хорезмские ханы, местные владыки. Они держали туркменских дехкан на самом скупом водяном пайке. Дашь много воды — сытый пойдет с тобой воевать, не дашь воды — голодный пойдет тебя грабить. Кровавые стычки никогда не прекращались. В вековой борьбе за свое благополучие туркмены всегда представляли собой угрозу для ханства. И ханы возбуждали рознь между множеством племен и родов. Одним помогали оружием, других натравливали на соседей.

Неужели же великая революция не в силах преодолеть эту бессмыслицу вражды и кровопролития? Покончить с Еековой враждой туркмен и узбеков — значит, дать расцвет и счастье благодатному Хорезму, плодородной Бухаре. А какие откроются возможности для развития культуры, сколько из народных низов поднимется талантов — ученых, художников, поэтов, — когда каждый народ, установив социалистические порядки, станет пользоваться родным языком и пить из вечно живого родника своей духовной культуры.

По нашу сторону границы живет больше миллиона туркмен, но пожалуй, столько же — в Иране и Афганистане. Как глубоко надо вникнуть в образ будущей республики, чтобы понять ее международное значение! Ведь на ее территории есть прекрасные почвы. Недаром говорят: «Воткни в землю палку, плюнь — и зазеленеет!»

Источник богатства — воды Аму-Дарьи, они несут на поля миллионы тонн плодородного ила. Какая щедрость — подстать разве египетскому Нилу! Царские колонизаторы только составляли проекты орошения, и ни один, по существу, не реализовали. Государству социалистического планового хозяйства это будет под силу. А каракуль? Весь экспорт Бухарского ханства составлял 34 миллиона рублей — из них 20 миллионов рублей приносил экспорт каракулевых шкурок. А нефть, озокерит, соль?.. А бесценные ковры? А кони — резвейшие, ахалтекинские кони? И, наконец, хлопок, хлопок! Знойное лето позволит выращивать не какой-нибудь хлопок, лишь бы сбыть с рук, — а самый ценный, тонковолокнистый... В семью советских республик Туркмения войдет не с пустыми руками к укрепит своим трудом и твердым характером мощь первой в мире социалистической державы...

Как же пойдут дела с Файзуллой Ходжаевым?

Тихо в вагоне. За закрытой дверью не слышно проводника. Спит умаявшаяся Марина Петровна. Повар, верно, играет в подкидного дурачка с комендантом. Только колеса стучат. Так стучали они, когда солдат-агитатор Атабаев ехал на фронт. Так стучат и в этот вечер, — будто весь состав гремит «Интернационал». И Атабаев даже встал, отдаваясь какому-то восторженному порыву.

Так и стоял с минуту над картой. В его воображении уже существовала Туркмения в нынешних ее государственных границах.

## Две арбы не разъедутся

Как в воду глядел!

В Бухаре заседал Совнарком, а в районах — вражда и смута; и даже кровавая резня. Тут так ведется дело, что каждый двор к вечеру запирается как крепость, пустеют улицы, и старые люди вспоминают ушедшие эмирские времена. Совнарком в Бухаре ущемляет права туркмен и таджиков, а, пользуясь этим, туркменские феодалы в аулах агитируют народ против Советской власти. Как в воду глядел Кайгысыз Атабаев.

Ознакомившись с делами в Бухаре и получив поддержку бухарских коммунистов, он выехал в аулы. Мало что изменилось там с того времени, когда гремела орудийная канонада. Народ недоволен и ропщет — крестьяне требуют снижения сельскохозяйственного налога, экономические требования ждут неотложных решений, но еще раньше необходимо укрепить социалистическую законность. Просто диву даешься, — что вытворяют националисты, пробравшиеся к руководству.

В одном из селений Атабаев собрал коммунистов, знакомых ему еще по временам боёв с басмачами. Хорошо поговорили в тот вечер. Русский слесарь, старый сормовский большевик, оказавшийся в этих местах с военным госпиталем после тяжелого ранения под Перемышлем, в тот вечер объяснил Атабаеву простыми словами то, что надо положить в основу всей партийной линии в Бухаре. Он сказал:

— Не было бы счастья, да несчастье помогло: недовольство непорядками повысило политическую активность масс. Пора кончать с беспорядками в Бухаре! Я-то русский человек, потому-то и вижу: смешались тут языки и обычаи, и хорошие люди, хлеборобы, мужики, перестали понимать друг друга. А это только на руку их врагам. Надо размежевать народы, — что, не веришь мне, товарищ Атабаев?

— И вам верю и Ленину — еще больше.

В тот вечер у костра в селении, беседа с местными коммунистами, Атабаев впервые после приезда в Бухару отчетливо и убежденно заговорил о необходимости скорейшего размежевания советской Средней Азии.

Вопросы советского национально-государственного строительства в Средней Азии привлекали постоянное внимание Коммунистической партии, В. И. Ленина. В своих замечаниях на проекте Туркестанской комиссии В. И. Ленин писал: «1) Поручить составить карту (этнографическую и проч.) Туркестана с подразделением на Узбекию, Киргизию и Туркмению. 2) Детальнее выяснить условия слияния или разделения этих 3 частей». Национальный вопрос оживленно обсуждался на каждом областном совещании в Ташаузе, в Чарджуе, на областных конференциях в Туркестане. И когда Серго Орджоникидзе приехал в Бухару, чтобы разобраться в клубке национальных респрей, он услышал то же всенародное требование и хорошо понял, что националистические тенденции у руководителей Бухары враждебны самой сущности политики национального размежевания. Серго, уезжая, дал ясно понять Бухарскому Совнаркому, что недостаточно только избавиться от явных контрреволюционеров, что нужно освободить правительство от родственных отношений между руководителями, что на работу в республиканском аппарате должны прийти честные люди, готовые осуществлять советскую политику.

Как в воду глядел Атабаев! Он оказался прав.

И все-таки решающий разговор с Ходжаевым у него не получился. С юных лет знал

Кайгысыз, что в спокойствии — сила. И с юных лет не умел подчинить этому правилу свое поведение.

— Как нравится вам этот букет? — спросил он Ходжаева, положив перед ним на стол длинный список деятелей, которые свободно могли бы украсить собой свиту эмира бухарского.

Он помедлил, этот неглупый человек, прежде, чем что-либо ответить, ибо понял, что сейчас, с глазу на глаз, предстоит давно ожидаемый им бой...

— Букет... — повторил он и резко отбросил бумагу. — У вас, Кайгысыз, так много в Бухаре досуга, что вы собираете букеты?

— Нет, именно потому, что нам предстоит много дела, государственного, неотложного, я хочу, чтобы нам

помогали те, кому можно доверять. Хотел бы знать, что вы об этом думаете?

Ходжаев откинулся на спинку кресла, и оно закачалось под ним на задних ножках. Глаза Ходжаева сверкали молодо и азартно.

— Это — экзамен?

— Просто хочу информироваться. Нам предстоит вместе работать. Хочу напрямик знать ваше мнение.

Ходжаев качнулся к столу, налег на него грудью, утвердив под собой кресло на всех его четырех ножках.

— Считаю этих людей опорой бухарского правительства.

— Стало быть, бывшие советники эмира, всевластные баи и богатейшие купцы могут быть опорой Советской власти?

— Не пугайте меня словами. Всех можно использовать. В Москве даже генерал Брусиллов служит Советской власти...

— Но при условии, что донецкий шахтер командует вооруженными силами, при условии, что власть в Москве и на местах, до самой глухой деревушки — рабоче-крестьянская, Советская...

— Но мы еще, насколько я припоминаю, не провозгласили Народную Бухарскую республику — советской, тем более — социалистической...

Атабаев с удовольствием наблюдал, как багровеет лицо Ходжаева. Что ж, он уже не качается на ножках кресла. Война так война. И выдержит тот, у кого крепче нервы.

— Я вас так понял, что на территории Советского Союза, в его государственных границах, может существовать республика с буржуазным строем?

— Не передергивайте! Я не сказал, что Бухара — буржуазная республика!

— Хотелось бы понять, — какая же это республика — не социалистическая и не буржуазная — пытается через голову всесоюзного правительства в Москве установить торговые и дипломатические связи с Германией.

— Да, по праву независимого государства!

— Ортак Файзулла, вы ведь умный человек. Могу ли я спокойно спать в Бухаре?

— Вы сомневаетесь во мне? — Ходжаев стукнул кулаком по столу.

— Не горячитесь, Файзулла. Успокойтесь, — сказал

Атабаев, хотя в голосе его уже можно было различить, вопреки словам, оттенок грозного рычания.

— В могиле я успокоюсь!.. Если мне и дальше придется с вами работать... О, аллах, с кем ты меня свёл!

Ходжаев даже закрыл уши ладонями, что означало крайнюю степень отчаяния в такой же мере, как и крайнюю степень актерства.

— Напоминаю вам, что нас свел не аллах, а Центральный Комитет партии. И сейчас от имени ЦК Бухарской компартии я требую, чтобы лица, перечисленные в моем списке, были тщательно изучены на предмет отстранения их от ответственных должностей в государственном аппарате. Что касается виновных в уголовных преступлениях, — их надо немедленно передать следственным органам.



— Так значит — склака! — закричал Ходжаев, сжимая кулаки. — Ты уже успел отравить и перессорить всех моих товарищей в Бухаре!

— Я предъявляю вам требование партии — и это всенародное требование. — Медленно и негромко произнес Атабаев.

— Ты смеешь здесь, в Бухаре, что-то требовать? Ты! Я тебя не знаю! Понятно?

Вот после этих невменяемых слов и сорвался с тона Атабаев. Потом он жалел об этом. Он встал и пошел грудью на Ходжаева — пошел, угрожая всей своей могучей фигурой. И, кажется, тоже — со сжатыми кулаками.

— До сих пор вы не знали и Центрального Комитета партии...

Ходжаев криком перебил Атабаева:

— Я еще — Файзулла Ходжаев! Слышишь, ты! Это я глава правительства в Бухаре! Я, а не ты!

— Ошибаетесь!

— Ошибается тот, кто приехал мутить мирный край.

— Если вы будете продолжать в том же духе... — почти выкрикнул Атабаев и осекся.

Он сдержался. Он не позволил себе докончить фразу: «будете продолжать в том же духе — останетесь в полном одиночестве».

С шумом отодвинув стул, он начал ходить по кабинету, с усилием замедляя шаг, стараясь в размеренном этом, неторопливом движении обрести душевное спокойствие. Надо бороться с собой. Ну можно ли вот так, срыву, сходу переубедить человека? Как это там в школе у Василия Васильевича учили — «А дуги гнут с терпеньем и не вдруг...» И кто больше думал о Бухаре? Не Ходжаев ли? С какой стати он должен подчиняться моему грубому наскоку? Великие наши перемены осуществляются впервые и пути не изведаны, и методы не проверены. В чем-то и Ходжаев прав, самостоятельность и права народной республики не ограничиваются... Нет, надо бороться с собой! Горячность не к лицу коммунисту. А что же теперь делать? Извиниться, покаяться — Файзулла будет себя чувствовать победителем, его и с места потом не сдвинешь. Хлопнуть дверью? А что я скажу партии? И что скажут мне?

Короткими судорожными движениями Ходжаев расшвыривал по столу бумаги, карандаши... Он тяжело дышал, молчание давалось с трудом. И вдруг вырвалось:

— Посмотрим еще!..

Он глядел на Атабаева, медленно прохаживающегося по кабинету. Странно! Вид у него смущенный, пристыженный... А ведь последнее слово было за ним. Понурая фигура, всегда стройного, с расправленными плечами Кайгысыза, смягчила сердце Ходжаева. Он еще продолжал бормотать про себя:

— Вчера только появился, а сегодня уже поучает...

А думалось уже иначе. Разве Атабаев прибыл сюда потому, что не нашел работы в другом месте? Известный человек, бывший председатель Турксовнаркома, член коллегии Всероссийского комиссариата по делам национальностей согласился стать моим заместителем и не считает это за унижение своего достоинства. Есть ли тут какая-нибудь корысть? Разве ради своей выгоды он спорит со мной, пытается изменить мою политику? Скромная должность — посланец партии Ленина. А можно ли себя считать непогрешимым? Кто подсчитает — сколько раз я делал неверные шаги, совершал оплошности? Конечно, Атабаев правильно настаивает на удалении из аппарата приспешников эмира. И стоит ли мне так кипятиться? Разве можно найти истину, стремясь только к тому, чтобы оказаться победителем в споре?

Ходжаев уронил голову на ладони, опустил глаза.

Кайгысыз чувствовал, что Ходжаеву сейчас нелегко. Он хотел было подойти к столу, но что-то его удержало. Резко повернувшись, он направился к двери.

Файзулла вскочил из-за стола.

— Дай руку, Кайгысыз!

Кайгысыз с непроницаемым видом вернулся обратно.

— Знаешь, что, Файзы... — начал он, но Ходжаев перебил его.

— Все знаю. Знаю, что ты приехал не для развлечения и не ради карьеры. Не стоит принимать близко к сердцу мою грубость!

Улыбнувшись, они посмотрели друг на друга и обнялись.

Потом Атабаев сбежал по лестнице. Он ринулся в уличную толпу. Нужно было изнурить себя в быстрой ходьбе, измотать себя, чтобы хоть немного успокоиться.

Тысячелетний священный город по-прежнему жил своей беспорядочной жизнью — лавчонки, чайханы, караван-сарай, мечети в лабиринте узких и кривых немощеных улиц были полны народа; разносчики с лотками, прочно установленными на головах... Гортанные выкрики:

— А вот пылающий чурек! Пылающий...

— А вот сладчайшие фрукты! Сладчайшие!..

Два арбакеша голосили в узкой щели переулка:

— Подай назад!

— Сам поворачивай!

— Сказал тебе — назад! Дай дорогу!.. А то в землю втопчу вместе с твоей арбой и ослом!

— Силёнок не хватит!

— Как раз найдется, чтобы проглотить тебя вместе с твоим хозяином!

Атабаев, наконец, улыбнулся — да разве не так же час назад, как эти два арбакеша, орали они с Ходжаевым на широкой дороге бухарской революции! Спускались сумерки. Атабаев вышел на площадь Регистан со стороны медресе Гогельдаш. На насыпном холме виднелась цитадель с двумя башнями, а против ворот цитадели глазная мечеть — Кок-Гумбез, что значит Голубой Купол, — сияющая бирюзовыми изразцами. Невдалеке — минарет Мирхараб из жженого кирпича... Никогда еще, как в этот вечер, Атабаев не видел Бухару такой красивой и никогда еще так остро не чувствовал правоту начатого дела... Вот эти кельи внутри медресе Гогельдаш — какие они чудесные с их стенами, облицованными узорчатой цветастой глазурью. Такие кельи сыновья богачей покупали за четыре-пять тысяч рублей. Но бешеные деньги платили не за красоту: баи оставляли этой медресе, так называемой «Вакф», большие богатства, крупные надель земли, полноводные арыки, и владельцам келий ежемесячно отчислялся доход от этих богатств. Только сейчас, после Октябрьской революции, в Бухаре произошли некоторые перемены, народу открыты пути к знанию, детвора бежит в школы, а в кельях медресе уже гнездятся летучие мыши. Но и сейчас в Бухару со всего Туркестана съезжаются богатые молодые люди, чтобы на деньги своих отцов получить высшее духовное образование.

Атабаев подошел к бассейну — тяжелая, чуть пестрящая рябью желто-зеленая вода отдавала гнойной вонью. Два водоноса наполняли свои сизые скользкие бурдюки. Атабаев с брезгливостью проследил за тем, как они взваливали мокрые бурдючные туши себе на спины и брели в город. От этой воды, от нечистот, стекающих в городские пруды, то и дело в Бухаре возникают очаги холеры, а ишаны, которым еще верит народ, объясняют, что болезнь — от аллаха и что создатель сам избавит народ от опасности. Врачей не нужно — гоните их прочь из священного города...

Сколько понадобится усилий Ленинской партии, чтобы просквозить, очистить свежим ветром прекрасную и загрязненную Бухару! Сколько лет предстоит перемалывать тупую покорную отсталость феодального Востока!

\* \* \*

В феврале 1924 года партийный актив Бухары вынес решение начать национальное размежевание. Затем Среднеазиатское бюро ЦК партии утвердило план создания союзных республик. В июне того же года ЦК ВКП(б) санкционировал начало великой работы — созданные комиссии и подкомиссии с участием представителей всех среднеазиатских

народов стали решать все спорные вопросы: кому передать Чимкент, Хорезм, как поступить с Ташкентом, населенном узбеками, в то время, как в Ташкентском уезде живут почти исключительно казахи...

И снова Атабаев потерял выдержку, столкнувшись однажды в коридоре Совнаркома с Файзуллой Ходжаевым. Снова, точно арбакеши в тесном переулке, кричали — «подай назад!» — «Нет, сам поворачивай!»

— Я хочу собрать узбеков в Узбекистане, — сказал Файзулла, преграждая путь Атабаеву.

— Если они согласятся — перевозки.

— Я заберу их с землей, на которой они живут, с домами и всем хозяйством. Чарджоу и Керки — узбекские земли...

Атабаев язвительно улыбнулся.

— У туркмен есть поговорка: «Если дадут, съешь и хлеба с маслом». Если дадут!

— И если не дадут — возьму!

Атабаев показал ему кулак.

— Думаешь, мой слабее твоего?

Ходжаев молча проскользнул мимо него — многие видели атабаевский кулак в коридоре Совнаркома. Атабаев пожалел о неосторожном жесте. Вечная горячность! Надо было спокойно сказать: «Что ж, обсудим на комиссии», — было бы умно и скромно. А теперь опять у Файзуллы козырь в руке, и стыдно будет, если придется толковать в Ташкенте или, тем более, в Москве, об этой мальчишеской выходке.

Но все эти благоразумные рассуждения были забыты на заседании территориальной комиссии. Так уж получилось, что Атабаев сам поддался всеобщему азарту и потребовал присоединить к Туркмении Каракульскую область. Разумных доводов у него было не больше, чем у Ходжаева, когда тот требовал для Узбекистана Чарджоу.

Это был неразумный спор, его перенесли на заседание Средазбюро. Интересы двух народов там были по справедливости учтены. А что касается Ходжаева и Атабаева, то на этот раз оба они заработали партийные предупреждения. Опытные и дельные работники, они тоже были не лишены ошибок и промахов.

В конце концов все обошлось мирно и в октябре 1924 года в Москве, на второй сессии ВЦИКа, Кайгысыз Атабаев доложил о новой социалистической республике — Туркменской ССР.

Гремел «Интернационал». Атабаев пел с восторгом, в ушах его звучал грохот колес, вспоминалась та ночь размышлений в вагоне, когда он стоял над картой и думал, думал...

## Задача всех задач

В феврале 1925 года Асхабад почувствовал себя столицей. Еще никогда, даже в дни больших базаров, улицы обрусевшего города не видали такой пестрой дехканской толпы, валом валившей к зданию бывшей мужской гимназии — депутаты ото всех племен съехались в город и спешили на Первый съезд Советов.

Вылезая из машины, Атабаев сразу наткнулся на своих знакомых из аулов Копет-Дага.

— Не по-зимнему снарядились, товарищи!

— Чем потеть в шубе, лучше мерзнуть в халате! — весело откликнулся статный парень и молодецки тряхнул лохматым тельпеком.

Это был исторический день в жизни народа. Всесоюзный староста приветствовал съезд. Знакомое по портретам неброское лицо с остренькой бородкой, в железных очках — он и тверской крестьянин и питерский рабочий... Ему рукоплескали, стоя, очень долго, восторженно кричали из зала на туркменском и русском языках. Вот кого настоящая Россия прислала на праздник нашего народа! И от других советских республик прибыли братские делегации. Красная Армия пришла в зал съезда со своими звонкими фанфарами, внесла боевые знамена.

А потом говорил бывший председатель Ревкома Недирбай Айтаков.

А потом доклад о советском строительстве сделал Кайгысыз Атабаев. Когда он вышел на трибуну — высокий, широкоплечий, — в зале прошла волна оживления и все засмеялись, когда какой-то дехканин громко сказал:

— Дать ему в руки лопату — пожалуй, за троих сделает!..

Атабаев подхватил эту шутку:

— Товарищи, не пугайтесь, глядя на мой рост — не ждите доклада на полторы версты. Но потолковать о многом придется.

И он поведал о многом — он говорил о пестроте хозяйственного и бытового уклада республики, о том, как резко различаются туркмены Хорезма, Бухары и Прикаспийской пустыни, какая трудная задача — сблизить разрозненные племена, преодолеть отсталость одних, мусульманский фанатизм других, феодальные предрассудки третьих, создать национальное государство. Прежде такое объединение могло быть только насильственным, и, значит, временным, под тяжелой пятой победителя. Советская республика объединит народ в мирном строительстве — ирригация, крестьянские кооперативы, культурный фронт. Но прежде всего, в основе всех будущих перемен — задача всех задач: земельно-водная реформа,

\* \* \*

Атабаев был на съезде одним из инициаторов земельно-водной реформы. Он понимал, что революцией не руководят на расстоянии, ее совершают на месте. И после съезда, взяв с собой необходимых помощников, председатель Совета Народных Комиссаров республики переехал в Мары, — так всегда называли обруселый Мерз туркмены, так он будет теперь называться впредь.

Но почему именно в Мары?

Да потому, что в других местах, где вода течет еле-еле, будто струйка из носика чайника, там реформу проводить не так уж сложно. А в Марыйском крае, где большие поля раскинулись на берегах Мургаба и Теджена, там, чтобы опрокинуть сопротивление баев, надо, как говорил Паскуцкий, руки приложить.

Штаб председателя Совнаркома и комиссии по реформе разместился в двухэтажном здании гостиницы. Работа здесь не прекращалась ни днем, ни ночью: непрестанно шли в комиссию люди, и до утра в окнах горел свет.

Издавна земля и вода распределялась у туркмен не по труду, а на семью. Таков был племенной порядок. Неженатые не имели права на землю и воду. И если в бедняцкой семье вырастали пять-шесть взрослых сыновей, они не имели права на лопату земли, на ведро воды. Надо жениться! А жениться — значит, уплатить калым. Заколдованный круг. Но если у бая росли пять сыновей, он женил всех подряд, даже двухлетних и получал пять паев.

Нет, не вчера земля и вода стали предметом купли-продажи. Нет, не вчера баи скупили пашни, чтобы сдавать их в аренду за четверть или треть урожая. И не вчера в бедняцких семьях сложили безнадежную поговорку: «Бай завладел землей — держи покрепче хоть небо над головой...»

Во все времена старое не мирилось с новым, во все времена эта борьба была жестокой. Когда уничтожаешь дикий кызган, чтобы посеять пшеницу, то это живучее растение рвет колючками одежду, кровянит руки. Так думал вызванный Атабаевым рассудительный Абдыразак, сидя у него в кабинете.

В просторном номере, за овальным столом красного дерева, Атабаев расположился по-боевому, как командир батареи на наблюдательном пункте, — только что без бинокля. Он то и дело хватался за телефонную трубку, связывался с аулами, отдавал приказания местным руководителям, отвечал на их вопросы сурово и коротко:

— Если слабо держать камыш, — порежет руку! Понятно?.. Если оказывают сопротивление — выслать!.. Если впутались родственники, не надо жалеть и семей!

Прихлебывая чай из пиалы, Абдыразак неодобрительно качал головой. «Окаменело сердце у Кайгысыза, — думал он, — нет в нем теперь жалости».

Без стука отворилась дверь, в комнату скользнула седая женщина.

— Кто зовется Кайгысызом, милые? — спросила она.

Абдыразак кивнул на Атабаева.

— Пришла жаловаться.

Атабаев вышел из-за стола, взял плачущую старуху за плечи, усадил в кресло, мягко сказал:

— Успокойся. Считай, что ты дома. Не стесняйся. Расскажи, кто тебя обидел.

— Я, сынок, без мужа осталась... Две дочери вышли замуж, четверо остались на руках.

Старшему сыну нет и пятнадцати...

— Тяжело, конечно. Ну и что же дальше?

— А теперь, говорят, что мой муж был баем и хотят нас лишить земли и воды.

— Кто так хочет?

— Сельсовет.

— А что сказала комиссия?

— А они, сынок, вместе сидят... Вместе едят, ну и одно гозорят со слоз председателя.

— Сколько же у тебя земли?

— Есть у нас садик. То ли будет размером с танап, то ли нет...

— А кроме садика?

— Между небом и землей ничего нет у меня, кроме бога.

Кайгысыз пристально посмотрел на старуху,

— Скотина есть? — спросил он.

— Коровка...

— Когда умер муж?

— Скоро пять лет. И при нем ничего лишнего не было, а теперь из последних сил тянемся...

Атабаев подошел к столу, нажал на кнопку. В комната появился молодой человек с черными подкрученными усами. Это был младший брат покойного Мухаммедкули нарком земледелия республики.

— Случайно не знаешь ли эту женщину?

Хаджи посмотрел на старуху, покачал головой.

— Никогда не видел.

— Поговори с ней, расспроси подробно, выясни, где творят несправедливость, и проследи до конца, чтобы человека не обидели.

— Будет исполнено, товарищ Атабаев.

Когда он вышел из номера вместе со старухой, Абдыразак спросил:

— Зачем ты вызвал меня?

— Захотелось посмотреть на старого друга.

— Только и всего?

— Неужели не веришь?

Кайгысыз посмеивался, глядя на мрачное разбойничье лицо Абдыразака.

— По поводу подобного вызова могу рассказать тебе старинную историю, — сказал Абдыразак. — Однажды пригласили в гости осла. Он подумал: кто я такой и кто — хозяйка дома? Не дадут мне здесь ячменя. Если зовут, — значит, у хозяина кончились дрова или у хозяйки — мука... Вот и я думаю, что не поставишь ты предо мной горку плова. Чем же могу служить?

— Здорово рассудил! А, может, я хочу тебе дать земельно-водный надел?

— За это не поблагодарю.

— Напрасно. Могу предложить хороший надел.

— Если сгоряча не отнимешь у меня лопату, — что ж, сделаю полем и заброшенный пустырь.

— Для земли, уважаемый, нужна вода.

— А я сошью бурдюк из шкуры своего бычка и буду носить воду из колодца.

— Такое у тебя творческое вдохновение!

— Ты же знаешь, меня всегда кормила лопата.

— По совести говоря, Абдыразак, я и пригласил тебя, как человека, который из ничего может что-нибудь сделать.

Абдыразак, прищурившись, поглядел на Атабаева. Его крупное лицо с пышными усами не выражало ни хитрости, ни лукавства. Выпуклые черные глаза сияли простодушно, как у ребенка.

— Знаешь что, — помолчав, сказал Абдыразак, — не морочь мне голову льстивыми похвалами. Говори прямо — что нужно?

— Есть у меня одна просьба... Ты знаешь, за какую работу мы сейчас взяли в Марыйской области?

— Кто же этого не знает! Одних заставляете плакать, других — смеяться.

— Упрямец! С этим ты родился, с этим и умрешь! Но я хочу тебя спросить: ты ешь хлеб с туркменской земли?

— Я не пользуюсь чужим трудом.

— Не о том речь. Пойми, эта священная земля сегодня нуждается и в тебе. Оправдай хлеб, который ешь!

Больше всего Абдыразак не любил высоких слов. Он насмешливо спросил:

— А если не оправдаю, что со мной сделаешь?

— Не оправдаешь? — Кайгысыз посмотрел грозно. — Не говори тогда, что не слышал. По щеке не поглажу.

Абдыразак улыбнулся.

— А ты слышал про слепого из племени бурказов?

— Это к делу не относится.

— Ошибаешься. Вот послушай меня... Лет сорок назад у бурказов был слепой, которого так и звали «Слепой из бурказов». Был он очень остер на язык, как говорится — ради красного словца не жалел ни матери, ни отца. Тем более не жалел он и хана. Мейли-хан очень на него рассердился, велел позвать к себе...

— Я-то ведь не слепой и не глухой, — раздраженно заметил Атабаев.

— Имей терпение. И вот Мейли-хан спрашивает: «Ты закладываешь за щеку, слепой?» Тот вытащил из кармана тыковку с насом, щелкнул по крышке. «Это, хан-ага, моё самое большое удовольствие». Хан спросил: «Ты и табак куришь, слепой?» Тот с радостью отозвался: «Табачный дым — отдохновение души». Хан еще спросил: «Может, ты и терьяк глотаешь, слепой?» «Не упускаю случая, если удастся». «А ты не боишься моего гнева, слепой?» «Я, хан-ага, и бога не боюсь». Хан закричал во гнев: «Плохо я с тобой поступлю, слепой!» «Не может быть!» — удивился слепой. «Берегись! — кричал хан. — Берегись моего гнева!» — Абдыразак тихо засмеялся. — И вот слушай, председатель Совнаркома, что тогда сказал слепой из бурказов: «А ну-ка покажи, какой у тебя гнев? Может, сжалишься над моей нищетой и подаришь халат? Пожалеешь мое одиночество — дашь мне брата? Содрогнешься от моей слепоты и вставишь глаза? Или женишь меня? Разве можешь ты сделать, чтобы мне стало хуже? Так покажи свой гнев, испугай меня!»

Атабаев поднялся из-за стола, положил руку на плечо Абдыразака.

— Разве можно на тебя сердиться, друг дорогой? Ты же беленькая птичка, к которой грязь не пристает!

— Хватит! — Если не будешь меня так приторно обхаживать, не откажусь от твоего дела, коли смогу справиться.

— Я не сомневался. Есть предложение — быть председателем одной сельской комиссии в земельно-водном отделе.

— Именно председателем?

— Только так.

— Если бы ты впряг меня в ишачью арбу, я, наверно, не хуже, а лучше поработал, чем в этом путаном деле.

— Я лучше знаю, кого куда впутывать.

— А если не справлюсь с работой?

— Справишься.

— А если придут на меня жаловаться, как сейчас приходила эта вдова?

— Это мое дело успокаивать тех, кто сюда приходит.

— А в чем будет мое дело?

— Отобрать земли у баев и отдать их беднякам.

Абдыразак вопреки своим привычкам встал с места, начал ходить по комнате.

— Но ведь меня не знают в аулах.

— Не беда. Подожди лес — прославишься. Возьми аул, который знаешь.

— Да я только свой и знаю.

— Прекрасно!

Абдыразак молча постоял у окна, потоптался у холодной железной печки, еще с зимы отдававшей едким запахом масляной краски, потом резко обернулся к Атабаеву.

— Ставлю одно условие: я подготовлю новый земельно-водный раздел в Конгуре по вашим указаниям, но к концу работы вы лично приедете в аул.

— Идет!

Атабаев вызвал к себе Хаджи и обьявил:

— Вот председатель Конгурской сельской комиссии. Познакомь его со всеми материалами.

## **В священном саду ахуна**

...Обманчивый день поздней осени стоял над Конгуром. Знойное солнце сморило даже забытого с поклажей ишака в яблоневоm саду. Но вдруг порывы ветра посыпали с деревьев яблоки, и скрученные желтые листья с шуршанием помчались по земле. Абдыразак сперва сидел, потом покойно улегся на подгнившей скамейке в саду.

Он знал, что ночью Атабаев звонил в сельсовет, сейчас он приедет. Там, на площади у конторы, уже собираются на сход аульчане. Пора кончать, пора подписывать акты — он целый месяц провел в ауле. И вот — земля отдана тем, кто на ней работает. А если ничего не решили с проклятым садом, то что ж, он часок-другой подремлет на скамейке, пусть пораскинет мозгами глава правительства.

Старый фруктовый сад — родовое поместье Оразмухаммед-ахуна, проклявшего своего сына... Тут между деревьями Абдыразак гонялся за мальчишками, радуясь, когда удастся ловко влепить кому-нибудь в щеку перезревший персик, тут навсегда поссорился с отцом.

В детстве не было у Абдыразака товарищей ни в школе, ни в ауле, а дружил он только с сыновьями садовника — вялым, медлительным Лоллуком и вертлявым, юрким, насмешливым Тарханом. Этим ребятам не пристало учиться в школе, они помогали в саду своему отцу.

Абдыразак околачивался около них с утра до вечера, бывало даже обедали вместе, расположившись в абрикосовых кустах с чашкой плова и поджаристым чуреком. Оразмухаммед-ахун, занятый толкованием корана, не слишком приглядывался к забавам сына, пока тот был маленьким. Иное дело — подросток. Когда ахун однажды увидел Абдыразака, играющего в альчики с сыном садовника, он подозвал его к себе и спросил:

— С кем играешь?

— С Тарханом, — простодушно ответил Абдыразак.

— Учишься воровать?

— Разве он ворует?

— Его отец тайком продает фрукты из сада. Тебя это не касается, и ты не должен об этом говорить.

— Почему? Обязательно спрошу у Лоллука.

— Это лишнее. Но ты не будешь подходить к этим детям, не будешь с ними разговаривать. И пусть они к тебе не подходят. Понятно?

— Нет. Непонятно. Значит, я не должен играть?

Оразмухаммед-ахун снисходительно посмотрел на сына.

— Нужно знать, с кем играешь, — сказал он. — Играй с сыном Байрам-хана, с сыном Баллы-бека, с сыном Мурад-бая.

— Я не люблю их. Я хочу играть со своими товарищами.

— Не будешь с ними играть.

— Буду.

— Только попробуй еще раз об этом заикнуться! — Ахун погрозил сыну кулаком.

Абдыразак снял тюбетейку, наклонил голову и сказал:

— Бей! Делай все, что хочешь. Но помни, что тогда больше не увидишь меня в этом доме.

Оразмухаммед-ахун не ожидал такого отпора. Кулак его опустился в карман халата, он возвел глаза к небу и простонал:

— О, аллах, ты вырастил врага в моей семье!..

С тех пор он не решался даже сделать замечания сыну. Надолго запомнился этот разговор и Абдыразаку. Люди, которых ахун обвинял в воровстве, все время были на глазах у мальчика. С утра до вечера они работали в саду, горький пот превращал в жесткую корку ситцевое тряпье их рубаш, на штанах — заплаты в три слоя. Даже подгнившие яблоки они собирали на тачку и отвозили в загон коровам ахуна. А отец расхаживает по саду, заложив руки за спину, никогда не нагнется, чтобы поднять веточку с дорожки, и только поучает садовника. Сомнения в справедливости аллаха и в доброте отца стали мучить Абдыразака. Даже сад казался ему теперь другим. Наступила редкая в этих краях дождливая осень, и сад казался похожим на девушку в слезах, увезенную на чужбину. Так без помощи книг и старших друзей Абдыразак понял, что земля должна принадлежать тому, кто на ней работает.

Вот и покинул он отчий дом, стал жить, как подсказывала ему совесть, и с годами редко возвращался памятью к друзьям детства. А в Конгуре часто вспоминали Абдыразака. В головах многих сельчан не укладывалось, как это можно бросить отца, пренебречь знаменитой медресе и родительским наследством. Конечно, все это неспроста. А в ауле говорили:

— Абдыразак отошел от веры.

— Абдыразак стал русским.

— Чего же и ожидать от парня, бросившего такого отца?

— Говорят, он поносит исламскую религию.

— И ест свинину!

— Поговаривают, что он сказал, будто одного русского с серпом и молотом любит больше, чем сотню ахунов в чалмах.

Все эти слухи смущали Лоллука и Тархана, а к тому же и старый садовник запугивал сыновей:

— Ваш друг стал капыром. Если будете с ним встречаться, вы тоже утратите веру, на вас обрушится гнев аллаха, в аду вас будут грызть драконы, рвать на клочки рогатые девы...

Лоллук и Тархан, представляя себе свой окаянный удел, не подозревали, что несколько лет назад Оразмухаммед-ахун точно также предостерегал от них своего сына.

Новый порыв ветра просыпал яблоки с ветвей. Сад простучал, прошумел и затих. И снова защебетали птицы. Похоже, будто — «мороз идет, мороз идет, снимай яблоки!..» А некому собирать урожай. Нет хозяина в саду Оразмухаммеда-ахуна.

Философ улыбнулся. Неожиданная мысль мелькнула о голове — когда кочевье возвращается на старое место, первым приходит хромым, он ведь был сзади. Когда происходит социальный переворот — «кто был ничем», становится всем. Так все-таки дожил



он до того дня, когда делит в ауле отцовское наследство между тружениками! А ведь мальчишкой не мог и мечтать об этом!

Будто нарочно, Лоллуку и Тархану достался по жребии сад ахуна. Можно сказать, перст судьбы! И вот как дело повернулось! Диалектики говорят: «Отрицание отрицания». Кто бы мог подумать, что Лоллук и Тархан будут давать ему урок диалектики!

\* \* \*

Конгурцы, собравшиеся на площади у сельсовета, с некоторым волнением ожидали Атабаева. Кто-то в толпе напомнил о том, как на выборах арчина несколько лет назад он схватился за пистолет, а ведь тогда еще не был главой правительства! Занятно, конечно, что он теперь сделает с отказчиками? Может, сошлет в Сибирь? Конечно, товарищ Кайгысыз уважает крестьянский труд, но государственное дело ему важнее всего.

Машину председателя Совнаркома обступили дети раньше, чем старики. Но вопреки ожиданиям, Атабаев был приветлив, поздоровался со всеми, пошутил с молодежью. Об отказчиках и смутьянах он даже и не заикнулся, а только расспрашивал, у кого есть семена, давно ли приступили к осеннему севу, кто нуждается в денежном кредите. Его помощник записывал все просьбы. Наконец, Атабаев сказал:

— Я слышал, что земельно-водная реформа в Конгуре закончена. Есть какие-либо возражения и жалобы по поводу решений комиссии и сельсовета?

Все молчали.

— Если есть жалобы, не надо стесняться.

Почтенный председатель сельсовета, наконец, заговорил:

— В нашем ауле только двое остались недовольны своим наделом.

— Нечестно, что ли, вели жеребьевку?

— Ни у кого нет таких подозрений.

— В чем же дело?

— Участок хороший, а люди недовольны.

— Говорят, у кого удача, тот не плачет. Я что-то не пойму, что у вас происходит?

Председатель подтолкнул вперед сырого бледного человека с выпяченной нижней губой, туповатыми глазами.

— Иди, Лоллук. Объясни сам, в чем дело.

Растерявшийся Лоллук забормотал:

— Мы ведь простые люди... Сам знаешь. Разве мы достойны этой земли?

— А разве есть на свете что-нибудь достойнее труда человека?

— Но ведь нам достался сад ахуна!

— И ахуну он не с неба свалился! Кто-то дал, а кто-то и отберет.

— Вы, конечно, высокие люди, но...

— Ты, товарищ, не мерь меня по росту.

— Я о твоей власти говорю.

— Брось, Лоллук! Я не ага, ты не слуга. Поговорим, как крестьяне. Может быть, не согласен сын ахуна, чтобы ты взял землю его отца?

— Что вы! Абдыразак уговаривает, чтобы я поставил кибитку прямо посреди сада.

— Ничего не понимаю.

Чуть не плача, Лоллук подтолкнул вперед своего брата.

— Ты похитрее, Тархан. Расскажи, как мы думаем.

Недовольно подмигивая глазами, редкобородый, с длинным крючковатым носом, Тархан вышел вперед и, обиженно отвернувшись от председателя Совнаркома, забормотал:

— А что тут болтать? Святое урочище, вот и весь сказ!

— До сих пор я думал, что святым называют то урочище, где слепые просят зрения, а бездетные — сыновей, — сказал Кайгысыз.

— Может, оно и так, но мы не осмелимся ворошить эту землю лопатой, — ответил

Тархан.

— Много ли пота пролил твой отец на эту землю? — спросил Атабаев Абдыразака, который нарочно стоял в стороне, чтобы не смущать людей.

— Если не считать подливки от жирного плова и сочного мяса... — Абдыразак вдруг вспылел. — Я плюнул на эту землю и ушел, потому что грязнее она собачьего помета! Видно, им тоже противна эта грязь,

— Закрой свой нечестный рот, Абдыразак? — крикнул Лоллук. — Эта земля чище снега, на ней можно читать намаз!

— Да разве не ваш отец сделал ее такой, разве не вы с ним вместе выхаживали каждое деревцо в этом саду?

— Это и без тебя все знают.

— Так что же вы топчетесь тут, как кобели, не умеющие совершить... омовения!

— Мы свое сказали.

Поняв, что уговорами ничего не добьешься, Атабаев решил повернуть дело покруче.

— Значит, вы предлагаете провести новую жеребьевку?

— Ай, нет! Язык не повернется такое сказать!

— Может, хотите, чтобы вас переселили в Теджен или Туркмен-Кала?

— Отсюда смогут увезти только наши трупы.

— Что же нам делать?

— Как вы не можете понять, что это не простая земля? — вдруг завопил кроткий Лоллук. — Это священный сад! Каждого листика касались руки ахуна!

Атабаев кивнул председателю сельсовета.

— Пришлите сюда- десяток молодцов с пилами и топорами, пусть до рассвета спилят священный сад. Расходы — на мою шею! А дрова разделите поровну.

— Эй, товарищ Кайгысыз, эй, товарищ! — замахал руками быстрый старичок, вырвавшись из толпы.

— Говори, ага, говори.

— Вон там, на северной стороне аула, есть две доли — моя и сына. Пусть Лоллук и Тархан живут там, а мы будем здесь. Между мной и богом есть ишачок и ишачонок, — даю их в придачу! У них, у этих братьев, зубы слабые, чтобы грызть яблоки из этого сада. Ай, яблоки, как щеки молодухи! А мне эти яблоки в самую пору!

Тархан подскочил, ткнул пальцем в грудь старичка.

— Ты, брат, Гытды, не крутись под ногами! Пока по мне не прочитали заупокойную, ни тебе, ни твоей старухе не сыпать золы на эту землю! Ступай и прикажи своему ишаку кричать на старом месте! Ей богу, верно говорит Абдыразак — ведь мы сами сделали эту землю землей, этот сад — садом! Не знаю, как брат, а я не сойду с этого места, если даже Абдыразак придет сюда с саблей!

Лоллук стал рядом с братом.

— Если Тархан согласен, я уцеплюсь за эти деревья обеими руками.

— Товарищ председатель, — торжественно сказал Тархан, — мы принимаем свой жребий и прикладываем свои пальцы под решением комиссии.

— Я и раньше знал, что дело этим кончится, — улыбнулся председатель сельсовета, — зачем же было заставлять людей с вами возиться?

— Товарищ Кайгысыз, пусть земля развернется, чтобы мы провалились от стыда за все хлопоты, которые вам причинили. Простите нас, темные мы люди, — сказал Лоллук. — Нас еще за руку надо водить...

Не прошло и минуты, как на сход прибежали дети упрямых братьев с полными корзинами и стали бросать яблоки в толпу.

— Всем... спасибо!.. — кричали они.

## Прощение на своё имя

Память... Удивительная это вещь — наша память. Странно и непонятно, в неожиданные минуты, — и когда совсем не ждешь, — выбрасывает она из-под крыши повседневных забот и дел свои огненные языки — и тогда пожар!

Так бывало теперь все чаще и чаще, и председатель Совнаркома союзной республики не мог понять, почему и откуда, — если голова занята день и ночь государственными вопросами, если сотни людей ищут твоего совета, ждут встречи с тобой, — почему и откуда врываются в твою голову самые неожиданные воспоминания, и ты остаешься с ними, — пусть всего лишь одну, две минуты, — наедине, один на один? Разве ты одинок, чтобы предаваться воспоминаниям?

А жизнь Атабаева с тех пор, как он возглавил правительство своего народа, стала очень напряженной, вместила в себя множество приключений ума, сердца, воли, события бежали чередой: поездки, заседания, встречи — и все неотложные. И впечатления каждого дня — не разберёшь сразу. То радостные, то мрачные: так от одной овцы рождаются и белые и черные ягнята.

Где только не видели теперь председателя Совнаркома. С молодой энергией он успевал быть повсюду. За год он побывал и в Кизыл-Арвате, куда отговаривал его когда-то ехать искать работу такой же, как он сам, безработный горемыка... Теперь там строили завод и нужно было повидаться с рабочим коллективом. Он побывал и в Безмеине, и в Красноводске, а однажды заехал в Нохур, и после делового дня вечером побывал возле школы, построенной страдальцем Мухаммедкули... Та же столетняя чинара, что с ней делается — осеняла школьную кровлю. Атабаев разглядел даже и старый срез на стволе — от той ветви, из-за которой погиб его друг. Может быть, он-то и был бы сегодня председателем Совнаркома. Сколько безвестных борцов по всей стране погибло, не дождавшись своего времени, не зная о своем предназначении...

От одной овцы — и белые и черные ягнята...

Вдруг тучами налетела страшная желтая саранча. Ока всегда, и даже в древние времена, налетала внезапно и до последней черты, куда достигал ее смертельный налет, — долины и поля оказывались мертвыми, оскаленными, точно после пожара. В преданиях народных оставались наряду с Годом засухи, с Годом морозов и Год саранчи. Но та саранча была серенькой и мелкой, и не оставляла потомства. А эта — величиной больше пальца. Летящая туча закрывала солнце желтой завесой. И там, где садилась стая саранчи, она пожирала все, даже камышовый каркас ветхой кибитки.

Народ называл ее именем, которое само по себе пугало: «шостатсарка».

— Это аллах послал свою кару на большевиков...

Атабаев на заседании Совнаркома впервые выразил словами то, что спустя неделю поставило на ноги всю республику — саранчовый фронт!

— Товарищи! Если не посчитаешься с бедой — она одолеет! Такую беду, как нынешняя, еще не видела туркменская земля. Я предлагаю позвать весь народ на саранчовый фронт!.. И если не будет желающих, командование возьму на себя.

В кулуарах, во время перерыва заседания, смеялись:

— Слепая отвага!

— Беспримерное мужество!

— Слава аллаху, — и то хорошо, что угроза смерти не целится в него своим копьём!

Атабаев, проходя мимо, слегка пожурил шутников:

— Слабаки, если так смеетесь, берите на себя руководство!

А спустя неделю со всей республики потянулись в районы бедствия эшелоны рабочих полков, вооруженных лопатами и кетменями, серпами и керосиновыми бачками.

Там, на саранчовых полях, встретил Атабаев и бывшего тедженского комсомольца Чары Веллекова, с которым когда-то скакал ночью в степи.

— Где же твой конь, Чары?

Тот только улыбнулся. За спиной у него, как и у всех его подначальных, был подвешен жестяной бачок с керосином, а резиновый шланг заткнут за пояс.

— Вот он, нынешний басмач! — сказал Чары и показал председателю Совнаркома на саранчука, сидевшего в небольшой, с наперсток, лунке. Он выдернул его из лунки и шлепнул об сапог.

— Вот тебе тысяча саранчуков из одной!

И действительно — в лунке с наперсток было полным-полно этой пакости, похожей на гниды. Атабаев уже знал размеры беды: сперва эти саранчуки были маленькие — не больше мелкого — «масляного» — муравья, потом становились крупнее, размером с черного муравья. Потом еще больше, — вроде «конного» муравья, и каждый день они взросли... А когда достигали четвертого—пятого возраста, земля уже шевелилась от их копошения — они подпрыгивали, кишели, как кишит рыба в пересыхающей заводи.

Отложив яйца, саранчуки погибали. Их уже можно было собирать в мешки, как полу на току. Ученые говорили Атабаеву, что в Африке саранчу перемалывают в муку и едят. Подростая, молодая стая, что достигла пятого возраста, приподнимала свои бесчисленные крылья и пускалась в полет, превращаясь в ненасытного хищника...

Тут не было слышно грохота орудий и пулеметных очередей, как некогда на фермах Аму-Дарьинского моста, где сражались с белогвардейскими бронепоездами железнодорожные отряды. Но это был тот же бой. Огнем полыхала земля: бойцы саранчового фр<sup>онта</sup> заливали керосином места скопления насекомых и поджигали. И тут Атабаев встретил еще и другого героя республики — Аннамурат Сары Патра, который тоже вел бой с саранчой, возглавив один из отрядов. Когда-то он воевал под Кронштадтом, а в годы конных боев с басмачами получил за свою храбрость и нежелание отступать почетную кличку «Рябый козла». Басмачи боялись «Рябый козла» больше Эзраила — ангела смерти,

— И ты здесь! — воскликнул Атабаев и вдруг рассмеялся. — Что, конец света настал, что ли?..

Никто из окружающих — и сам «Рябой козел» — не поняли, что имел в виду председатель Совнаркома. И Атабаев не объяснил никому, что он подумал. Слишком сложным путем пришла ему в голову эта шутка. Вдруг вспомнил он грязную ночлежку в Красноводской чайхане и ночной разговор двух безработных его соплеменников, и несбыточную мечту, прозвучавшую в том разговоре, — о временах, которые еще придут, когда труженик станет первым человеком на земле и ее полновластным хозяином. «Это будет, когда конец света настанет...» — сказал с тоской и горечью один из них. И сейчас, видя, как защищают землю до самого горизонта ее новые хозяева, Атабаев вспомнил ночкой разговор и невольно вырвалась у него эта ликующая фраза:

— Что, конец света настал, что ли?..

Так, непонятно в какую минуту и по какому, иногда случайному, поводу, приходили к нему теперь неожиданные воспоминания.

Вырвавшись из сумятицы круглосуточных дел, Атабаев уходил бродить по асхабадским улицам. Так бывало когда-то в Ташкенте и в Бухаре. В городской толпе возле базара или в сонных переулках думалось лучше и лучше отдыхалось. Правда, никогда не удавалось остаться одному: по пятам неумолимо следовал некий адъютант, а, может, и не один... Отослать их от себя председатель Совнаркома был не волен, да он и привык уже к их молчаливому присутствию. Хуже было с бесцеремонными просителями. Все узнавали в лицо главу правительства, приходилось на ходу выслушивать просьбу, назначать встречу.

Однажды его поймал за полу седобородый старик.

— Эй, сынок, погоди-ка!

Атабаев обернулся.

— Здоров ли, Атабай?

— Спасибо.

— Давай присядем, поговорим...

Старик радушно указал на тротуар, замощенный каменными плитами.

— А нельзя ли поговорить стоя? — спросил Атабаев.

— Нет. Нельзя, — сказал старик.

— Тогда приходите в учреждение, — вмешался секретарь.

Атабаев кивком остановил секретаря, прося не вмешиваться. Но почтенному старику — аксакалу этого было мало, он и сам принялся его отчитывать:

— Я, друг, не говорю твоим курам — «кыш-ш-ш!» Не вмешиваюсь в твои дела. А ты чего мне мешаешь?

Старик удобно уселся на тротуаре. Рослому Аабаеву показалось неловко высидеть перед ним, пришлось сесть рядом. Старик назидательно поднял одну бровь, над которой, словно бусинка, дрожала красноватая родинка, и деловито приказал:

— Теперь слушай меня!..

— Слушаю, — покорно отозвался Атабаев.

Слушать пришлось долго: и о первых днях революции, и о тяжелых боях за станцию Пески. Понимая, что конца не предвидится, Кайгысыз взмолился:

— Нельзя ли, ага, покороче?

— Потерпи, сынок, не торопи!

Дальше рассказ пошел о басмачестве. Старик подробно описал действия своего отряда, вспомнил колодцы, попадавшиеся в походе, в каком ауле чем кормили. А вокруг уже собралась уличная толпа. Атабаев без раздражения прервал пустую болтовню.

— Может быть, вы скажете, чем все это кончилось, ага?

— Торопливость — от шайтана, терпение — от создателя. Потерпи, сынок, еще немного.

И старик начал рассказывать о земельно-водной реформе, о схватках с баями и кулаками. У Атабаева затекли ноги, он хотел встать, но старик придержал его за колено.

— Подожди.

— Меня ждут срочные дела, яшули!

Старик строго взглянул на Атабаева.

— Разве я тебя мало ждал?

— Почему же не пришел в Совнарком?

— Разве к тебе пускают?

— Ты бы проверил.

Старик несколько опешил, но быстро нашелся.

— Все равно на месте не сидишь. Не застанешь тебя.

— Напрасно не добивался ты...

— Нет уж лучше, — вздохнул старик, — решай дело здесь.

— Какое же дело? Говори.

— Да разве ты даешь рот раскрыть? Мне пенсия нужна!

— Хочешь, чтоб я написал прошение на свое имя?

Атабаев вспомнил далекие времена, когда в чайной «Ёлбарслы» к нему подсел такой же старик. В безвыходном отчаянии тот просил написать бумагу неизвестно кому, неизвестно куда, неизвестно о чем...

Старик рассердился.

— Какое еще прошение? Но я не хочу, чтобы ты надписал на заявлении: «Выдать пенсию!» — и чтобы на том все кончилось. Я на это не согласен.

— А что еще нужно? — развел руками Атабаев.

— Выслушать меня до конца.

— Ну, приходи завтра с утра.

— Не приду, потому что будешь торопиться, как сегодня.

— Буду слушать хоть весь день.

— Тогда согласен. Приду.

Атабаеву, наконец, удалось встать на ноги, пробиться в толпе и скрыться в первом попавшемся переулке. Прогулка, можно сказать, не состоялась, но гордая независимость старика очень понравилась председателю Совнаркома.

— Вот это туркменский характер! — объяснял он на обратном пути своему

спутнику. — Не считается ни с обстоятельствами, ни с должностями!

## Камчой дело не поправишь

Туркмения — большая страна. Везде надо было побывать и успеть Атабаеву. Случилось ему однажды быть на севере республики, в оазисе Ташауза.

Снова стало тревожно — дворы по ночам на запоре.

Баи не могли примириться с тем, что от них уходят земли, дающие обильные урожаи. «Мое никому не достанется», — говорили они и поливали керосином корни виноградных кустов, спиливали урючные и абрикосовые деревья, тутовник... Известные люди до полусмерти избивали председателей сельсоветов, труп одного из членов местной комиссии нашли в арыке. В некоторых районах под влиянием племенной вражды местные комиссии объявили баем крестьянина-середняка и отбирали у него земельно-водный надел. Племена никак не могли поделить арыки. Были такие бедняки, что отказывались от байских наделов — «чужая земля — запретна».

Атабаев предпочитал разбирать все эти происшествия на месте и не засиживался в кабинете или в гостинице. Бывало и так, что среди ночи вдруг раздавался его голос... Так было и в этот раз.

— По коням, товарищи!

— Но ведь поздно! Постели в номерах уже постланы, Поспим и поедем завтра с утра.

— Завтра с утра поедем в Порсы, а сегодня успеем в Ильялы, там и заночуем.

— Сами знаете — на дорогах ночью опасно.

— Разве есть что-нибудь опаснее нас самих?

И шутка всех веселила.

Ночь была тихой. Гулко разносился топот конских копыт. Атабаев ехал и думал, что в такие ночи сотни лет разносился конский топот и тысячи раз совершались грабежи. В такие ночи когда-то самый красивый и самый благоустроенный город в мире — Куня-Ургенч был разорен дотла ордой Чингиз-хана, совсем недавно отряды Джунаид-хана залили эту землю кровью. А сейчас скачет по этой земле кучка безоружных всадников, скачет торопливо, ночью, только для того, чтобы превратить селение Ильялы, что значит Змеиное в цветущий сад.

Змеиное — в цветущий сад...

Качаясь в седле, Атабаев вспоминал мрачную минуту недавнего съезда, когда весь зал ошестинился в гневе, потому что увидел на трибуне посланца беглого Джунаид-хана. Лучше бы волка увидеть, чем этого рябого басмача. Он скосил свой единственный, кровавый глаз из-под нависшего века на президиум, будто ища там поддержки, и почему-то заговорил по-русски, ужасно коверкая слова. Может быть, ему хотелось, чтобы его без переводчика понял всеююзный староста?

— Вам сказали, товарищи, что я, Курбан-Сийд-оглы, человек, посланный Джунаид-ханом! — так он — начал свою угрюмую речь. — Конечно, утаить нельзя, что сделал Джунаид-хан, да и все мы сделали... выглядит, напри мер, плоховато... Но ведь надо вспомнить и то, что на коней мы сели не затем, чтобы грабить население. Нестерпимый гнет хивинских ханов заставил нас сесть на коней. Но, например, против Советской власти мы делали всё, что могли... Это нельзя скрывать. Только я вам скажу, что и нам самим было не сладко. Это только волки привыкли — преследовать, грызть и метаться без воды по пустыне. От этой волчьей жизни устал и хан и уцелевшие его нукеры. Мы, например, превратились в черепа, грызущих помет. И вот услышали, что создается туркменское государство. От имени самого Джунаид-хана прошу: забудьте ваши обиды, простите нашу вину. Мы пришли с повинной головой и, например, надеемся, что съезд примет нас, как своих гостей, и позволит нам где-нибудь жить. Именем самого аллаха клянемся выполнять все, что вы нам прикажете. Мы ваши провинившиеся рабы. Пощадите нас!

Не было в зале таких туркмен, кто не помнил бы злодеяний Джунаид-хана. Особенно

негодовали делегаты из Ташауза.

— Как ты смеешь смотреть людям в глаза, Курбан-Сийд?

— У Джунаида меньше волос в бороде, чем убитых на совести!

— Не умру, пока не всажу саблю в Джунаида!

— Повесить его на площади!

Недирбай с трудом успокоил волнение и сказал:

— Курбан-Сийд говорит: пришли с повинной. Мне понятно ваше негодование, товарищи, но разве пришедшему с повинной не прощается долг крови? Ведь Джунаид-хан обращается к историческому съезду. Будет хорошо, если мы в этот день простим всем виновным их вину.

Нельзя сказать, что предложение было принято с энтузиазмом. Но даже ташаузские делегаты, понимая, что, кроме личной ненависти, существует и государственная целесообразность, проголосовали довольно единодушно.

А сейчас, в ночной скачке, Атабаев снова обдумывал этот великодушный акт Первого съезда республики и сомневался, — не рано ли стали прощать, подобрили? На лучше ли раньше превратить Змеиное в цветущий сад?

В Ильялы, как всюду в районе, коммунисты не спали — с радостью встретили запоздалых всадников. Может быть, той устроить? Совсем еще не поздно... Но приехавшим было не до пиршества. После короткого делового разговора прикорнули на три часа и, когда на горизонте обозначилась светлая полоса, двинулись дальше.

Порсынский район находился на берегах Аму-Дарьи. Во время паводков на земле образовывались озера, зараставшие камышом, покрытые осокой. От них шел гнилостный запах, потому и прозвали селение Порсы — Вонючее. Теперь в районе провели кое-какие мелиоративные работы и пора бы тоже менять название аула.

Однако посева Порсынского района не порадовали глаз Атабаева. На полях, где должны были красоваться коробочки хлопчатника, свесили головки, словно прощаясь с жизнью, щуплые бутоны, и больно было смотреть на эту картину безмолвного умирания, горько думать о бесплодном труде, затраченном на этой пашне.

К всадникам подъехал на коне степенный человек в ватном халате, поклонился.

— Кто вы такой, яшули? — спросил Атабаев.

— Председатель здешнего сельсовета, к несчастью,

— Почему же — к несчастью?

— Сами видите. — И он показал на хлопчатник.

— Как же это вы так замучили поля?

— Не мы мучаем — нас мучают.

— Кому это понадобилось?

— Заведующему водным отделом Азамату Чанаку.

— Невероятно!

— Мы с самого начала сказали Азамату: «Наши пашни — верховые, их не напоишь из общего арыка. Не будем мешать есть тому, кто с ложкой, выкопаем для себя новый арык». Он запретил. Кричит: «Что вы понимаете? Власть над водой в моих руках». Вот и не дошла по весне вода на наши поля, пришлось сеять только после паводка. И все-таки люди старались и урожай был бы хороший.

— А почему же поля теперь без воды?

— Уровень в реке понизился и не поднимается. Если мы теперь начнем копать арык — поздно. Хлопчатник все равно пропадет. А делать нечего. Только бога проклинать.

— Как же вы допускаете такие вещи? — спросил Атабаев секретаря окружкома.

— Есть мнение об Азамате Чанаке. Мы хотели рассмотреть его дело на очередном заседании бюро.

— Но как же он вообще-то оказался на этой должности?

— Трудно узнать человека. Всяду семейственность, кумовство. Когда назначаешь работника на должность, рекомендатели превозносят его до небес. А пройдет полгода, и они

же втаптывают его в грязь.

— Где же совесть коммунистов?

— Где есть, а где и нету. Некоторые только прикрываются партбилетом.

Атабаев снова заговорил с председателем сельсовета.

— Что же сделать, чтобы отстоять хлопчатник?

— Только одно — закрыть все остальные арыки дня на четыре, пока мы не польем как следует свои поля,

— А выдержит хлопок в других аулах?

— Они даже страдают от излишка воды.

— А что делать ко времени следующего полива?

— Мы должны прокопать свой арык от поворота арыка Сусак.

— Успеете?

— Если поможет район, справимся за десять дней.

— Тогда действуйте!

Атабаев тронул коня. Пошли рысцей. Атабаев насупился, молчали и спутники. И всю дорогу некуда было отвести взгляда от запущенных посевов хлопчатника. Поля то заросли камышом, то виднеются пролысины, на которых можно ловить сусликов, то тянутся участки с пожелтевшими от избытка влаги коробочками.

В саду возле райкома партии собралось много народа, каждому хотелось поговорить с председателем Совнаркома, — обычные просьбы, жалобы, вопросы, — но Атабаев не забыл про то, что тревожило его в пути.

— Где тут хозяин воды? — неожиданно спросил он,

— Это я, — послышался горделивый ответ,

Со скамейки поднялся толстяк с отвисшими щеками и щетинкой, плохо обстриженной ножницами на двойном подбородке. Стоячие глаза его были как у ленивого вола, но в них поблескивала хитреца. Широкий затылок складкой свисал на воротник халата. Необхватные ляжки запряганы в бархатные штаны, швы на сапогах разошлись от могучих ног.

Атабаев был зол на этого человека, и все-таки его вид не мог не вызвать у него улыбки.

— Не сглазить бы тебя: ты настоящий Азамат! Угадали родители. Как же, Азамат, дела обстоят с водой?

— Обеспечены все, товарищ Атабаев!

— Никто не нуждается в поливах?

— Никто не нуждается и никто не страдает от избытка влаги. Если будем здоровы, дадим в этом году невиданный урожай хлопка.

— Стало быть, процветаете?

— Если говорить о воде — все в порядке!

Атабаев подозвал сидевшего неподалеку председателя совета.

— Верно говорит Азамат Чанак?

— Азамат Чанак, пустивший по ветру труд наших крестьян, превративший в золу наш хлопчатник, хочет засыпать пылью и ваши глаза.

— Слышишь, Азамат?

— Они сами виноваты, товарищ Атабаев. Я им велел рыть арык от поворота Сусака — отказались. Если говорить правду, это не труженики, а настоящие баи. Привыкли есть лежа.

— Баи?! Я тебе покажу, какие мы баи! — председатель сельсовета замахнулся на Азамата камчой. — Разве наши сорок гектаров не были землями твоего отца Кути Чанака? А ты разве не волк в овечьей шкуре?

Азамат Чанак протянул вперед тяжелые руки, защищаясь от камчи.

— Требую, чтобы записали слова клеветника!

— Ты еще требуешь? — крикнул председатель сельсовета.

В воздухе просвистела камча, но Азамат успел увернуться, его оттащили в сторону.

Атабаев покачал головой.

— Ай, товарищ председатель, тут камчой дела не поправишь.



— Ну и пусть. Хоть нутро свое охладил.  
— Кровью остужу твое нутро, клеветник! — кричал, вырываясь из рук, Азамат.  
Тут уже не сдержался Атабаев.  
— Расстрелять на месте тебя мало... — Атабаев передохнул и сказал: — С этой минуты Азамат Чанак отстранен от работы. Прокурору — приступить к разбору дела! С этой минуты... — он снова задохнулся и крикнул. — Долой с глаз моих!  
Секретарь окружкома шепнул Атабаеву на ухо:  
— Как бы он от злости не повесился.  
— Одним негодяем меньше будет на свете, — громко сказал Атабаев.

## И зазвучала музыка

Атабаев не выносил подхалимства, но настойчивость и даже упрямство, грубость не вызывали его гнева.

Он выехал как-то по делам в Ташауз. Бывая в поездках, Атабаев старался посетить самые дальние районы, чтобы заодно решить на месте повседневные дела. В такие поездки он прихватывал и местных руководителей. На этот раз на коня сел секретарь окружкома Артыков.

Земля в Ташаузском районе была заболочена, при малейшем дождике — грязь до колен, в сушь — пыль столбом. Проехать в иные аулы можно было только на конях.

Когда председатель Совнаркома со своими спутниками добрался до одного из аулов, спустились сумерки. Навстречу вышло много народу, и Атабаев не захотел входить в дом, разговаривать при свете фитильной лампы, да и не смогли бы все поместиться в кибитке. Он попросил зажечь костер на площади и уселся перед ним вместе с дехканами. То ли потому, что таким родился, то ли потому, что жил теперь в городе, но каждый раз, когда оказывался вечером у костра, веселье охватывало его душу.

— А бахши у вас есть? — спросил он, будто приехал на веселый той.

Скажи туркмену про бахши, и музыку из-под земли найдет!

И вскоре у костра появился приехавший погостить в ауле Чувал-бахши. Он начал с низких басовитых мелодий из Навои и постепенно перешел на тринадцатую насечку дутара. Когда завел песню «Эй, джан, эй, джан!», — Атабаев стал выкрикивать вместе со всеми слова припева.

Дехкане шептались:

— Думаешь, ему нравятся наши песни и музыка?

— А то нет? Видели мы других служащих: на улице не помещаются, не только в своем халате. Пройдет мимо, рта не раскроет... как будто позор поговорить с нами.

— Если не считать фуражки, одежды, то по характеру — настоящий хлопкороб!..

Бахши вспотел от стараний, повеселил народ прибаутками и уселся в сторонке пить чай. Атабаев заговорил с аульчанами о хлопчатнике, о ценах на «белое золото», о воде... В Мерве и Керки нижние коробочки уже начали белеть, как первые зубки во рту младенца, а тут на севере республики, было еще холодно и только блестели на солнце клейкие листочки.

— Вашу джугару мы осмотрели по пути, — сказал Атабаев, — хорошая джугара! А вот хлопчатник не торопится. Надо бы обратить внимание на обработку и на полив.

Раньше всех откликнулся чем-то обиженный бахши.

— Ты, черный мургабец, не смейся над нашей джугарой! Забыл, что в голодный год она всех спасла от смерти?

Атабаев согласился с бахши.

— Верно, Чувал-бахши, джугара спасла от голода. Только чего ты ругаешься? Не открывался, что ли? Давай, начинай тогда песню с начала!..

— Недоволен? Я могу и не так ругаться, если будешь держать руки, как мулла!

Кайгысыз с улыбкой вытянул вперед руку, сжал кулак.

— Разве моя рука смахивает на руку муллы?

— Показывай кулак своим детям, — огрызнулся бахши. — Я тебя не боюсь. Как говорят, при слове «возьми» — посветлеет лицо муллы, при слове «дай» — отречется он от заветов аллаха. Так и ты: сунул руки в карманы и прислушиваешься. Думаешь, если протянешь руку, то тебе ее отрежут?

— Я знал, что бахши любят подношения, но не замечал за ними попрошайничества!

— Если бы у тебя в животе гудело, ты верещал бы как сверчок, — ворчал Чувал-бахши. Атабаев рассмеялся и сказал председателю райисполкома:

— Подарите бахши и его жене по набору одежды, в хурджун насыпьте десять фунтов чая и пуд сахара. Счет пришлите мне в Асхабад.

— Вот это дело! — крикнул бахши. — Воздашь и тебе воздастся!

Прошло несколько месяцев, и песню сердитого бахши Атабаев услышал в концертном исполнении. Профессор Успенский, композитор, собиратель народной музыки, давал концерт в Марыйском клубе. Приехав в область по неотложным делам, Атабаев вечером решил послушать музыкальный отчет замечательного деятеля культуры. Зал был полон — вся интеллигенция города собралась в клубе. Блестящий рояль, черный фрак... Атабаев слушал и не слушал, вглядываясь в строгое лицо профессора, в его мелькающие над клавишами тонкие пальцы... Выдающийся художник! Ему вполне хватило бы работы и в Ташкенте, но он приехал в Туркмению, потому что не мог отказать в просьбе Константина Сергеевича. Здоровье у него уже стариковское, и нелегко бродить по аулам в пустыне, спать на кошке где придется, питаться непривычным варевом с крестьянского очага...

Профессор исполнял записанную им народную мелодию «Кырклар».

И вдруг Атабаев зримо вспомнил вечер в Нохуре, когда он еще был не один, а с другом. Они сидели под чинарой, — Герцен и Огарев, — вели разговор с нохурскими стариками, а потом музыкант и певец со скрипкой вышли на середину круга... И как поначалу казалось, что дутар ссорится со скрипкой, а потом звуки слились воедино... И как пел бахши:

Остановись, охотник,  
Марал пришел на водопой...

Давно это было, а тут вспомнилось. Видно, хорошо поработал в пустыне русский профессор.

Атабаев очнулся, только когда раздались аплодисменты, и удивился, увидев себя в знакомом зале Марыйского клуба. Он аплодировал вместе со всеми. И вместе со всеми встал, чтобы овацией завершить замечательный концерт, почтить труд старого композитора.

Как же нахмурился он, когда вдруг выскочил на сцену один из активистов, крикун и смутьян. Размахивая руками, он закричал, точно на базаре:

— Нет! Это брэнчание — не «кырк» и не «лар»! И вообще не туркменская мелодия! Разве так звучит наша мелодия? Это трень-трень для меня так же звучит, как призыв к вечернему намазу для ослиного уха!

Отовсюду из зала неслись негодующие возгласы:

— Не то говоришь, товарищ!

— Ошибаешься!

— Осторожнее на поворотах!

Кто-то потянул крикуна за рукав, и крикун, кажется, хотел уже сцепиться врукопашную, но встретил гневный взгляд председателя Совнаркома и молча пошел на свое место.

Его грубая выходка всех огорчила. Профессор, задержавшись у рояля, чуть не плакал от обиды.

— Дорогие друзья, — говорил он, — это нелегкое дело: подслушать народную песню и без искажений записать ее на ноты. Я, конечно, мог и ошибиться, хотя мои сорокалетний опыт... Мне жаль, что мой труд пропал дером... Но, поверьте, я не какой-то проходимец, как сейчас хотел вам объяснить голосистый товарищ. Нет, моя совесть чиста...

Аплодисменты не дали ему говорить. Атабаев под руку увел старика за сцену и долго пытался его успокоить,

— Дорогой Виктор Александрович, этот человек — большой крикун. Он председатель союза «Кошчи» и знает крестьянскую жизнь, и если где бывает тревожно, мы туда его посылаем. Только он малограмотный... Что поделаешь!

Профессор не мог не улыбнуться, почувствовав искреннюю поддержку Атабаева. А тот еще раз пожал ему руку.

— Вы замечательно записали «Кырклар». Спасибо вам от всего сердца. Туркменский народ не забудет вашей услуги. У нас к вам просьба — пожалуйста, сыграйте для собравшихся еще и мелодию «Овезим»...

Он ни слова не сказал Успенскому, какое далекое воспоминание разбудила в нем концертная музыка. Сел в своем ряду. Слушал внимательно и только морщился от того, что где-то близко, мешая всем в зале, председатель союза «Кошчи» подпрыгивал на стуле и жарко шептал:

— Вот это точно!.. Вот это ухватил правильно!..

А в другой раз, — это было в Ашхабаде, — Атабаев пришел на совещание языковедов. Они вели дискуссию по проблемам орфографии. Впервые за всю многовековую историю народа явилась насущная потребность привести в единую систему все стороны народного языка и письменности, и споры разгорелись жаркие.

И снова всех озадачил крикун из «Кошчи». Он поднялся на трибуну, не дожидаясь, когда ему дадут слово:

— Профессор Гельдыев хочет проташить в наше правописание диалекты племени иомудов! Но мы не потерпим этого! — кричал он. — Передовой район Туркмении — Марыйский. Там лучше развита экономика, и, конечно, тысячу раз прав профессор Караханов: правописание должно подчиняться марыйскому диалекту!

Два профессора, возглавлявшие два разных взгляда в этой дискуссии, Гельдыев и Караханов, сейчас оба улыбались, слушая крикуна. И вдруг, глядя на них, Атабаев тоже улыбнулся: странно и непонятно — откуда явилось далекое воспоминание детства: буква «а», похожая на щипцы, нарисованная мелом на грифельной доске тед-женской школы. Смеющееся — рот до ушей! — лицо учителя-азербайджанца и хохот всего класса за спиной... Удивительная вещь — наша память! Атабаев шепнул что-то на ухо Гельдыеву, профессор кивнул головой, подошел к шумному оратору и подал ему мелок, показал на грифельную доску, водруженную возле трибуны.

— На словах это трудно понять, товарищ! А ты напиши на доске и объясни нам то, что сказал.

Крикун растерялся и вдруг бросил мелок в руки профессору Караханову:

— Возьми, Аллакули, напиши-ка ему, если он хочет!

Все посмеялись. На этот раз и Атабаев аплодировал смутьяну за то, как он ловко вывернулся.

## Одиночество

По ночам он диктовал в своем рабочем кабинете, не уходил домой до утра. В долинах Марыйской области — впервые в Советском Союзе — пытались взрастить тонковолокнистый хлопок. Атабаев объездил поля, привез образчики — вот они, белые комочки на письменном столе председателя Совнаркома. Ночью можно спокойно обдумать все, что увидел и услышал в поездке.

Чайник на электроплитке. Четыре телефона. Машинистка кончила фразу, повернула голову, руки — над клавишами. Ждет. Атабаев любил эти ночные часы диктовки. Стране нужно больше хлопка, — значит, главная забота о воде. Вода это новые каналы, строителям нужны машины. Машинам — нефть... Чуть тронешь одно звено, — начинает шевелиться целая цепь. Ничего не сделать без науки, без помощи русских ученых.

По ночам Атабаев диктовал письма в Москву, в Ленинград— там новые друзья: академик Губкин, академик Ферсман. Он ездил с ними в пустыню. У Александра Евгеньевича Ферсмана голова ученого, сердце и руки государственного деятеля. В палатке геологов они до рассвета проговорили о будущем пустыни. Три ночи подряд, проводив академика, председатель Совнаркома диктовал итоги совместной поездки. Пусть знают в Академии наук, пусть знают в Госплане и в ЦК партии...

...Наступили строгие времена. Без особой необходимости во всех учреждениях огромной страны люди не уходили домой после работы, засиживались за полночь в ожидании телефонного звонка — одни просто так, болтали, другие корпели над сводками, а все приходили на следующий день с тяжелыми головами, дремали на совещаниях. Подойдя к окну, Атабаев видел освещенные окна правительственных зданий. Значит, не спят... Ему-то что, он одинок, чай можно крепко заварить и в совнаркомовском кабинете.

Иногда он приглашал в ночные часы писателя, расспрашивал о здоровье, интересовался тем, как пишется, не нужна ли помощь или творческая командировка, исподволь наводил на мысль о пьесе: хороню бы вывести на сцену строителей канала, ирригаторов, возвеличить их труд. Или вместе со своим собеседником, рассматривал чудесный ковер, сотканный золотыми руками Бяшима Нурали. На этом дивном ковре в ореоле тысячелетнего текинського орнамента красовался портрет жизого Ильича изумительной тонкости рисунка.

— Повезу в Москву...

Он возил в Москву поэта Караджа Бурунова, почему же не повезти драгоценный ковер — гордость народного искусства. Он старался не упускать из поля зрения ни театр, ни издательство, ни газеты.

Однажды председатель Верховного Совета республики Айтаков обиделся на карикатуру в юмористическом журнале «Токмак» — там его довольно дерзко изобразили зарывшимся в ворохе бумаг. И подпись:

Не волнуйтесь, скотоводы-бедолаги,  
Ваши добрые труды не пропадут,  
Коль дела решают на бумаге,  
То идут дела, идут...

На заседании в Центральном Комитете партии Айтаков раскричался:

— Видите, куда дела идут! Видите, видите?

Атабаев, глядя на него, простодушно посмеялся:

— Ай, Недирбай, это же не секрет, что для развития животноводства мы не жалеем бумаги! Ты бы лучше поблагодарил журналистов за острую критику. Если сатирики побоятся критиковать тебя или меня, кто же их станет слушать?

Что ж, Айтаков рассчитался с Кайгысызом, когда однажды бросил ему на стол свежий номер журнала.

— Любишь критику? Почитай на досуге, — и он лукаво улыбнулся.

На обложке юмористического журнала были изображены они... оба — в руках у них этот самый злосчастный журнал, и они его рвут на части. И подпись:

— Я первым буду читать!

— Нет, я буду первым!

И опять Атабаев согласился с критикой:

— Верно! Что, разве хоть один из нас достал из своего кармана деньги, подписался на журналы и газеты?

— И я не спорю. Если мы с тобой не подписались, то кто же подпишется... Ну-ка, доставай деньги, раскошеливайся!

Строгие были времена, а работали дружно. Атабаев, можно сказать, насильно увез из Ташкента в молодую республику своего фронтового друга Паскуцкого. Николай Антонович был теперь заместителем предсовнаркома Туркмении. Он в свою очередь сумел привлечь в

Ашхабад активных работников аппарата бывшего Туркестанского правительства. И заседания Совнаркома всех только радовали своей оперативной деловитостью. Атабаев умел на ходу необходимой шуткой поправить выступавших наркомов, а иного любителя пышных фраз заставлял «закруглиться»:

— Товарищ, сказки рассказывай детям!

У него была особая память на пустые обещания. Если проходил положенный срок, а дело оставалось несделанным, Атабаев хмурил брови и говорил, отвернувшись от виновного, но достаточно громко:

— Я из него сделаю санач... мешок для муки! И отдам на растерзание собакам. Пусть его нынешнее обещание будет для него последним.

Обычно дело делалось, и грозное обещание самого Атабаева не осуществлялось.

Выносливость Атабаева удивляла даже самого великого труженика в республике — Паскуцкого. После заседания Совнаркома Атабаев с секретарем отправлялся в дома жалобщиков и тут же решал затянувшийся вопрос, диктовал свою резолюцию.

— Зачем вам это? — недоумевал Николай Антонович. — Ведь вы глава правительства...

— Но я же и депутат! — возражал Атабаев. — Я иду к своим избирателям.

Все удивились, прослышав, как председатель Совнаркома единолично отменил налог во время одного из таких обходов населения.

— У меня к тебе жалоба по поводу налога, — сказал ему отец большого семейства.

— Говори — послушаем.

— Я не из тех, кто укрывается от налога. Но в этом году на меня наложили особенный.

— Это какой же?

— Газетный налог.

— Не слышал о таком.

— Сказали, что я обязан уплатить годовой взнос за три газеты.

— Газеты это же хорошо, — решил пошутить Атабаев. — Будешь знать, что происходит в мире.

— Эх, товарищ, если б умел прочесть. Зачем они мне, разве что папироску раскурить!..

— Кто же установил этот газетный налог?

— Ай, товарищ, откуда я знаю. Говорят, почтовый начальник.

Так снова вопрос о подписке на газеты и журналы попал в поле зрения Совнаркома республики, и Атабаев был резок и даже груб, распекая чиновников из Союзпечати.

А после заседания к нему подошел Николай Антонович.

— Говорят, надо закрыть бюро жалоб, нет работы, Все к вам идут с большим и с малым.

— Это тоже жалоба? — улыбнулся Атабаев.

— Нет, похвала.

— Ну тогда ничего: лучше быть на устах, чем под ногами, — сказал Атабаев, оглядывая стол, заваленный бумагами.

— Кость у тебя стальная, что ли?.. В отпуск пора, куда-нибудь в Кисловодск или в Сочи.

— Какой курорт лучше Фирюзы? Будешь там в воскресенье?

— В Фирюзе?

Николай Антонович умел смеяться одними глазами. Лицо серьезное, строгое, а глаза смеются молодо и лукаво. Атабаев любил эту минуту душевной простоты и отдыха в беседе с другом.

— Для меня Ашхабад, — говорил Атабаев, — дорогое кольцо. А Фирюза — бриллиант в его золотой оправе...

Среди всей спешки и напряженности рабочей неделя всегда неожиданно приходил субботний вечер. Здание Совнаркома пустело — безлюдные коридоры, чистые, освобожденные от бумаг столы, безмолвные телефоны; только стелются по полу косые лучи

уходящего солнца. Атабаев уезжал в Фирюзу.

Это недалеко, километрах в сорока от Ашхабада. И в самом деле, это был один из самых благодатных уголков на земле. Только въедешь в ущелье в самую жаркую пору летнего дня, и прохладный ветер ударит в лицо, и вот уже пошли вспять времена года — снова наступила ранняя весна. Когда Кайгысыз подъезжал к Фирюзе, ему казалось, что после утомительного пешего перехода он вдруг вскочил на коня. Он любил крутые повороты дороги, опоясанные голыми скалами, любил приглушенным сумеречный свет ущелий, тихое журчанье Фирюзинки, шелканье и пение соловьев в прибрежных кустах.

— Фирюза наша гордость, — любил повторять он. — Жемчужина в короне Туркмении.

Он приезжал на дачу. Чисто прибранный дом дышал покоем и унынием одиночества. На весь участок одна женщина: сторожиха, она же и домработница и повариха в воскресные дни. Пусто в просторном доме. Изредка выбирается на дачу к старому другу Абдыразак. Как лучше отдохнуть, когда устала голова? И друзья до полуночи гоняли шары на бильярде. Абдыразак находил удовольствие не столько в меткости ударов, сколько в известном наборе слов, принятых в этой игре.

— Тринадцатого к себе в середину, — с удовольствием произносил игрок.

Атабаез молча, решительно и точно, бил... И треск шара, загнанного в лузу, и басовитые реплики Абдыразака приглушали чувство одиночества, создавали впечатление, будто в доме полно гостей и домочадцев.

Однажды, когда они устали гонять шары и присели з углу бильярдной на низкий диванчик, Абдыразак сказал:

— Хорошо у тебя. Тихо. Это мне нравится. А вот неуютно. И мебель в комнатах расставлена, как в конференц-зале. Хочется стулья повернуть и проверить — где тут инвентарные номерки? Как это вышло? Ты же не мрачный человек, а живешь в одиночестве?

Видно он задел за живое. Атабаев разразился длинной речью:

— А что делать? Жена — половина человека. Русские так и говорят — «моя половина». Если она единомышленница, если действительно человек, ты начинаешь расти, испытываешь уважение к самому себе. А если нет? Сколько их, этих «ответственных» жен, помешанных на тряпках и косметике, сколько бестактных самодурок, способных прогнать от твоего порога просителя, пришедшего из дальнего аула, сколько сплетниц, разбалтывающих на базаре государственные тайны, подслушанные в кабинете мужа! Удивительно, как наши предки выдерживали многоженство. Видно, в наказание за грехи...

— «Ислам разрешал многоженство» и так далее и тому подобное... — подхватил Абдыразак. — Хочешь — я тебе лекцию прочту? Например: почему так получилось?

— Ну, просвещай!..

— Пророк Мухаммед, конечно, был талантливым проповедником, но, кроме устной агитации, не избегал и применения силы. Сабля острее языка, хотя некоторые языки и называют бритвами. И вот после жестоких войн и кровопролитий во имя аллаха немного уцелело правоверных мусульман. Невесело стало женщинам, а главное — надо же увеличивать народонаселение! Мухаммед от имени аллаха объявил: имеете право в зависимости от достатка жить с двумя и четырьмя женами. Неплохо? Вот так же рассудили и ханы-феодалы, и с помощью послушных священнослужителей превратили временную послевоенную меру в твердый закон ислама.

— Хочешь оправдать Мухаммеда? — рассмеялся Атабаев.

— Сам знаешь — давно я забросил свою чалму за порог мечети.

— Тем лучше. Думаю предложить тебе одно дело.

— Думаешь сделать из меня антирелигиозного лектора?

— Тут будет занятие посложнее. Есть много молодых женщин — вторых, третьих жен. Они хотят разойтись, с мужьями, но куда им податься? Есть много девушек, которых хотят продать. Куда им бежать? Словом, многие стремятся к новой жизни, и надо бы их собрать в одном месте и воспитать их так, чтобы они могли стать независимыми советскими работницами.

— Неплохо придумано!

— Вот мы и собираемся открыть в Мары интернат. Уже есть приказ. Только трудно найти человека, которому можно доверить. Думается, надо поручить это святое дело твоей совести...

— За что такая напасть на мою бедную голову?

— Я не раз пытался привлечь тебя к работе. Теперь я не предлагаю, а просто обращаюсь к твоей совести...

— Я ведь беспартийный.

Зато коммунисты доверяют тебе.

Абдыразак молчал, опустив голову. Атабаев воспользовался его задумчивостью и быстро спросил:

— Как же назовем женский интернат? Имени Кемине — подойдет?

— Уже есть средняя школа имени Кемине.

— Верно. Как же тогда?

— Если повеселее — имени Молланепеса. Посолиднее — имени Махтумкули.

— Итак, поздравляю директора интерната имени Махтумкули!

— Экой ты! Вьюк хочешь взвалить, еще не посадив верблюда!

— Был бы инер, а вьюк на земле не останется.

Абдыразак прищурился, покачал головой.

— Весь вечер говоришь о женщинах, а сам живешь один. Только старуха скучает на кухне. Непонятно.

Атабаев вдруг сделался мрачен, точно туча.

— Знаешь, как русские говорят: одна голова не бедна, а коли бедна, так одна...

А утром в Совнаркоме его сердитый голос слышался даже в коридоре. Не поздоровилось на этот раз наркому просвещения.

— Бяшим Перенглиев? Салам! Почему не сообщите об открытии женского интерната? Нет помещения? Я не наёмный раб, чтобы работать за вас! Если все буду делать, умрете от скуки! Приказываю в течение трех дней открыть интернат! Затянете — не ждите добра! Понятно?.. — и трубка полетела на рычаг, чуть не расколовшись надвое.

В комнату заглянул секретарь, Атабаев раздраженно отмахнулся от него. Он походил по кабинету, оторвал сухой листок от цветка на окне, потом сел на диван в стороне от письменного стола и вдруг успокоился. Ведь в сущности разбушевался попусту. Как быстро появляются у человека вельможные привычки! Приказ — вынь да положь, чтобы было исполнено в ту же секунду.

Он рассеянно поглядел в окно. Если сидеть в кресле за столом, — города не видно. Видна только церковь Михаила Архистратига. Мгновенный прыжок мысли — и кажется, что эта минута уже была, что она возникла вторично. Вот так же несколько лет назад он смотрел на колокольню из окна облисполкома, и Сары Нурлиев ему сказал: «Должность у тебя большая, вот и поучаешь...

Тогда это прозвучало нелепо, а ведь этот левак-загибщик в чем-то оказался прав, проявил чутье и проницательность. Не то вспоминается. Надо почаще вспоминать Ленина, его статьи о бюрократизме и самому хватать себя за руки, за глотку.

Атабаев снял телефонную трубку.

— 4—22... Перенглиев? Знаешь, Бяшим, кажется, у меня дурной характер. Власть, что ли, меня испортила? Сам не замечаю, как начинаю грубить и командовать. Прости, пожалуйста... — это прозвучало совсем по-детски. Он помолчал и строго добавил. — А с интернатом всё-таки поторапливайся.

### **Когда шапки летят над головами...**

Он был весёлым, великодушно отпустил все грехи нерасторопным работникам, даже помахал рукой из машины милиционеру, стоявшему у подъезда Совнаркома, когда приехал

из Москвы с нефтяной комиссией академик Губкин, и они без промедления отправились на вокзал.

Наконец-то самый знающий на свете человек глянет на Нефтяную гору и скажет туркменам, богата ли их земля нефтью или её едва хватит на то, чтобы лечить болячки на верблюжьих горбах и заправлять лампы в аулах. Оправдает ли свое старинное название Небит-Даг — гряда плоских холмов, раскинувшаяся в западной пустыне посреди солончаковой равнины, где когда-то бурлил полноводный мутный Узбой, пока не высох и не иссяк до самого дна под знойным солнцем?

Это была личная атабаевская инициатива— пригласить авторитетную комиссию, его личное достижение — приезд самого Ивана Михайловича. И всю дорогу в вагоне Атабаев был оживлен, рассказывал академику, как в дни молодости предприимчивые дельцы нанимали нищих кочевников и они за гроши набирали нефть в бурдюки прямо из трещин на склонах Небит-Дага и потом на верблюдах везли ее в Хиву и Бухару, чтобы выгодно продать на базаре.

— У вас на буровых, говорят, и сейчас трубы таскают верблюды, — заметил Губкин с грустной улыбкой.

Атабаев нахмурился.

— Нефть нам нужна позарез, — сказал он. — Но долота у нас тупые и живем в землянках, далеко нам до бакинской техники... Стоит ли бурить? Может, побережем советскую копеечку?

Видно было, как председателю Совнаркома трудно расставаться с мечтой о нефти, но он умел наступать «на горло собственной песне».

— Без риска ни одно большое дело не делается. Надо рисковать и копеечкой.

— Трудно. Я привык строго считать копейку! — Атабаев повеселел при этих словах. — Меня одна девица, за которой я имел несчастье ухаживать, представила своей мамаше: «Костя — хозяин денег...» А я в ту пору жил в темной лачуге, работал конторщиком в банке и по вечерам изучал теорию бухгалтерского учета... — Он снова нахмурился, — а если вдруг пустой номер? Темно под землей...

По быстрой смене настроений своего собеседника Иван Михайлович вдруг догадался, как взволнован его приездом глава туркменского правительства, и он дружески похлопал по колену:

— Будет в пустыне нефть! Будет! И город будет в пустыне — прекрасный город с бульварами, садами... Много молодежи, прохлада, тень и вода!..

— Велик аллах, — шутливо отозвался Атабаев.

Небит-Даг встретил песчаной бурей. Пока ученые бродили по буровым, Атабаев занялся вопросами быта рабочих— побывал в землянках, проехался в рабочем поезде из Джебела на открытой платформе с солью, а на участке песчаного заноса поработал лопатой, расчищая рельсовый путь.

В щелястой, продутой ветром будке бурового мастера, на кривоногом столе, он набросал карандашом, привязанным на длинной веревке к гвоздю на стене, приказ о материально-бытовом обеспечении бурильщиков.

Вышел на воздух — солончаковая гладь сияла под солнцем. Только слегка курились грядки перенесенного бурей песка.

Губкин догнал его на дальнем бархане.

— Вы что-то приуныли, Константин Сергеевич...

— По вашему лицу вижу — добра не будет.

— Константин Сергеевич, всему свое время. Пятнадцать лет назад смешно было бы даже толковать о производительных силах Туркмении...

Атабаев ответил в тон академику:

— Пятнадцать лет назад разве приехал бы из Москвы в пустыню русский ученый по просьбе подпaska аульного стада, неграмотного сына народа, который не значился... даже в собачьем списке?



— Бросьте прибежаться, Константин Сергеевич! По вашей просьбе Академия наук СССР, основанная некогда Петром Первым, намечает специальную сессию, посвященную целиком народному хозяйству Туркмении. Не я один — десятки ученых заняты проблематикой комплексного развития вашей республики.

Атабаев придержал за локоть Губкина, заглянул ему прямо в глаза. Так они с минуту постояли посреди солончаковой равнины в сухом русле древнего Узбоя.

— Иван Михайлович, что запишет комиссия? Будем развивать работы? Или будем... считать копеечку?

Губкин помедлил с ответом.

— Я сейчас напомним вам собственные ваши слова, — сказал он строго. — «Ребенок спешит, но ягоды на тутовнике поспевают в свое время». А надежды терять нельзя. И что бы ни записала комиссия — это еще не окончательное решение. Сами говорите — земля темна...

Они молча двинулись к ближайшей буровой.

Вечером члены комиссии дожидались поезда на станции Джебел, чтобы через Красноводск вернуться в Москву. Было не по пути Атабаеву, но он приказал прицепить свой вагон к хвосту поезда — проводить гостей до порога республики. Это были печальные проводы. Можно ли сомневаться в справедливости решения комиссии? Он и сам бодро поставил свою подпись под заключением, в котором давались рекомендации ввиду трудности бурения и малой геологической изученности района не форсировать впредь разведку недр в Небит-Даге. И все считали, что его радует это заключение. Копеечка будет цела. Ни риска, ни ответственности...

А на самом деле никогда такого не было в жизни Атабаева: за ужином выпил, никого не позвав из гостей к себе в вагон.

— Кайгысыз Сердарович, вы наверно устали? — сказал ему секретарь, когда сели ужинать. — Может быть, для восстановления сил...

— Есть? — коротко спросил Атабаев.

— Есть.

— Тогда неси, — он грустно поглядел на крахмальную скатерть, разгладил ее ладонями. — Как говорится: когда сердит, выпей рюмку, и когда обедаешь — еще рюмку... Так что выпьем. Может, немножко поднимем настроение.

Так и сделали.

В Красноводске он простился с геологами. Но оказалось, что — преждевременно. Не успел он войти в Ашхабаде в свой кабинет, как ему дали в руку телефонную трубку. Все находившиеся в комнате видели, как помолодело его лицо, глаза радостно просияли и даже голос дрогнул:

— Небит-Даг?.. Что?.. «Тринадцатая-бис»?.. Ай, спасибо! Значит, «тринадцатая-бис»?.. Не знаете куда девать? Говорите, целое озеро?.. И это правда? Ур-ра! Вы слышите? Ур-р-ра!..

Он положил трубку на рычаг, лукавым взглядом окинул всех, кто удивленно слушал его бессвязный разговор с Небит-Дагом, и прокричал неестественно:

— Ударил нефтяной фонтан! Восемнадцать тысяч тонн в первые сутки! Закажите немедленно самолет!

...Возбужденная толпа не уходила от «тринадцатой-бис» ни днем, ни ночью. Похоже, что все были пьяны от радости. Это не просто ударил фонтан — рождался новый нефтяной промысел! Атабаев увидел в толпе бурильщиков членов комиссии, они вернулись из Красноводск. Атабаев со спины обнял академика Губкина, сбил шляпу с его головы; коренастый, похожий на простого мужика, ученый извернулся и обхватил сильными руками председателя Совнаркома, они по-братски расцеловались.

Рабочие кидали над головами свои папахи, как принято у туркмен с давних времен, — когда рождается сын или случается другая большая радость. Папаху в воздух! Чем больше радость, тем выше ее над головой!

Кепка председателя Совнаркома плавала в озере нефти. Он и сам уже не знал, — своими ли руками бросил ее или кто другой, сорвав с головы, швырнул в нефть. И шляпа академика плавала рядом с его кепкой.

Атабаев подозвал секретаря. Никто не слышал в шуме общего ликования, какие удивительные распоряжения отдавал председатель Совнаркома:

— Сейчас же жми на станцию и звони в Ашхабад! Пусть высылают самолетом для членов комиссии, для инженеров и буровых мастеров кепки, шляпы, папахи... Сейчас, я вижу, побросают в озеро все, что у них на головах!.. Иди скорее, возьми мою машину...

Радостное известие о грандиозном фонтане на Нефтяной горе в тот же день облетело всю республику,

## Глазами президента

Президент был очень стар — старше всех седоголовых, восседавших в свете прожекторов справа и слева от него. В Академии наук о его возрасте говорили: девятый мешок на спине.

Президент устал, он путал в старческих руках свои очки и председательский колокольчик. То и дело фоторепортеры подсакивали к трибуне или к столу президента и щелкали, щелкали... Карпинский грозил им очками, а однажды нечаянно взмахнул колокольчиком, тот прозвонил, и председатель Совнаркома Туркменской ССР удивленно обернулся с трибуны на Александра Петровича, а в зале легким ветерком прошло оживление.

За долгую жизнь президенту Академии наук запомнились ученые конгрессы во многих научных центрах Европы, в Париже, в Болонье, но такого он еще никогда не видел. Его сухие глаза, ослепленные безжалостным светом, глядели вокруг пристально; старчески сутулясь и медленно поворачивая белоснежную патриаршую голову, он озирал президиум. Среди своих прославленных на весь мир коллег он видел вперемежку с ними смуглых туркмен, много смуглых черноволосых туркмен, и их появление здесь, в Ленинграде, в Академии наук изумляло его, хотя они казались ему сейчас все на одно лицо.

И на трибуне высился могучий туркмен. Вот уже второй час он докладывал специальной сессии Академии наук СССР о проблемах развития народного хозяйства и культуры своей родины, о перспективах развития ее производительных сил — и сам по себе этот доклад казался старому президенту мировым чудом. И все в этом зале ему казалось чудом — туркмены за столом Академии, пусть даже важные государственные деятели, — все равно это историческое чудо- Александр Петрович слишком долго жил в России царей и жандармов, лишь в семьдесят лет он дождался революции и стал первым выборным президентом Российской Академии наук, и сейчас, заслонясь ладонью от наглых «юпитеров», грозя очками пронырливым репортерам, он думал одну думу, и она веселила его — это чудо, чудо, чудо... Он вспомнил, как в дни юности, в своей студенческой практике на родном Урале, он услышал у костра разговор двух коноводов-башкир. Они спорили об уме и таланте профессора, возглавлявшего экспедицию, и один, сомневаясь, сказал другому: «Даже глупый мулла может сидеть в мечети...» Почему сейчас на ум явилось это, почти столетней давности, воспоминание?

Да потому, что туркменский докладчик безмерно удивлял его, выдавшего виды ученого, широтой исторических сопоставлений, глубиной проблемности, научной стройностью изложения и той способностью сопряжения больших величин и отдаленных вопросов, которая в нем обнаруживает сразу и настоящего ученого и расчетливого политика. Как интересно, рассказывая о безводном рационе дореволюционной Туркмении, вспомнил он о том, что единственное в те времена Мургабское водохранилище было создано, чтобы обеспечить водой поместье царя. Как умно и страстно разоблачил он научную лживость теории безнадежности, которую разделяли вместе с учеными некоторые руководители отсталой кочевничьей страны еще несколько лет назад. Какое резкое сравнение нашел он,

говоря о темных силах сопротивления новому: он назвал туркменскую феодальную реакцию змеей, оказавшейся под тракторным плугом.

— Она, эта реакция, не страшнее змеи под тракторным плугом! — с внезапной страстью выдохнул из груди Атабаев.

И с минуту он стоял, сильными руками охватив борта высокой трибуны, пока переполненный зал отвечал на его вдохновенный возглас могучей овацией.

— Вот каких молодцов отыскал на далекой окраине Владимир Ильич, — заметил Карпинский сидевшему бок о бок с ним Волгину, бессменному секретарю Академии,

— А разве вы не знаете, Александр Петрович, что написал о нашем докладчике Куйбышев в своем письме Ленину от имени Турккомиссии? Он назвал его самородком... Уроженец туркменского аула, чудом при крайне неблагоприятной обстановке выработавший в себе здоровое коммунистическое мировоззрение...

— Да, так и должно быть... Я так и подумал, — отозвался Карпинский.

Председатель Совнаркома Туркменской ССР докладывал о почти фантастических по смелости планах преобразовательных работ. Он говорил о мертвом заливе восточного Каспия — Кара-Богазе, как о заповедном кладе гидрохимических богатств. Там нужно немедленно приступить к строительству громадного химкомбината — при всех дорогих затратах Кара-Богаз, оживленный социализмом, окупит себя сторицей, обеспечит расцвет хлопководства, даст нам стекло, бумагу, текстиль. А придет грозная опасность для родины, — он станет и на службу обороны.

— Вот почему мы пришли на поклон в Академию наук! Неотложно помогите, товарищи академики!

Атабаев двумя-тремя штрихами обозначил и труднейшую проблему использования сернорудных богатств Гаурдака.

— В нашей республике взаимосвязаны три фактора народнохозяйственного успеха, в нашей связке — три ключа: сырье, энергетика и вода.

И он с молодым пылом заговорил об Аму-Дарье, капризно меняющей своё русло.

— Нет ничего безумного в мечтах и помыслах туркмен, твердо задумавших повернуть часть вод Аму-Дарьи в сторону Каспия. Нет ничего несбыточного в этом, товарищи академики!

И снова, охватив руками борта трибуны, рослый докладчик спокойно ждал, пока уляжется овация и в последний раз звякнет старинный колокольчик в руке президента.

Карпинский устал. Ему хотелось слушать, не пропуская ни одного слова, легкий акцент докладчика только окрашивал его речь, оттенял мысли и не мешал слушать.

Президенту мешали слушать его собственные думы. Всю жизнь ученого он отдал доказательству теории строения так называемой «Русской платформы» в геологических недрах континента, его многолетние исследования колебаний земной коры в пределах «Русской платформды» принесли ему мировую славу, а сейчас, слушая уроженца туркменского аула, он думал о тектонических силах Октябрьской революции, и дело Ленина во всех концах земного шара представлялось ему в масштабах и образах его геологической науки, в масштабах всей планеты, в виде той оси, вокруг которой совершается в двадцатом столетии всемирно-исторический процесс.

## **Радость моя — Кемине**

Он вернулся домой — окрыленный. В памяти остался банкет в «Астории» — полторы тысячи гостей собрались в двух больших залах. Ленинград приветствовал Туркмению, руководители солнечной республики благодарили ученых за их труд. Завязывались новые связи, определялись сроки и темы экспедиций. Радио на всех языках склоняло Туркмению — удивительное чувство владело Атабаевым: будто его маленькая родина так же окружена участием всех народов мира — Востока и Запада, как сам он был окружен толпой ученых и журналистов, когда, закончив свой доклад, сошел с трибуны.

И не забылось, как Александр Петрович осторожными шагами приблизился к нему в раздавшейся толпе и потянулся на цыпочках, чтобы крепко поцеловать докладчика. Что-то, видно, очень тронуло старика, — а что именно, так и не мог догадаться Атабаев.

Дела мешали предаваться приятным воспоминаниям. Теперь, после сессии Академии наук, еще больше было неотложных забот, что ни день приезжали представители различных экспедиций, для начинавшихся строек не хватало рабочих, заседания Совнаркома шли иногда с повесткой из шестнадцати пунктов.

И вдруг наступила усталость. Она приходила не от физических усилий — нет, Атабаев был по-прежнему крепок и здоров. Особая усталость... Ее можно было бы назвать, но Атабаев не знал этому нужного слова. Что-то вдруг останавливало его на ходу, грустью заволакивало глаза, и уже не хотелось ни в ашхабадскую квартиру, где можно отоспаться, ни в Фирюзу — покатать шары на бильярде. Нет — в степь, на охоту. Шофера — домой сам — за руль и — только пыль столбом! Поездки всегда совершались в одиночестве. Если случалась беда — машину сам чинил в поле...

И однажды в воскресенье председатель Совнаркома пропал.

...Не появился он ни в понедельник, ни во вторник. Заседание Совнаркома отменили. Заведующий автобазой подтвердил всеобщую догадку, что в воскресенье Атабаев сел за руль фордика и отправился на охоту. Может быть авария? А если попал в руки злодеев? Да и мало ли что могло случиться? Немедленно начались розыски Атабаева.

Казалось, жизнь председателя Совнаркома в опасности. Из Ашхабада во все концы степи помчались машины. Только на третий день председателя Совнаркома увидели с самолета. Действительно, в автомашине случилась какая-то техническая неполадка, пустяк — что-то с карбюратором, Атабаев не сумел пустить мотор... Ничего, жив-здоров! И, возвратившись, рассмешил друзей и товарищей:

— Три дня как на курорте! Обо всем позабыл! Одна забота — как поджарить джейранину. На углях или в золу закопать?

На самом деле все было иначе: тяжело было... И удивительно. Он глядел на вечно живые, беспрестанно меняющиеся дали степного горизонта — ни одного острого угла. Глядел на безоблачное голубое небо, на оранжевые языки пламени костра, на неуклюжий, на высоких колесах, силуэт старенького, черного фордика... Он видел и не видел всего этого. Обида щемила сердце и нельзя было отделаться от этой обиды, она была неотвязна... Кто же сейчас беспокоится о нём? Ну, конечно, суeta в Совнаркоме — пропал председатель! Товарищи волнуются, иные искренне огорчены, другие обсуждают, как и когда рапортовать в Москву. Ну, конечно, если он погиб, за его гробом по Ашхабаду пойдут толпы. Многие рядом или в отдалении делали вместе с ним революцию в Средней Азии, миллионам других, кто и не участвовал в событиях прошедших лет, он помог. Помог, как клялся когда-то в юные годы помогать обездоленным. Ну, конечно, для таких, как Абдыразак, Паскуцкий, Айтаков, потерять его — потерять какой-то важный этап своей жизни. Газеты скажут: невозместимая потеря! Но кто же все-таки всей жизнью сейчас измеряет его исчезновение? Для кого эта потеря — сломанная личная судьба? Кто будет беззвучно плакать каждую ночь? Для кого опустеет дом?

Нет, конечно, пройдут часы или дни — его найдут. И снова закипит бешеная работа. И будут звонить телефоны и приходить люди. И некогда отдохнуть — всем нужен.

Как странно — всем нужен и... одинок.

Он давно привык к одиночеству. И все-таки оно тяготило! Случайный взгляд, неожиданный поворот женской головы, завиток на тонкой шее вдруг заставлял сердце биться сильнее, но Атабаев бежал от таких искушений. Лучше оставаться холостяком, чем ошибаться в выборе на пятом десятке.

\* \* \*

Атабаеву часто приходилось летать в Москву. Каждый раз он останавливался в

гостинице «Метрополь». Однажды, когда он готовился к докладу, ему понадобилась стенографистка. В ожидании он загляделся в окно. Всё та же Театральная площадь, как в двадцатом году, при первой встрече с Лениным. Только тогда была морозная зима, пустынный ночной город, бессонница, волнение... Сейчас в скверах цвели яблони и вишни, ползли красножелтые коробочки трамваев, кишел разноцветный людской муравейник. Подумать только, — каждая маленькая фигурка там, на площади, центр какой-то жизни, мыслей, чувств. От нее, как лучи от звезды, тянутся нити к другим судьбам, все сплетается, и все-таки каждый чувствует себя самым главным в этом мире. От его поступков и решений зависит множество событий.

В дверь постучали. Вошла молоденькая, миловидная девушка с портфельчиком в руках.

— Это вы Константин Сергеевич? Меня прислали с биржи труда.

— Стенографистка? Как вас зовут?

— Брянцева... Евгения Яковлевна.

— Пожалуйста, проходите. Располагайтесь за столом.

Вот и занес кого-то летний ветер с площади в номер.

Обычно деятельный и целеустремленный, Атабаев не мог на этот раз выйти из задумчивого настроения. Машинально перебирая бумаги, он смотрел на стенографистку, пытаясь отделить её от толпы на Театральной площади, занимавшей его мысли минуту назад. Совсем юное лицо, пышные волосы вокруг лба, белый воротничок; должно быть, очень застенчива, но старается казаться спокойной и степенной.

— Работаете где-нибудь? — спросил он, чтобы не длить молчания.

— Сейчас нигде. Состою на учете в бирже труда.

— Москвичка?

— Родители живут в Киеве, а я здесь у сестры.

Скучные, будничные ответы, скромный, потупленный взгляд, а кажется, что в комнату залетела весна, — оттуда, с Театральной площади. Атабаев вдруг рванулся к стенографистке... Евгения Яковлевна вздрогнула, отшатнулась.

— Что случилось?..

— Я забыл предложить вам снять пальто.

От воротника пахло духами. «Ландышами» — догадался Атабаев и вдруг подумал, что стенографистка очень молода. Девочка, почти школьница,

— Давно работаете?

— Не очень, — она покраснела.

— Сколько вам лет? Двадцать?

— Нет.

— Восемнадцать?

— Я не школьница. Мне двадцать три года. Но трудовой стаж у меня небольшой. Это верно. Если вам не подходит такая стенографистка, позвоните. Пришлют другую.

Как она краснеет. И лоб и шея. И такая чувствуется добросовестность. А ведь получить трехдневную работу для неё должно быть очень важно. Перчатки заштопаны, на локте старенького платья латочка.

— У меня работа совсем несложная, — сказал Атабаев. — Только задумываюсь иногда. Торопиться не надо. Наоборот, иногда придется сидеть и скучать.

Евгения Яковлевна вынула из портфеля линованую тетрадочку, остро отточенные карандаши. Расхаживая по комнате, Атабаев начал диктовать. На этот раз работа шла легко и быстро. Не отдавая себе отчета, Кайгысыз хотел подбодрить застенчивую девушку своей собранностью, деловитостью. Это помогало ему и самому. И мысли складывались лучше, и вспоминались самые интересные, характерные факты — состояние почти что вдохновенное. И казалось, что скромная безмолвная девушка, наклонившаяся над столом, подпирает его плечом.

Они пообедали вместе в номере и до вечера продолжали работать. На другой день

работа шла также хорошо, а на третий Евгения Яковлевна запоздала. Атабаев волновался, пытался записывать свои мысли на бумаге, ничего не получалось.

Может быть, заболела? Как глупо, что не знает её адреса! И он снова и снова подходил к окну. Моросил мелкий московский дождик, сверху даже не видно людей, только черный атласный блеск мокрых зонтиков. Неужели не придет? Атабаев понимал, что дело вовсе теперь не в докладе: будет нарушена иллюзия существования вдвоем. Снова одиночество... Небо потемнело над площадью, крупный дождь забарабанил по зеленому наличнику. Атабаев распахнул окно. Капли упали на висок, на щеку, запах дождя, — какой-то особенный, московский, залах прибитой пыли и сырости. И такая тоска, необычная дневная тоска защемила сердце.

Зазвонил телефон. Знакомый милый голос:

— Извините меня, Константин Сергеевич! Я сегодня не смогу прийти. Посылают на конференцию Севморпути. Вам пришлют кого-нибудь другого.

— Как же так! Доклад брошен на полпути, я уже привык.

— Это не от меня зависит, Константин Сергеевич. Просто сегодня моя очередь работать на конференции...

Голос куда-то пропал. Атабаев вздрогнул. Вот так беспомощно и просто потерять её?

— Алло! Алло! Вы меня слышите?

— Прекрасно слышу, можно не кричать.

— Я прошу вас, сегодня же немедленно выходите из списков биржи труда! Совершенно серьёзно. Я устрою вас на работу. На постоянную. Слышите?

— На постоянную? И это серьёзно?.. Какой же вы хороший, Константин Сергеевич...

Потом, уже в Ашхабаде, спустя много времени, они вспоминали этот вечер и молчаливую прогулку по горбатым переулкам где-то между Покровкой и Яузой, и все несказанные вслух слова, и длинные месяцы разлуки, и короткие, пыльные письма, и как через полгода встречала его Евгения Яковлевна на Казанском вокзале в двадцатиградусный мороз, и как читали вслух в номере чеховские рассказы, и как вместе с мамой Евгении Яковлевны уехали в Ашхабад...

Теперь они уже больше не расставались. Евгения Яковлевна по-прежнему работала стенографисткой, но уже в ашхабадской рабоче-дехканской инспекции. Атабаеву по-прежнему приходилось часто выезжать. Вместе с ним обычно отправлялась Евгения Яковлевна. И в её сумочке по-прежнему лежала линованная тетрадка и остро отточенные карандаши. Приходилось работать и по пути, в машине. Атабаева внезапно осеняла новая мысль и он говорил:

— Женечка, бери бумаги, начнем!

Так бывало и в поездке вдоль границы Копет-Дага. Так и в Краснодарске, и на Кара-Богазе, и на Аму-Дарье...

А однажды, когда они приехали в Мары и промчались по Кавказской улице, Атабаев рассказал Жене, как чуть было не женился на дочери жандармского полковника. Она уже назначила день свадьбы и приказала перейти в православие. Хорошо, что началась революция и все семейство это исчезло.

— Значит, повезло? — тихо спросила Евгения Яковлевна.

— В личной жизни мне повезло дважды, — ответил Кайгысыз, обнимая жену за плечи.

После женитьбы у Атабаева появилась новая слабость: его привлекали теперь не только старики, но и дети. В поездке или в Ашхабаде, встречая ребенка, он останавливался, заговаривал, угощал конфетами, легко и быстро находил общий язык с ребятами всех возрастов, умел и рассмешить, и поговорить по душам. И будто оправдываясь, говорил жене:

— Ничего не поделаешь — люблю детей! Родишь сына — рабом твоим стану.

Свободный от предрассудков, Кайгысыз вдруг оказывался верным древнейшим обычаем. Девушка уходит из дому, становится членом чужой семьи. Сколько бы не было дочерей, если бог не дал сына — род прекратил свое существование. Об этом говорится и в пословице: «Тот, кто с сыном — не умрет».

В кругу друзей Атабаев говорил:

— Был бы у меня сын, — больше ничего не надо!

Евгения Яковлевна не осталась глуха к этой мечте.

Сначала у Атабаевых родилась дочь, но потом — сын. Девочку назвали Лейла, мальчика — Кемине.

И вот уже прекратились поездки на охоту в воскресные дни. Гораздо интереснее играть с детьми, наблюдать, как каждая неделя изменяет их, приносит что-то новое, Евгения Яковлевна ревниво охраняла интересы дочери.

— Ну, хорошо, — говорила она, — дочь ты носишь на руках, но почему же сына сажаешь на шею? Дезочка может обидеться.

— Это я могу на неё обидеться, — смеялся Атабаев. — Придет день и она покинет нас, уедет в Мары или в Москву, а Кемине всегда будет с нами.

— Ты феодал. Настоящий феодал.

— Только в этом вопросе.

— Как же ты берешься воспитывать других, если сам феодал?

— Пытаюсь вывести родимые пятна.

— Что-то слишком долго пытаешься. И слишком безуспешно.

— Нас учили: жизнь — борьба!..

— Ну, иди поборись со своим любимцем. Слышишь, как кричит?

Оказывается, Кемине совершил кругосветное путешествие, держась за сиденье стула, обходил его кругом. Потом осмелел, отпустил руки, неокрепшие ножки не выдержали, он свалился и заорал благим матом.

Уезжая из Ашхабада, Атабаев теперь каждый день звонил домой и разговаривал с Кемине. И никогда не надоедало слушать одну и ту же фразу:

— Папка, приезжай! Скорее, я соскучился! Слышишь?..

Однажды он увидел из окна, что Кемине сидит во дворе, угрюмо опустив голову. Мгновенно кольнуло воспоминание: когда-то и сам так сидел у мельничной запруды в родном ауле. Вот-вот подойдет Нобат-ага, спросит:

— Верблюжонок мой, чего так съежился?

Похоже, что Кемине очень обижен. Не плачет, но от-того ему ещё тяжелее. Кайгысыз дышел из дому, присел рядом с сыном, погладил по голове.

— Как жизнь?

— Мама... — даже не сказал, а как-то просопел Кемине.

— Что она сделала?

— Выгнала меня из дому.

— За что?

— Играл с твоим пистолетом!

И больше ничего...

Атабаев ужаснулся — вспомнил, что забыл убрать в ящик браунинг. Он хотел было надрать сыну уши, но подумал, что сам виноват, и только тихонько погладил по голове.

— А зачем ты взял пистолет?

— Хотел сильно-сильно выстрелить! Как ты стрелял в коршуна в Фирюзе.

— В кого выстрелить?

— В черепаху.

— Ей будет очень больно.

— Не будет. У неё же каменная крышка!

Атабаев усадил сына на колени, заглянул в глаза.

— Кемине-джан, никогда не играй с пистолетом или с ружьем. Попадет пуля в маму или в меня, и останешься сиротой.

— Это что такое?

— Сиротой называют детей, у которых нет папы и мамы.

Кемине кивнул головой.

- Значит, вы меня бросите?
- Если еще раз схватишься за пистолет, обязательно бросим!
- Я тогда вас... ненавиждать буду!

Атабаев опешил, выпустил из рук мальчика. «Весь в сердцара», — подумал он и с трудом сдержал улыбку.

- Пока что пойдешь и попросишь прощения у мамы.
- Нет...
- Почему же?
- Я её ещё сам не простил.

К счастью, Атабаева позвали из дому к телефону, и он сделал вид, что не по своей воле отступает перед простодушной сердарской логикой.

## Прощание с сыном

Теперь в доме Атабаева на улице Карла Маркса часто сходились в свободный час старые друзья — Айтаков, Чары Веллеков, Паскуцкий. Торжественно отмечались дни рождения детей. Иногда заходил и Сейидмурад Овезбаев. Атабаев очень любил этого красноречивого, умного интеллигента, любил спрашивать его о настроениях в народе, часто советовался с ним. Овезбаев всегда говорил резко, друзья спорили, не соглашались и все-таки прекрасно понимали друг друга. Овезбаев, посмеиваясь, говорил Евгении Яковлевне:

- Как вы могли выйти замуж за этого человека?
  - Полюбила! — разводила руками Евгения Яковлевна.
  - Он же старик, скоро перевалит на шестой!..
  - А для меня он самый молодой!
  - А какой у него ужасный характер.
  - Не замечала.
  - Да с ним невозможно разговаривать! Лев рыкающий!
  - Есть русская поговорка: не вкусивши горького, не узнаешь сладкого.
- И Атабаев смеялся:
- Что? Съел?

А вскоре случилось невероятное: Овезбаева обвинили в национализме, осудили и по приговору военного трибунала отправили далеко на север. Атабаев не верил в его вину. Овезбаев мог ошибаться, мог слишком резко высказываться, но не мог участвовать в какой-то антинародной организации.хлопоты о его судьбе не увенчались успехом.

Шли месяцы. И оказывалось, что участников контрреволюционных заговоров все больше и больше. Их называли теперь врагами народа. Оказывалось даже, что и некоторые русские коммунисты замешаны в этих делах, и Атабаев совсем перестал понимать, что происходит вокруг... Попирались советские законы, советское правосудие. И всё это делалось как будто в интересах Советского государства.

Неужели же вернулись времена Джеббар-Хоразы и доносам верят больше, чем честной жизни людей, проверенных годами и отмеченных революционными заслугами? Сам того не замечая, Атабаев кривил губы в горькой усмешке. Когда-то добродушный разорившийся купец Майлихан предложил ему пойти с караваном в Хиву, чтобы переждать в пути опасные времена. Он и тогда отказался. А теперь отсиживаться, отмалчиваться в бездействии вдвойне позорно. Надо решиться на поступок...

По-прежнему светило солнце в окна кабинета предсовнаркома, по-прежнему играл глубокими винными красками текинский ковер на стене, а Кайгысызу казалось, что в комнате темно и хмуро. Он был озабочен, открывал и закрывал сейф, ворошил бумаги в ящиках стола, разбирал папки, не мог найти нужных бумаг, хотя они лежали у него перед глазами.

Вошел секретарь.



— Вас спрашивает женщина. Она для этой встречи приехала из Мары.

— Скажите, что я уезжаю.

— Говорил — не слушает.

— Скажите — приму, когда возвращусь из поездки...

Секретарь вышел в приемную и вскоре вернулся, вытирая пот со лба.

— Она не хочет уходить, — сказал он. — Говорит, что будет стоять у порога, пока не выйдете.

— Впустите, — махнул рукой Атабаев.

В кабинете появилась пожилая русская женщина с непокрытой седеющей головой. Она остановилась на пороге. Атабаев не заметил её появления, не поднял головы.

— Можно? — помолчав, спросила она.

— Что?.. — удивился Атабаев. — А, входите! Садитесь, Как ваше здоровье?

— Меня зовут Анна Александровна Петрова, — сказала женщина, спокойно усаживаясь в кресло.

— Слушаю вас, Анна Александровна.

— Мне стыдно отрывать вас от работы, но я вынуждена обратиться именно к вам. Я живу в Мары на улице Крылова в трехкомнатном домике, оставшемся от отца. Теперь его хотят у меня отобрать.

— Чем вы занимаетесь?

— Я учительница. Работаю в школе двадцать два года.

Атабаев записал на календаре и сказал:

— Я сейчас лечу в Москву, Анна Александровна, как только вернусь, решу ваш вопрос.

Казалось, разговор исчерпан. Но учительница не собиралась уходить. Она сидела без движения и только умоляющим взглядом смотрела на Атабаева. Погруженный в свои заботы, он все-таки догадывался, что ей нужно продолжить разговор, что история с домом это только предлог для встречи, но не знал, как помочь ей. Самые простые слова не приходили в голову.

Молчание длилось долго. Наконец, увидев, что Атабаев уложил последние бумаги в портфель и щелкнул замок, она сказала:

— Есть ещё одно дело.

— Говорите.

— У меня сосед. Может быть, вы его знаете?

Опущенные веки Атабаева дрогнули, — ничтожное мимолетное движение, — всё-таки учительница поймала его и поняла. Атабаев спросил:

— Кто ваш сосед?

— Абдыразак. Когда он был директором в женском интернате имени Махтумкули, я три года работала там воспитательницей.

— Знаю.

— Может быть, вы знаете и то, что я хочу сказать?

Атабаев постучал карандашом по блокноту. Он был взволнован и хотел это скрыть. То ли потому, что он не очень доверял женщине, то ли потому, что ему не хотелось продолжать мучительный разговор, он сухо спросил:

— Так что вы хотели мне сказать?

— Абдыразак честно работал. А теперь отбывает наказание.

«Да разве только один Абдыразак честно работал!» — чуть было не крикнул Атабаев, но сдержался и мягко сказал:

— Советский закон не наказывает невиновных.

— Мы много лет были соседями... Занимали друг у друга чашки-ложки, когда собирались гости... Я не верю!

— Может быть, он всё-таки виноват. Вы не можете знать всего.

— А если виноват, так надо судить. И чтоб все знали, в чем виноват...

— Что вы хотите от меня, Анна Александровна?

— Я ищу справедливости.

Атабаев опустил голову. И снова наступило долгое молчание. Наконец, он заговорил:

— Я не знаю вас, Анна Александровна. Не знаю, ищете ли вы справедливости или хотите испытать меня. Но я... мне противно подозревать советского человека, и противно, что я все-таки подозреваю. Я знаю Абдыразака лучше, чем своих братьев. Я не хочу скрывать правды. В стране происходят невысказанные события. Людей, которые отбывают наказание, как ваш сосед, не десятки, не сотни, а больше... Я написал по этому поводу свое мнение, потребовал прекратить беззаконие. Через несколько минут я уезжаю. И у меня к вам серьезная просьба — этот разговор должен остаться между нами.

Атабаев смело и открыто смотрел в глаза Анны Александровны. Она не выдержала взгляда и, всхлипывая, ушла, не попрощавшись.

Вошел секретарь, взял у Атабаева нужную в поездку папку, сказал, что пора ехать. Атабаев снял телефонную трубку.

— Женечка, я сейчас уезжаю... Не глупи. Ни о чем не думай. Не слушай пустых разговоров. Как приеду, дам телеграмму и позвоню, — он хотел было положить трубку. — Постой! Дай ему трубку... Кемине-джан, я сейчас уезжаю. Ладно, ладно. И пистолет привезу, и ружье. Слушайся маму, не капризничай, верблюжонок мой. Слышишь?..

В ответ послышался слабый голосок:

— Приезжай скорей, папа!..

...Это был последний разговор Атабаева со своим сыном. Из поездки, оказавшейся для него трагической, Кайгысыз Атабаев не вернулся. Он стал жертвой ложных обвинений в годы нарушения революционной законности.

Но тот, кто завоевал любовь народа, всегда живет в его памяти.

Есть у туркмен старая поговорка: «У каждого народа свой бог». Смысл ее совсем не религиозный. Смысл её в том, что большие люди всегда неразрывно связаны со своим народом.

Они появляются в трудные времена. И именно тяжелые години ломки и перемен помогают выдающимся людям предстать перед народом во весь рост.

Октябрьская революция была великой победой народов Советского Союза и великим испытанием его сил. Ленин вел народы к великой цели и народ выпестовал его сподвижников.

Таким испытанным борцом за дело революции был Кайгысыз Атабаев. Прошло тридцать лет после гибели Атабаева, а народ помнит о нем.

Память о добром нужно хранить. Память учит.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)